

ЮНОСТЬ

3 '87

[illegible]



Р. ГОРЯЧЕВА. А. ГОРЯЧЕВ.
Посвящается В. Е. Татлину. Батик.

ХVII МОСКОВСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ВЫСТАВКА

ЮНОСТЬ

3 (382)

'87



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

*«От имени Центрального
Комитета КПСС*

*я хотел бы обратиться
ко всем товарищам
по партии, ко всем
советским людям:
дело перестройки,
дело революционного
обновления общества,
судьба страны
в руках народа.
И эта судьба будет такой,
какой мы ее сотворим —
нашим общим трудом,
нашим разумом
и нашей совестью».*

*Из заключительного слова
Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева на Пленуме ЦК КПСС
28 января 1987 г.*

Письмо читателю

Именно так — «поведение и поступки страны» — сказал кто-то из ребят, которые зачастили к нам в отдел публицистики, в нашу «20-ю комнату», со своими тревожными проблемами. Не правда ли, есть в этих словах настораживающая отстраненность? Я спросил: «А ты понимаешь, что ты сам часть страны? Что ты судишь не только о стране в целом, но прежде всего о себе самом?»

В твоём возрасте, с высоты семнадцати лет, легко быть судьей. Тебе кажется, что ты можешь безошибочно делить мир на правых и виноватых, на добрых и злых. Только не слишком ли примитивны эти твои веса: тот, кто причиняет тебе зло, виноват, а тот, кто к тебе добр, прав? Не приходило ли тебе в голову, что такие веса несправедливы, ибо балансир у них — эгоизм?

Сейчас мы горячо говорим о перестройке: затрепали, лопаются, тенета рутины и ксности! Кажется, на устах у всех одно слово: наконец-то! Но вот уже после революционного по своим решениям январского Пленума ЦК КПСС в редакцию приходит человек, жутко недовольный тем новым, что является на смену прежнему. Нет-нет, он за перестройку, он за решительные перемены, он за гласность! Но пришел в редакцию с жалобой на комсомольское собрание, где его — начальника! — «разбирали по косточкам, не считаясь с должностью, с обстоятельствами, в которые он поставлен, не слушая оправданий, упрекали в неспособности руководить, подрывая тем самым авторитет в глазах коллектива». Веса, на которых он оценивал происшедшее с ним, были точно такие же: стрелочка была ориентирована в сторону личного благополучия.

Хочу, чтобы ты отметил: факт прихода этого человека в редакцию сам по себе знаменательный. До сих пор за мою журналистскую практику я сталкивался только с тем, что комсомольцы приходили с жалобой на администрацию. И ни разу наоборот. Факт действительно знаменателен. Сразу представляешь, с каким смятием слушали доклад, прозвучавший на январском Пленуме ЦК КПСС, те, кто желал бы оставить все по-старому, ничего не меняя, кто, слушая доклад, просчитывал в уме, чем могут обернуться для него нежелательные нововведения, чем чреват «разгул демократии». Не слетит ли он со своего кресла после первого же рабочего собрания, наделенного теперь правом выбирать себе достойного руководителя?

Всего лишь полгода назад, выступая перед бригадой рабочих завода имени Лихачева, я услышал десятки в общем-то одинаковых вопросов. В том или ином конкретном случае они приводились к одному общему знаменателю: когда же в конце концов рабочий человек станет хозяином на своем заводе? Ребята с фактами в руках доказывали мне, что они не в состоянии повлиять ни на смежный цех, ни на своего бестолкового начальника, ни на ход производственного процесса. Они горячо говорили о странном феномене: нет ни одного человека, который бы высказывался против перестройки, а реальных изменений крайне мало. «Мы хотим быть полноценными хозяевами у себя в цехе, на заводе, в бригаде», — говорили ребята. Какие схожие слова прозвучали на Пленуме! Долгожданные слова!

На каждом заводе, в каждом институте, конструкторском бюро, в издательстве и таксопарке, в редакции журнала и министерстве, далеко от поселке геофизиков и столичном театре — везде без исключения проходит разделительная полоса между теми, кто против перестройки, и теми, кто жаждет ее.

Вот прекрасная тема для кандидатской диссертации, для научного исследования: поразмыслить, понять, кто против и почему, кто страшно сопротивляется, одновременно голосуя «за». Ведь сопротивление огромное. Словно вязкая, как сырая резина, среда не дает двигаться стремительно, резко, четко. «Дело перестройки», — констатировалось на Пленуме, —

оказалось более трудным, причины накопившихся в обществе проблем — более глубокими, чем это представлялось нам раньше». Но и сейчас без защиты кандидатских и докторских по перестройке довольно четко определился тип человека — сопротивляющегося.

Конечно, многое исходит от аппарата, который в отличие от производства поставлен в независимые условия от конечного результата. Взять хотя бы обычное издательство: независимо от того, будет напечатана книга, которая разоидется миллионными тиражами, или будет выпущена в свет очередная посредственность, сотрудники издательства получают одинаковую зарплату и премиальные.

Но недаром на Пленуме говорились о том, что «...справедливо требуя перестройки на всех уровнях, каждый из нас должен начинать перестройку с себя». Вот он — портрет противника перестройки: он цепляется за личные связи в ущерб делу, поступает принципами ради персонального успеха, следует не голосу совести, а указке тех, от кого зависит его судьба — вот портрет человека, ныне мешающего нам.

Вряд ли возможно остановить нынешние процессы демократизации общества. Хотя, наверное, нельзя забывать уроки 60-х годов, когда начавшиеся схожие процессы были заглушены и сведены на нет. Поэтому с особой надеждой мы приглядываемся к тебе, идущему вслед. Как хотелось бы, чтобы ты не сдал наши рубежи! Понимаешь ли ты, какое интересное, значительное время сейчас настало? Как же удержать эти рубежи, спросишь ты. Надо учиться думать. Настойчиво размышлять над процессами, происходящими в стране, соглашаясь и не соглашаясь, что-то принимая, а что-то начисто отвергая, но главное, чтобы ты размышлял, чтобы ты был ЧЕЛОВЕКОМ НЕРАВНОДУШНЫМ.

Отрадно, что молодежь, которую мы корили, упрекали за то, что она не так выглядит и не то слушает на своих магнитофонах, не так говорит и не так стрижется, — эта молодежь куда активнее реагирует на происходящее со страной.

Вчера в редакцию пришла группа молодежи. Они уже не первый год бьются за создание в легендарном доме на Садовой музея Михаила Булгакова. «Юность» выступает в их поддержку и будет помогать этим ребятам бороться до тех пор, пока не добьется положительного решения. Меня порадовало, что эти в общем-то юные ребята, соударившись в своих хождениях с первым — пятым — десятым столоначальником, не сделали вывода, что «все насквозь прогнило и фальшиво» — снова пользуюсь словами одного из посетителей «20-й комнаты», — а продолжают бой.

Великолепное слово — соратник. Я вижу, как в этих ребятах зреет главное — осознание себя Гражданином Отечества. Ведь не так легко научиться пропускать через свое сердце все боли и заботы, которыми живет страна. А может быть, как верно заметила ленинградская учительница Татьяна Служевская, выступая у нас в журнале, что чувство гражданственности в человеке изначально, и, только заформализовав воспитание до нечеловеческих пределов, можно вытравить это сознание из юной души. Может быть, это так. Но независимо от того, сохранишь ли ты Гражданина в себе или воспитаешь заново, для меня одно важно: чтобы ты в сегодняшних наших огромных замыслах оставался СОРАТНИКОМ.

Страна обновляется. Я хочу, чтобы ты был рядом. Против тех, кто против.

А ссылаясь на собственную слабость, прячась как улитка в раковину в свои «возрастные скорлупки» — будь то рок-музыка или вера, — это всего-навсего чистой воды эгоцентризм. Да еще при этом тыкать в глаза, что это вы, взрослые, нас такими сделали, не пытаясь ничего изменить в существующем мире. Это ведь тоже, мой дорогой друг, разновидность фальши.

Если, конечно, говорить откровенно.

Редактор отдела публицистики
Михаил ХРОМАКОВ



Аркадий ШАЙХЕТ.
Н. К. Крупная с работниками
Замоскворечья.
Москва, 1928 г.

Иван ШАГИН.
На физкультурном параде.
Москва, 1932 г.



Листаю альбом. На плотных листах мелованной бумаги — Революция, а потом — двадцатые, тридцатые, сороковые... Лица мужчин. Строй мужчин. Пахари. Рабочие. Красногвардейцы — винтовки на плече. И так мало женских лиц. Так мало тех, кто ставил на ноги поколение, продолжившее отцовскую революцию, кто шел в революционных рядах плечом к плечу с мужчинами. Произнесите «рабфак», и сразу вспомнятся кожанки и красные платки. Революция захватила дух перспективами, которые открылись перед каждой из них.

Пишу эти строки и вспоминаю эпизод из кинофильма, когда в школьном сочинении «Кем ты хочешь стать?» девчушка лет пятнадцати написала: «Я хочу стать женщиной. Родить много детей. Растить их». Помню хорошо сыгранный гнев учительницы. За гневом маскировалась растерянность.

Какой же великий оборот должно было совершить колесо Истории, чтобы мы пришли наконец к мысли о необходимости возратить женщине женское.

Все революции мира, включая научно-техническую, работают на прогресс. Одна из главных ветвей нравственного прогресса — понимание роли женщины в мире. Право быть женщиной во всем природой да-





рованном совершенстве до революции принадлежало лишь избранным. Революция совершалась и для того, чтобы это право принадлежало каждой.

Революция снова явила нам редкостный тип женщины-соратницы. Образ Надежды Константиновны Крупской неотделим от облика Ленина. Вычеркните из литературы, из Серафимовича, Платонова, Алексея Толстого, Шолохова, вычеркните женские имена, и образ революции пожухнет, рассыплется, затмится. Литература — великое зеркало жизни, и в ней отражено то, что связывает воедино гениальные идеи с плотью земли. И эта связь — женщина. Потому что женщина — это любовь. На состоянии любви круто замешены смысл Отечества, Наследия, Поколения.

Гениальные идеи наследуются, входят в плоть следующих поколений, через любовь к Отечеству, а кроветворные центры этой любви — женщина, жена, мать...

Представляю, как захватывающе романтично было то наше время — первые годы Советской власти. Поэтому первопроходцы революции так по-большевистски непримиримы. Поэтому так яростно строили. Поэтому многого добивались, жертвуя далеко не только личным благополучием. Многие из того, что стало для нас будничным, для них было мечтой, рубежом, к которому они прорывались.

Макс АЛЬПЕРТ.
Строитель Магнитки.
1929 г.

Иван ШАГИН.
Первые пассажиры-метростроители.
Москва. 1935 г.

Леонид ШИМАНОВИЧ.
Писатель Сергей Антонов на станции метро «Маяковская». 1987 г.



Сергей
АНТОНОВ

Повесть

ВАСЬКА

1

Сменный прораб шахты 41-бис Утургаури прыгал по заснеженным штабелям гравия и матюгался с грузинским акцентом.

Утро выдалось суматошное. На шахте ждали Первого Прораба. А разнорабочая Маргарита Чугуева самовольно покинула гравиемойку. Охранник уверял, что за ворота она не выходила. И на площадке ее никто не видел.

А Маргарита Чугуева притаилась в заброшенной будке недалеко от копра и, зеленая от ужаса, глядела в щелку.

В будке еще витала горемычная душа маркшейдера Гутмана. Он повесился здесь неделю назад, когда ему почудилось, что направление штольни неверно задано. И если бы не крайняя крайность, никто не загнобил бы Чугуеву в эту халупу.

А на Чугуеву обрушилась беда.

Явилась эта беда в виде новичка-метростроевца. В нем не было ничего примечательного: жеваное, с вошебойки, пальто, грязная, когда-то белая лохматая кепка, мятое, в скопческих морщинках востроносое личико, сам левша. Он сидел на бочке цемента и привередливо, по-церабкоповски примерял однопалую рукавицу.

Заметив его, Чугуева почувствовала смутную тревогу. Она пробовала отвлечься работой. Тревога не унималась. Тогда она еще раз, уже внимательней глянула на новичка, и ей показалось, что снег потемнел на строительной площадке. Она узнала. Это был тот самый активист, который переписывал в сибирской тайге раскулаченных переселенцев.

Она обвисла на лопате, и «газик», подавая задом, чуть не придавил ее.

— Тот самый... Активист... — бормотала она. — В кепке... Что делать-то?

Номера шахт Метрополитена и фамилии действующих лиц (за исключением лиц исторических) вымышлены. Автор.

Рисунки В. Гальдяева

Словно кино увидела Чугуева: кислое болото, щербатый лесок на дальней сопке, длинная шеренга кулаков да подкулачников, кашель по всей цепочке. А он — активист с острым лицом горбуна, хотя и не горбун, — неловко, медлительно переписывает прибывших.

Чугуева маялась в самом конце строя. Ноги погрузи в болото по косточку. Активист вызвал ее, приказал отогнать гнус. Он ходил от одного к одному, переписывал левой рукой данные — с какого года, фамилия, откуда выслан, — а она опахивала его осиновой веткой, ровно турецкого султана. На другой день отца выкликали, а ее нет. Может, потому и позабыли, что вышла из шеренги. Минула неделя. И решила она с отцова благословения бежать.

Пошла она таяежной тропой незнамо куда. Зверя не боялась. Шла не таясь. Случалось, голодовала так, что сама бы себя поймала за горстку горохового ригатю. Чудом дошла до Омска, чудом нанялась в прислугу к заместителю председателя облисполкома. Примерно через год пересек ее путь разбитой вербовщик и записал на строительство метро в порядке организованного набора. Вербованных набилась полная теплушка, все почти такие же, как она. Пока ехали, многие разбежались. А ей было все равно. Как повалилась на нары, так и дотряслась до Москвы.

На Ильинке, в отделе кадров Метростроя, переихикнулась она с рыжим, как кирпич, комсомольцем. Звали рыжего комсомольца Митькой. Он и написал ей всю документацию. Его до упаду веселило, что она не знает, что такое автобиография, и не помнит, чем ее родители занимались до семнадцатого года.

Ей вручили удостоверение личности, дали койку в общежитии, усиленное питание. И все-таки чудилось: сейчас подойдет сзади левша, стукнет левой рукой по плечу... С недоброй завистью поглядывала она на визгучих девчат, заигрывающих с ломовиками. Господи! Взял бы какой-нибудь гужбан замуж, увез бы в деревню. Сменила бы фамилию, зажила чистой жизнью.

Работала Чугуева ловко, красиво, без отказа и приказа, вошла во вкус и стала позволять себе глядеть неположенные личенке сны. Задремлет, опершись на лопату, и за минутку во сне замуж выйдет, четверых детишек нарожает — все масть в масть, вылитые прораб Утургаури — и завязывает банты, гонит в школу...

Работающая девчонка полюбила всем — и бригаде, и многоликому начальству. А когда провели в ударницы, услышала она тонкий голосок:

Ой, лазоревые плесы, золотые берега...

Оглянулась — рядом нет никого. Поняла, что ее уста сами поют, законфузилась, а до конца допела. И вдруг — активист!

Она очумела от ужаса: ну вот, полный год выслеживал и выследил. Выследил и сел передохнуть. Потом образумилась: если выследил, зачем рукавицы примерять? Скорее всего никакой он в данный момент не активист, а свежак, новичок, оформляется на метро, на ту же шахту, где и она, Маргарита Чугуева.

Она следила за ним в щелку, и колотило ее припадочно, как отбойный молоток.

«Может, к Митьке рыжему бежать? — паниковала она. — В ноги броситься?.. Куда там! Теперь он не Митька и не рыжий, а полный бригадир, товарищ Платонов. Теперь до него палкой не докинешь!»

Внезапно явилась мысль: в ноги не бросаться, а проситися к нему, к Платонову, в бригаду. Бригада Платонова орудует под землей, а под землей темно — никто не признает. И активист не признает. Платкам замататься — не признает...

А бывший активист, от которого во многом зависит, долго ли продолжаться нашей повести, поднялся с бочонка, прошел к окантованному инеем швеллеру и растворился, как привидение, в морозном пару, струившемся от свежих, только что поднятых на-гора ломтей юрской глины.

В тысяча девятьсот тридцать четвертом году на строительстве Московского метрополитена работало больше семидесяти пяти тысяч человек. Среди этих семидесяти пяти тысяч были люди и с «высшим образованием, и вовсе без образования, коренные москвичи и приезжие, мобилизованные, завербованные, переброшенные, посланные по комсомольским путевкам, пришедшие по вольному найму и сезонники.

Всей этой пестрой армией командовал инженер Павел Павлович Ротерт. Он изучал строительство подземок в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Берлине, в Париже и заслужил доверие партии и правительства в годы работы на Днепровском промышленном комплексе. Начальнику Метростроя в помощь были приданы заместители — Абакумов и Айнгорн.

Потомственный горняк, Егор Тимофеевич Абакумов прошел на угольных шахтах Донбасса длинный путь — от забойщика до управляющего трестом. В метро он был брошен искупать антимеханизаторские грехи. И в авральные шестидневки его громоздкую фигуру видели на всех радиусах, на всех одиннадцати километрах, и казалось, будто под домами и площадями столицы бушевал не один Абакумов, а сорок тысяч Абакумовых.

Исай Григорьевич Айнгорн не бушевал. Не повышая голоса, он добился того, что все кирпичные заводы в радиусе тридцати километров работали для Метростроя и брусок кирпича стал в Москве такой же редкостью, как вологодское масло.

Таковы были руководители Московского метростроя в тысяча девятьсот тридцать четвертом году.

Но не этих руководителей ждали на шахте 41-бис. На шахте 41-бис ждали особого начальника, начальника нового типа, начальника, если можно так выразиться, нештатного, вернее сказать, начальника ненастоящего. Словом, ждали начальника, портрет которого по праздникам вывешивался рядом с портретом товарища Сталина.

Вся стройка, от землекопа до инженера Ротерта, величала этого начальника Первым Прорабом. А журналисты еще задушевней — Магнитом Метростроя.

Первый Прораб по заграницам не ездил и никаких метрополитенов сроду не видал. Но стоило ему только появиться в забое, проходка вдвое ускорялась и вагонетки бегали на предельной скорости.

От одного его присутствия ярче блестели электрические лампочки и быстрее твердел бетон.

Получив секретное предупреждение о Первом Прорабе, начальник 41-бис Федор Ефимович Лобода принял необходимые меры: велел Мите Платонову проверить, есть ли вода в бачках, послал нарочного будить заместителя по технической части и проглотил крепительную таблетку.

Сердито кивнув захтеру, Митя побежал к белеющему снежной тубетейкой копру. Встреча с Татой опять ставилась под вопрос. Свидания с ней срывались уже два раза. Сперва кто-то насыпал гвозди в насос. Надо было искать вредителя. А через неделю на шахте загорелась изоляция. Снова пришлось звонить Тате, объяснять намеками, почему поход в кино отменяется. Тата перебила: «Что у тебя там, пожар?» О таких вещах по телефону говорить не полагалось, и Митя повесил трубку. Тата была прямолинейная, как рельс.

Правда, Митя условился сегодня не на семь часов, а на восемь тридцать, и не все еще было потеряно. «Сколько он может у нас пробыть? Ну, десять минут, ну, двадцать от силы...» подсчитывал Митя на ходу. — У него не мы одни: и МК у него, и ЦК, и Политбюро, и транспортная комиссия... Если через полчаса прибедет...»

Закончить подсчеты не удалось. Словно из-под земли, возникла Чугуева.

— Ну что у вас опять? — протянул он.

Еще днем она приставала, чтобы он принял ее к себе в бригаду.

— Возьми меня, товарищ Платонов,— загудела Чугуева густым, виолончельным голосом.— Ей-богу, возьми... Я бы на молоток встала.

— Опять двадцать пять. На мойке стоишь? Чем не работа? Что тебя там, обижают?

— Обижают.

— Кто?

Она засопела.

— Кто обижает? Ну кто? Давай быстрее, время — деньги.

— Ломовики фулиганят,— пробормотала она и смутилась. Сама поняла, что причина не больно уважительная.

— Что, что? — переспросил Митя.

— За титьки лапают, вот что,— сказала она громко.

— А ты их лопатой. Небось с тремя справишься. — Да-а, с ими справишься... Возьми, товарищ Платонов...

— Ты русский язык понимаешь? Нельзя. Утургаури тебя не отдает. А за то, что не отдает, ругай не его, а себя. Больно хорошо работаешь. Ясно?

— Ясно... Возьми, Митя, а?

— Давай не поднимай этого вопроса. Вкальвай на мойке, а под землю не спеши. Придет время, все там будем. Договорились?

— Договорились... Возьми, товарищ Платонов...

— Ну куда? Куда я тебя с твоими габаритами возьму? Да ты там, в штольне, не развернешься, если хочешь знать...

«Поглядела бы Татка, как с кадрами работаем!» — усмехнулся Митя, опускаясь в клетку.

И позже, в штольне, он не просто проверял бачки, не просто вбадривал уснувшего откатчика, не просто намекал бригадирам на грядущее посещение, а как бы изображал все это на сцене, постоянно ощущая оценивающий взгляд самого неподкупного зрителя — Таты.

Закончив инспекцию, он поднялся наверх, под студеное звездное небо. Фонарь в дальнем углу стройплощадки с казенной бессмысленностью освещал свалку трехслойной цементной тары. Митя увидел в узком окошечке церковки свет и, удивленный, остановился. Попавшая в зону площадки однолуковка была из тех, которые, словно растерявшиеся старушонки, покорно ждали гибели на автомобильных перекрестках. Митя предложил использовать пустую церковь для приготовления бетона. Предложение было дельное: можно и бетон месить в тепле, и цемент хранить под укрытием, и внутренние стены ломать на щебень, когда затрет с инертными материалами. За рационализаторское предложение Митю назначили бригадиром, затащили на алтарь бетоньерку «Рансом», подвели воду. Осталось провести электричество.

Работать там никто в эту пору не мог, а свет в окошке мерцал. Уж не забрался ли какой-нибудь энтузиаст с соседней шахты отвинчивать с импортной бетоньерки дефицитную шестеренку? Такое не раз случалось и, к сожалению, молча поощрялось руководителями, увлеченными соревнованием.

Митя тихонько подошел к окну и глянул через кресты кованой решетки. Конвульсивное керосиновое пламя пылающей ветошки едва освещало придел.

Возле бетоньерки стояла на коленях Чугуева и отвешивала поклоны.

Митя, лязгнув железной задвижкой, вошел в церковь и встал, подбоченившись. Она поднялась.

— Чего ты делаешь? — спросил Митя спокойно.— Тебе что, не доводили до сведения, что бога нет?

— Доводили...— Она вздохнула судорожно, как вздыхают малыши, наплакавшись.— Сейчас пойду. А если уж и в небесах ничего не осталось, и ты меня под землю не берешь, скажи, что мне, дуре, делать? Что мне делать, товарищ ты мой драгоценный?

— Что делать? — Митя рассердился.— А вот что: Магнит прибудет, проси, чтоб ставил твой вопрос на Политбюро!

«Вот так, Татка, работаем с человеческим матери-

алом,— похвастал он мысленно.— Когда — песочком, а когда — бодрой шуточкой!»

И побежал в контору. Морозец был крепкий. Снег огурчиком хрустел под сапогами. Чугуеву постигла какая-то невзгода. Надо бы внимание проявить, по душам побеседовать, подобрать ей антирелигиозную литературу. Почитает, поработает над собой и перестанет креститься. В культпоход бы затащить, на какую-нибудь кукарачу.

**Кукарача, кукарача,
А литературы не достача,—**

сложились сами собой стишки. Митя прикинул на слух, вроде не совсем складно... Что все-таки с ней приключилось? Тихоня, на язык наступи — смолчит. А нынче словно с ума своротила. Может, с родителями беда, а может, забеременела? В метростроевской спецовке и родит — не заметишь...

**Кукарача, кукарача,
А спецовки не достача.**

Так вроде лучше. А с Чугуевой какая-то авария. Если разобраться, никакой причины уходить с гравием — у нее нет. Там она номер первый. С начальством лады. Девчонки смеются, что прораба Утургаури Чугуева обожает до немоты. Тоже нашла идеал — старика тридцатипятилетнего. Ухажеров не досталось, что ли?

**Кукарача, кукарача,
Ухажеров не достача.**

А так и вовсе хорошо. Как у Пушкина. Не забыть Татке продекламировать.

Самодельный стишок свой Митя забыл на пороге конторы. На пороге конторы забыл он и про Чугуеву.

Он еще не был достаточно подкован и не чуял, что полезно помнить, а что забывать.

4

В просторном зале конторы витал дух почтительно-го ожидания.

Федор Ефимович Лобода, кругленький, лысый начальник шахты, помещался не за своим письменным столом, не в кресле, а на скользком венском стуле рядового служащего. Ампирное кресло было опростано для почетного гостя.

Длинноногий, декорированный значком «Ворошиловский стрелок» председатель шахткома, которого все так и называли — Товарищ Шахтком,— журавлем вышагивал между столами и заучивал какие-то данные.

Начальник заметно волновался. Волнение у него выражалось в непрерывном говорении. Слушателем страдал заместитель по техчасти Бибиков, седой инженер в коротких брюках и апельсиновых носках.

В дверях прогремел блок. Товарищ Шахтком принял положение «смирно». Лобода оборвал фразу на полуслове. И, когда появился не Первый Прораб, а Митя, все рассердились.

— Ходят, ходят,— проворчал Лобода,— дверями гремят... На чем я остановился?.. Надо аккуратней ходить. Шуметь надо меньше. Фу ты, шут... С мысли сбил...

— Вы начали про колобок,— напомнил Бибиков.— Да, да, обожди, обожди! — затормозился начальник.— Подходит после совещания, дает реплику. «Ну, как,— говорит,— колобок, крутишься?»

— Это вы уже говорили,— сказал Бибиков.

— Обожди, обожди! Запроси, понимаешь? «Ну, как,— говорит,— колобок, крутишься?» Так я стою, а так — он. «Ну, как,— говорит,— колобок, крутишься?» Я, конечно, растерялся. Шут его знает, как в таких случаях рекомендуется реагировать. Вот так я стою, а так — он. Ну, думаю, пан или пропал. «Врачаюсь,— говорю,— по силе возможности!» Смеется...— Лобода сделал длинную паузу, стараясь справиться с подступающей слезой умиления.— Смеется... «Гляди,— говорит,— чтобы голова не закружилась».

7

— Многогранный руководитель, — сказал Биби-ков. — Титан.

— В чем и дело! — Лобода громко высморкался. — Титан! Многогранный!.. Да, товарищи, учтите: как придут — в карманы не лезть. Ни за папиросами, ни за чем. Есть такое указание.

Митя сообразил, что речь шла о Первом Прорабе. И простая мысль ошеломила его: ведь Первый Прораб имеет право опоздать и на час, и на сутки, не обращая внимания ни на Митину свиданку, ни на Лободу.

— Федор Ефимыч, — занял он. — Мне отгул положен. Мое присутствие, я думаю, не обязательно.

— Вот она, нынешняя молодежь! — качнул головой начальник. — Ждем, можно сказать, титана, а у него отгул. Я прошлый год с аппендицитом в пузе прискакал на него глянуть...

— Чего на него глядеть? Что он, крокодил? — возразил Митя. Ему недавно стукнуло семнадцать. Комсомолец он был еще зеленый, и с его языка иногда срывались непродуманные выражения.

Наступила ледяная тишина.

— Надо так надо, — поспешно поправился Митя. — Я не возражаю. — И тоскливо взглянул на часы, украшавшие ослепительно белую изразцовую стену конторы. Недавно здесь размещался мясной магазин, могучие крюки, рассчитанные на тяжесть свинных и говяжьих туш, торчали между канцелярскими шкафами.

Часы показывали семь десять.

— А помнишь, как он Гусарову явился? — спросил Лобода.

Инженер Бибилов вздрогнул. Он откровенно клевал носом. От хронического недосыпа заместитель по техчасти выглядел неумытым, алчущим опохмелки отставным актером, и ни интеллигентная стеклянно-серебряная борода, ни старомодная ленточка пенсне не могли сгладить этого впечатления.

— Помнишь, Гусарову явился? Свая ни туда, ни сюда, Гусаров кроет по церковнославянскому. А он — вот он и он. Другой бы строга за цензуру, а он: «С тебя гривенник, Гусаров». — Губы Лободы задрожали, и он полез в карман за платком. — Вот она где, чуткость, — проговорил он умиленно. — Вот она где!

— Титан, титан, — бормотал Бибилов. — Ничего не скажешь!

— У них комсомольцы назначили штраф за матерщину, — робко пояснил Митя.

— У них, понимаешь, комсомольцы наложили штрафы на матюки, — объяснил Лобода, игнорируя и Митю и его комментарии. — Вот он и говорит: «С тебя гривенник, Гусаров».

Возникло молчание. Каждый, как пишут в нынешних романах, думал о чем-то своем.

— А совещание в горькое! — испугавшись, что чуть было не забыл исторического факта, воскликнул Лобода. — Гусаров докладывает: «Заложение — шестнадцать шестьдесят». А он без шпаргалки, с лету: «Не шестнадцать шестьдесят, а шестнадцать шестьдесят пять».

— Самородок! — откликнулся Бибилов.

— В чем и дело! — подхватил Лобода. — Небось, заложение нашей шахты лучше тебя знает... Да, товарищи, учтите, станет здороваться — руку крепко не жать! Есть такое указание!.. А на двадцать первой, помнишь, что учудили? Лампочки выкрутили, чтобы не видать было. А он идет в темноте и дает конкретные указания. Ему света не надо! Без света сквозь землю видит. Даром что на строителя не учился!

Товарищ Шахтком принял положение «смирно» и сказал:

— Не случайно страна назвала его Первым Прорабом!

Он был зайкой. Самая простая фраза, особенно если она начиналась на «Н», давалась ему с трудом. И все же смолчать при таком разговоре он не решился. Его молчание могло быть неправильно истолковано.

— Он, говорят, сапожником был при царе, — старался восстановить расположение начальства Митя.

Лобода туго обернулся. Во взгляде его было что-то болезное. Так мать, жалеючи, смотрит на неудачное чадо свое.

— Воду проверил? — спросил он скорбно. — В бачках хоть вода-то у тебя есть?

— Вода есть, Федор Ефимыч. Только возле сто пятой кто-то кружку унес.

— Что значит — унес? Она на цепке.

— Оторвал и унес. Совместно с цепкой. Я, Федор Ефимыч, велел все молотки, какие есть, запустить. И с долотами, и без долот. Для шума.

— А вот это ты... — начал было Лобода, но дверь хлопнула.

И снова Товарищ Шахтком застыл в неподвижной стойке, снова начальник забыл, что хотел сказать, и снова в контору вошел не тот, кого ждали.

В конторе появилась Чугуева.

Работала она возле воды, на гравиемойке. Грузную, крупноплечую фигуру ее обтягивал остродефицитный каучуковый комбинезон, и она чем-то смахивала на водолаза. На ней были плоские, как лопаты, рукавицы и каучуковая штормовка. В развалочку, будто одна нога в туфле, а другая босая, протопала она, чмокая дырявыми сапогами-метроходами, мимо начальства и нелепо встала посреди зала.

— Куда, куда! — вскрикнул Лобода, с ужасом взирая на рубчатые следы, заляпавшие пурпурную ковровую дорожку. — Куда, куда! Куда, куда, куда!

Дорожка была выпрошена взаймы в соседней библиотеке и тянулась от порога до амфиного кресла по кратчайшему расстоянию.

— Николай Николаевич! — кричал Лобода. — Ну чего же вы? Что за безобразие? Кто это?

— Наша. С мойки, — отозвался Бибилов. — Простите, матушка, а без спросу сюда врывать не полагается.

— Врываюся, понимаешь! — воскликнул Лобода.

— Прошу немедленно выйти, — продолжал Бибилов. — Будьте любезны. У нас срочное совещание.

— Совещание, понимаешь! Врываюся!

Чугуева бессмысленно глядела в воздух и не двигалась с места.

— Что с вами? — спросил Бибилов с опаской.

Он иногда нанимал Чугуеву мыть полы в своей квартире. Увидев, кто подошел, она радостно засопела.

— Просьба, — проговорила она низким приятным голосом, сняла рукавицу и вытащила из нее грязный лоскут бумаги.

— Просьбы, голубушка, подают бригадиру. — Бибилов тряхнул бумагу за уголок. Листок развернулся. — А бригадир перешлет начальнику шахты...

— А ну их! — Чугуева махнула на Лободу рукавицей. — Мне их не надо. Мне самого надо.

Митя оцепенел. Похоже было, что она всерьез приняла его бодрую шутку.

— Кого самого? — вскинулся Лобода. — А ну давай, очистишь помещение. Давай, давай! Сейчас совещание придут... Тьфу! Совещание будет! Давай, давай! Давай, давай, давай!

— Так у меня же просьба, — проговорила Чугуева.

— Хорошо, хорошо, голубушка, — ворковал Бибилов. — Будьте любезны. Просьбу рассмотрят. А вы будьте любезны.

— Рассматривай просьбу! — восклицал Лобода. — Давай отсюда! Давай, давай... Давай, давай, давай! Будьте любезны! Давай, давай!

Чугуева стояла как вкопанная.

— А что с ней миндальничать! — Лобода подошел к Чугуевой. — С ними как с людьми, а они допускают хамство на каждом шагу. А ну, будь любезная, давай отсюда.

— Хоть с нагана стреляй, не пойду! — сказала Чугуева шепотом.

— Ну, ладно. — Лобода поплевал на ладони. — Ты так, тогда и мы так. — Он ловко, будто век вздымал телеграфные столбы, уперся ударнице в спину и, поднатужившись, приказал: — Бригадир, пособи!

Пособить Митя не успел. На пороге стоял брюнет в твердой фуражке, как две капли воды похожий на свои утвержденные портреты.



Это давно ожидаемое явление оказалось настолько нестати, что Лобода, приветливо улыбаясь, все-таки подпирал Чугуеву, будто приглашая дорогого гостя затынуть «Дубинушку».

А контуру неправдоподобно быстро заполняли люди. В коверкотных пальто, в прорезиненных макинтошах, в кавалерийских шинелях и брезентовых спецках, они жались, проталкивались, наступали друг другу на ноги, и в беспокойной человеческой волне мелькали утопающие головы Ротерта и Абакумова. Первый Прораб любил и умел остричь, и на него смотрели с приготовленными для будущих шуток робкими улыбками.

Он оценил ситуацию сразу.

— Что, колобок? — раздался его свежий баритон. — Не совладать с рабочим классом? И никогда не овладеешь! И никому не совладать!

И рванул рукой вниз, будто стряхнул градусник. В толпе засмеялись. Хотя задние напирали, вокруг Первого Прораба сохранялся магический цилиндр пустого пространства.

— Обижают? — весело обратился он к Чугуевой.

Первый Прораб был в чудесном настроении. Товарищ Сталин только что вызвал его к себе (вождь был простужен, и врачи запретили ему заниматься государственными делами) и одобительно отозвался о его речи. Первый Прораб выехал из Кремля на два часа позже наркомовского графика и велел взять себя прямо на шахту. Трудовой энтузиазм проходчиков еще больше воодушевил его. Под землей бушевала битва. Комсомол сражался с подземной стихией. Пулеметами трещали отбойные молотки. Танковым грохотом гремели вагонетки, чаще пустые. Раздавались команды. И парторг был на передовом посту.

От шума у Первого Прораба заложило уши.

— Вода в бачках есть? — спросил он.

— Есть! — радостно закричали со всех сторон.

Первый Прораб приказал поднять себя наверх и явился в контуру с жадной говорить и действовать.

И вот он стоял, окруженный людьми, и перед ним сопела похожая на водолаза девица.

— Что это? — кивнул он на грязную бумажку.

У него были матово-бледное, неземное лицо и карие глаза, до того пронзительные, что казалось, будто они косят.

Чугуевой шептали со всех сторон, подсказывали.

— Что это? — повторил Первый Прораб. Он взглянул внимательней, увидел туго повязанную платком голову, мокрые от слез мягкие щеки, напирающие на крупный нос. Под его взглядом Чугуева поворотилась бочком и заманчиво выгнулась. «Боже, — испугался Бибиков, — она еще и гран-кокетт!»

— Просьба у нее... — не удержался Митя. Было уже без пяти восемь.

— Просьба? — Первый Прораб нахмурился. Резкие переходы от благодушия к гневу были особенностью его характера. — Видите, товарищи, просьба! Просьба, которую можно решить в считанные минуты. А что делает руководство? — Он обвел присмиривших слушателей косящим взором. — А руководство вышибает трудящихся за двери. Вот к чему приводит головкружение от частичных успехов, товарищи!

— Позор! — ответил кто-то.

— Позор, товарищи, — подхватил Первый Прораб, — командиры шахты не поняли, что к ним обратилась не просто рядовая работница. Перед нами не просто работница. Перед нами член ударной бригады мирового пролетариата... — Тут Первый Прораб заметил, что участница ударной бригады куда-то пропала. Впрочем, он привык к тому, что люди, нарушавшие плавный ход державной деятельности, иногда бесшумно исчезали из поля зрения, и не удивился. — Перед нами, — продолжал он, — один из тех, кто вывел Советский Союз на передовые позиции в техническом, экономическом, военном и культурном отношениях, один из миллионов трудовой когорты, которая под руководством вождя и учителя трудящихся всего мира...

Заключительные слова потонули в аплодисментах. Инженер Бибиков крикнул «ура». Несколько блеклых

канцелярских голосов подхватило. Получилось слабо, не в лад, как на затынувшемся банкете.

«Все наконец», — подумал Митя.

Первый Прораб шагнул к двери, остановился, взглянул на Лободу и спросил отрывисто:

— Как фамилия?

— Лобода, товарищ секретарь...

— Да не ваша!..

Лобода догадался, что нужна фамилия ударницы, и оглянулся на Бибикова. Инженер замаялся. В мозгу назойливо вертелось прозвище Васька, а фамилия на язык не давалась. И только вспомнилась — председатель шахтком, стоявший в положении «смирно», выговорил:

— Васька!

— Как? — грозно нахмурился Первый Прораб. — Васька? Почему Васька?

Все молчали.

— Чугуева ее фамилия, — не вытерпел Митя. Часы показывали двенадцать минут девятого. — Васькой ее прозвали. Произвели в мужской род.

Чело Первого Прораба разгладилось. Он улыбнулся.

— В мужской род произвели?

— Ну да. Она в комбинезоне шла, шофер обозначался, крикнул: «Васька, крутани!» В штанах — значит, Васька. С той поры и пошло: Васька да Васька.

— А как с машиной? Завела?

— Завела. Чего ей. Рванула и разбудила с одного оборота.

— Разбудила? — Первый Прораб оглядел Митю сверху вниз и снизу вверх, словно снял мерку. — А ты кто такой?

— Я? Платонов.

— Не Васька?

— Не Васька. Дмитрий.

— А по должности?

— Бригадир проходчиков.

— И временно исполняет обязанности комсорга, — уточнил Лобода.

— А комсорг где?

Снова возникла заминка. Комсоргом был самоубийца маркшейдер, однако происшествие с маркшейдером Лобода в свое время скрыл и теперь не знал, как отвечать.

— Комсорг повесился, — сказал Митя.

— А! Мне эта история известна. — Первый Прораб нахмурился. — Что же вы не ставите Платонова комсоргом?

— Недодумали, — сказал Лобода. — Недоглядели...

— Кадры маринуете! Вас учат не бояться выдвигать молодежь!

Первый Прораб протянул Платонову руку.

Митя пожал ее, как положено. Мягко. И Первый Прораб отбыл.

Контора опустела. Остались только руководители шахты, Ротерт и Абакумов. Они сбились в кучу, голова к голове. Митя вышел на улицу, поехал к церкви Флора и Лавра и, конечно, опоздал. На сугробе было нацарапано: «Тебя нет. Я ушла».

— Вот черт лысый! — ругнул Лободу Митя.

Как бы он поразился, если бы узнал, что свидание сорвали не Лобода и не Первый Прораб. Как бы удивилась Тата, если бы ей сказали, что в опоздании Мити виноват вождь мирового пролетариата.

Но ни Мите, ни Тате этого никогда не суждено было узнать, так же как и все мы не знаем истинных причин наших удач и несчастий.

В следующий раз Митя принял все меры, чтобы не опоздать на свидание, и опоздал опять. Пробившись в трамвай, он был уверен, что на этот раз поспеет вовремя. Он ехал и прикидывал, с чего начать хвастать: с того ли, как Первый Прораб прощался с ним за руку, или с того, что перепуганный Лобода выделил ему отдельный кабинет.

Погрузившись в размышления, он не сразу сообразил, что трамвай, обзаванный везти его к Тате, стоит, и стоит давно. Никто не выходил. В те годы вагоны забивались до отказа. Вылезешь, потом не влезешь.

— А я тебе говорю, пути просели, — объяснял один пассажир другому. — Метро копают — пути садятся. Моли Христа, что в яму не загремел.

— Мы привыкли! В нашем доме двери сами отворяются. Ровно нечистый дух бродит.

— Это что! У нас, на Остоженке, рюмки в шкафу чокаются. Ей-богу! По своей инициативе.

— Метро чертово! Всю Москву разрыли...

Митя пробился на переднюю площадку, увидел длинную трамвайную пробку, ахнул и бросился на стоянку таксомоторов. Машин не было. У пустого места мерзла уныло-злая очередь. Митя зашагал пешком, поминутно оглядываясь, не мигнет ли, на счастье, красный огонек. На Рождественском он понял наконец, что опоздал, и опоздал безнадежно. Все-таки он свернул на Юшковых и пошел поглядеть, не написано ли что-нибудь на сугробе. Он вышел на Мясницкую и глазам не поверил. Тата в каракулевом манти и в заячьей ушанке близоруко читала мхатовскую афишу.

— Руки вверх! — крикнул Митя.

Она сказала грустно:

— Господи, какой глупый!

В этот вечер на лице ее были заметны следы стойкой взрослой грусти, но Митя не мог не похвастать о новой должности, о Первом Прорабе, о кабинете. Тата слушала бесчувственно. Тогда он соврал, что в кабинете у него будет телефон.

— Перестань городить чепуху, — сказала Тата.

Митя надудел. Причину Татиного недоверия, подзревал он, было прошлогоднее событие.

Это событие стоит того, чтобы о нем рассказать.

Митя был круглым сиротой. Отец его, двадцатипятилетний, погиб в 1930 году во время кулацкого мятежа. Смышленный мальчуган около трех лет находился при правлении колхоза кем-то вроде делопроизводителя и бегал за шесть верст в школу. Однажды в деревню прибыл московский журналист. Митя рассказывал ему о коллективизации так складно, что журналист окрестил его «самородком» и забрал к себе в Москву, в домик на Рыкуновом переулке. В тех местах москвичи снимали на лето дачи. Детей у журналиста не было. Он неделями пропадал в командировках, а жена его, Лидия Яковлевна, пекла пирожки с луком, ходила с гостинцами к брату и брала с собой Митю. Брат ее был профессор. В его кабинете висела надутая, словно футбольный мяч, японская рыбина. Митя и не заметил, как очутился под покровительством дочери профессора, крайне принципиальной Таты. Она лихо опровергала библейские чудеса, рассуждала о бесконечности Вселенной и велела Мите читать «Анну Каренину» по главе в день. Иногда Митю раздражало ее самоуверенное упорство, и они ненадолго ссорились.

Так прошли полгода, самые счастливые в его жизни. Он бегал в рабфак, гулял с Татой, а по выходным увязывался с Лидией Яковлевной на рынок. Все оборвалось после того, как журналист привез из командировки очередного пацана-самородка. В первый же день новый обитатель Рыкунова переулка подрался с Митей. И хотя Митя был не виноват, Лидия Яковлевна взяла на рынок не его, а пацана. Ночью Митя вылез в окно и ушел от журналиста навеки.

Долговязый парень Шарапов устроил его в мастерскую при кладбище на отеску надгробных плит. Друзья не брезговали и другой работой: долбили зимой могилы, закапывали покойников, подражались сторожить венки. Шарапов несколько напоминал шекспировского могильщика и обожал прощаться с родственниками только что закопанного покойника многозначительным:

— До скорого свиданья!

Митя тоже любил пошутить. На этой почве они сошлись, хотя Шарапов было двадцать пять лет, а Мите шестнадцать. В свободные вечера забредали они в безлюдный переулок и начинали забавляться. В ту пору в Москве расплодилось много пугливых. Особенно быстро и, можно даже сказать, охотно пугался товарищ, проверенный на хозяйственной работе. Стоило к нему подойти с двух сторон, уважаемый товарищ столбенел и по собственной инициативе от-

стигивал часы или вытаскивал припрятанные от жены купюры.

Тут начиналось гала-представление.

«Никак нас с тобой за ширмачей посчитали?! — со слезой произносил Шарапов. — Да что же это, граждане дорогие! На бульвар не выйти! Вкальываешь, вкальываешь, кубатуру гонишь, а тебя за уркача признают. Кому ты деньги съешь, троцкист недобитый? Думаешь, руки в мозолях — значит, не люди? Чего ты мне свои червонцы съешь? Считаешь, государство меня не обеспечивает? А? Она что, запужался! Да какое ты, холера, имеешь право меня пугаться, когда я член профкома с двумя благодарностями от покойников и ихних родственников! Зажрался по ноздри, сука драная! Газуй куда шел, а то поздно будет! Вредитель! Оппортунист!» — выкрикивал Шарапов вслед ошалевшему товарищу, а Митя в полном восторге приседал от смеха.

По сведениям, которыми располагает автор, эти забавы были в высшей степени невинны. Друзья не присваивали ни вещей, ни денег. Во всяком случае, Митя не позволял себе брать ничего, и не только потому, что он положительный персонаж повести, а еще и потому, что ему довольно быстро становилось жалко малокровных ответработников.

Как-то на Чистопрудном приятели нагнали девушку. Девушка была как девушка: мальчишечья ушанка набекрень, челка до бровей, стоячий воротничок до носа. В кулачке портмоне, замкнутое на два шарика, и служебный пропуск. Брови не крашены. Заочница какая-нибудь.

Читатель, вероятно, догадался, что это была Тата. Беда в том, что не сразу догадался Митя.

К женщинам они обычно не приставали. Женщины не понимали юмора. Однако поскольку клиентов не попадалось, друзья стали шутивно командовать в такт мелким девичьим шажкам: «Ать, два, три, ать, два, три». Заочница пошла быстрее. И они быстрее. Заочница затормозила. И они тоже.

— Принцесса, — спросил Митя, — легаша на углу нет?

— Не видала, — ответила она спокойно.

Митя взглянул на твердый носик, стоящий на воротнике, и осекся. Он знал, что рано или поздно встретится с Татой, но поверить в такую встречу у него не хватило сил. Все же он чуть отстал.

— Что да что в кошельке? — не унимался Шарапов. Он имел две благодарности и любое дело привык доводить до конца.

— Билет в звуковое кино. Будут еще вопросы?

Татин голос, Татина ирония! Митю она, кажется, еще не узнала.

— А кроме билета? — приставал Шарапов.

— Кроме билета, ничего интересного. Попусту трагит время, граждане.

Митя дернул приятеля за рукав. Тот отмахнулся. Ему понравилась непреклонная девчонка.

— Какая картина? — спросил Шарапов.

— «Веселые ребята».

— Врешь! Сколько билетов?

— Один. Я, к сожалению, на вас не рассчитывала.

— А ну предъяви.

Митя не выдержал. Он зашел за скрипучий фонарь и крикнул:

— Отваливай, понял?!

В этот момент Мите показалось, будто вдоль длинной аллеи хлестнула ослепительная молния. Это на бульваре врубил электричество. Электрическая молния застыла неподвижной огненной цепью.

Тата подошла к Мите близко-близко, до того близко, что он почувал на щеке чистый ветерок ее дыхания. И услышал:

— Так и есть. Он!

Это было больше года тому назад. А и теперь, когда внезапно зажигается свет, Митю перекашивает судорога.

Как случилось, что они с Татой остались вдвоем, он не помнит. Он врал, что работает в «Совкино», что учится на артиста, что с Шараповым познакомился всего час назад. Тата не перебивала.

Прощаясь возле кино, Митя сказал:

— Заливаю я тебе, Татка.
— Я знаю, — ответила она.
— Работаю на могилах. Жмуриков закапываю.
Ясно? — Он криво усмехнулся и добавил: — Лидии Яковлевне не болтай. Ладно?

Тата обещала не болтать.

Так они познакомились снова, на этот раз основательно. Тата помогла ему восстановиться в комсомоле, помогла устроиться на Метрострой, и жизнь Мити вернулась в нормальную колею.

Они назначали свидания у церкви Флора и Лавра и всегда шли по одному и тому же маршруту, в один и тот же кинематограф и говорили примерно одно и то же.

Они шли по зимней, онемевшей аллее. На снежной дорожке отблескивали тусклым холодцом скользкие ледянки. Тата опасливо обходила их, но взять ее под руку Митя не смел. Она считала, что «цепляться» — такой же мешанский пережиток, как, например, помолвка. А Митя в глубине души подозревал, что она стесняется его гнедой масти. Давно еще, когда он в слезах прибегал со двора, задраженный «рыжим» и «конопатым», мать утешала его, что локоны с возрастом потемнеют, станут каштановыми, как у отца. Мама умерла, отец погиб, а жесткие мохры упрямо держали мандариновый колер, да и веснушек не уменьшалось и в зимнюю стужу. «Подумаешь! — внезапно возмутился Митя. — Меня Политбюро уважает, комсоргом ставят, а она брезгует?! Не хочет, нечего и в кино ходить». И рычком притянул Тату к себе.

Она печально взглянула на него и машинально примерилась к его шагу.

— Тебе не холодно? — спросил он.

— Нет.

— И мне нет.

Вечер был студеный, чистый, прекрасный. По снежной дорожке удлинялись клевками две тени, его и Татина, сливались воедино и сходили на нет до следующего фонаря. В черном небе кутенком опрокинулся молодой месяц. Как все-таки мало надо человеку! Стоило Тате довериться — и Митя вспомнил, кто он такой. Надежный бригадир первой столичной стройки, парень — не отличишь от коренного москвича: кожаная шапка-финка, полупальто с косыми карманами, белые бурки с кожаным кантом.

Он вспомнил, что всем этим хотя бы частично обязан Тате, вспомнил, что она ни разу не попрекнула его за прошлое, не ждала никаких объяснений. Ему захотелось поблагодарить ее, сказать что-нибудь доброе, глупое... И, когда поравнялись со скрипучим фонарем, он прижал ее руку и шепнул:

— Помнишь?

— Ты «Бориса Годунова» читал? — спросила она грустно.

— А как же.

— Помнишь, что посоветовал Шуйский Воротынскому?

— Воротынскому? А что? Мы Воротынского не проходили.

— А то, что не все желательно помнить. — Тата сделала менторскую паузу. — Кое-что полезно и забывать... Как ты думаешь, ледоколы долго ремонтируют?

Митя ругнул себя за легкомыслие. Ведь он знал, что отец ее уплыл в северные моря, что корабль раздавило, а команда высадилась на плавающую льдину где-то возле Северного полюса. Он попробовал утешить: на помощь экспедиции двинулись аэросани, самолеты, корабли, собаки упряжки. Слепнев и Леваневский поехали в Америку покупать самолеты. Обсуждается вопрос о посылке дирижаблей. А самое главное — создана правительственная комиссия под председательством товарища Куйбышева.

Тата молчала. Непонятно было, слушала она или нет. Впереди показалось отлично отшлифованное ледяное зеркальце. Митя покосился на него и спросил:

— Как все-таки этого «Челюскина» угораздило затонуть?

Тата взглянула на него с изумлением.

— Неужели тебе не ясно? Вредители.

— Ты что? Какие на Северном полюсе вредители?

— Откуда я знаю? Вредители значков не носят.

— Что же ваши капитаны глядят? Мы тут, на суше, с врагом в два счета расправляемся.

— Ты нашел, кто гвозди в насос насыпал?

— Найдем.

— Ну вот!

— А я тебе говорю, найдем! За своих ребят я голову кладу. У меня, знаешь, как дело поставлено? Скажу: братва, остаемся в ночь — и точка. В других бригадах базарят, а у меня — ша! Я не выхваляюсь, а говорю как есть. Меня ребята уважают. Потому что не выламываюсь, к людям отношусь, как товарищ к товарищу. Недавно подкинули мне чудика на исправление. Недоносов ему фамилия. Звать Осип. Бедолага, видать, навроде меня, сирота-одиночка. Подумал, подумал: какой к нему подход? И хлоп ему даровой билет в «Аврору»... — Он взглянул на грустную Тату и виновато осекся. — За отца не тужи, — продолжал он, помолчав. — Ему там северное сияние светит, шамовки на три месяца. Небось сидит на торосе и пишет научный труд про осетра и супругу его осетрину.

— Ты на Севере был? — остановила его Тата.

— Был.

— Где?

— Ну, не был. А что?

— Ты не понимаешь, что такое кораблекрушение на Севере. Гоша рассказывал, что они работают до обмороков. Как на каторге.

— Чего они там делают? Метро роют для белых медведей?

Она промолчала.

— Я смеюсь... А кто это Гоша?

— Я тебе уже сто раз говорила. Сосед. Стихи пишет.

— Это с ним ты на «Марионетки» ходила?

— С ним... Они ужасно много работают. Строят бараки. Ровняют площадку для посадки самолетов. Торосы рубят. А папа абсолютно не приспособлен к физическому труду. Здесь, на субботнике, и то умудрится палец вывихнуть.

— Сколько их там?

— Сто три человека.

— Это Гоша сказал?

— Нет. Я сама читала.

— И льдина не тонет? Держит сто человек?

Тата невесело рассмеялась.

— Держит, Митенька, держит. И барак держит, и радиостанцию, и провиант, и самолет выдерживает.

— Свой самолет у них?

— Да. Поломанный. Не летает.

— Вот это так льдина! А шамовку как раздают? От пуза или, как у нас, по карточкам?

— Какое это имеет значение?

— Ясно, никакого... Я смеюсь... Ты, главное, насчет отца не переживай. Он у них предмет дефицитный. Запакуют в меховой мешок и караул поставят — медведей отгонять.

— Повторяю, они там работают, работают до изнеможения. Они ровняют площадку, строят настоящий аэродром. Недавно у них был товарищеский суд. Кто-то отказался покинуть палатку по авралу. Представляешь?

— Ну и что?

— Его судили. И я боюсь, что это... Ты куда?

Как было упомянуто, вдоль дорожки бульвара темнели соблазнительные ледянки. Митя старался не смотреть на них. И вдруг какой-то падающий бочком профуганил по длинному ледяному зеркальцу так ловко, что стерпеть не было никакой возможности. Митя разбежался, пролетел метра три ангелочком и чуть не клонул носом в снег. «Гоша себе бы этого никогда не позволил», — прозвучала в его ушах Татина фраза.

Однако она не произнесла этой фразы. Она печально дождалась его возвращения и договорила:

— Боюсь, что это был мой отец.

Они шли берегом замерзшего пруда. У низкой ограды замигали красные буквы «Берегись трамвая», волнисто залепла проволока, и трехвагонный поезд, вылучивая ломкие, злорадно сжигавшие себя искры, с аварийным скрежетом прогрохотал к Покровке.

— Это что, тебе тоже Гоша сказал? — спросил Митя.

— Нет. Это из других источников.

— И к чему его присудили?

— Отправить на берег в первую очередь. Если это правда, я уеду... Я в Москве не останусь...

— Знаешь что, Татка, у следователей такой закон: пока на руках нету фактов, не марай человека. Хоть он тебе отец, хоть кто... Про Недоносова тоже трепались, что по карманам шарит...

Был тогда возле Чистых прудов небольшой кинематограф. Раньше он назывался «Волшебные грезы», потом «Аврора». Тяжелые, мореного дуба двери. По обеим сторонам бетонные вазы, наполненные песком, чтобы трудней было опрокинуть.

Пока Митя искал билеты, Тата потянулась читать правила поведения в общественных местах, утвержденные Моссоветом. У нее была страсть прочитывать все, что вывешивают на стенах.

Когда Митя пошел, чтобы оттащить ее, на глаза ему попалась мохнатая кепка. Он пригляделся. Так и есть. Осип Недоносов торчал возле тугоплавно изогнутой трубы, отгораживающей очередь к кассе.

Митя встал за его спиной бесшумно.

— А вот билетик! — как на толкучке, выкрикивал Осип. — Билетик имеется!

— А совет у тебя имеется? — перебил Митя.

Осип обернулся, осклабился половиной рта. Грозный вид бригадира ничуть не испугал его. Тусклые, будто раздавленные глаза глядели из-под ломаного козырька.

— Сколько настоящих ребят кино поглядеть мечтают, а ты что? — тихо, чтобы не услышала Тата, прошептал Митя. — Маклачишь? Позабыл, где работаешь?

— Почему позабыл? — удивился Осип. — На метр.

— А на метр не спекуляничают! Получил билет — садись и смотри!

— А ежели у меня чирей? — спросил Осип. — Мне сесть не на что.

Очередь засмеялась.

— Ну, чирья соскочил, — объяснил Осип серьезно. — Какой может быть смех?

— Ладно, погоди. Завтра перед бригадой отчитаешься! — пригрозил Митя. — Бригада дерется за знамя радиуса, а он маклачит. Ни ребят, ни себя не уважает.

— А с чирьями у вас тоже на работу гоняют?

— Тебе что, отгул надо? Утомился, стоявши? — Митя забыл о Тате и говорил во весь голос. Негодование захлестывало его. — Утомился?

— Утомился, — согласился Осип. — Чуть не час околачиваюсь. Не берут. Два билета враз взяли, а один не берут. Другой раз два давай, с одним ходить никакого расчета нету... Мадама, билетик не надо?

Митя схватил его за плечо, повернул к себе и замкнулся. Дама звизгнула.

— А ну вдарь. — Осип закрыл глаза и сунул левую руку неглубоко в карман.

Хорошо, что Тата встала между ними. Если бы не она, свежий комсорг не оправдал бы высокого доверия.

— Где билет? — заторопилась она. — Прекрати, Митя! Я беру, беру! Давайте! беру! Митя, прекрати!

Прищепив билет губами, Осип пересчитал деньги.

— А теперь слушайте меня внимательно, — остановила его Тата. — Этот билет я вам дарю. При свидетелях. Берите, не стесняйтесь. И потрудитесь просмотреть картину до конца. Я попрошу вас рассказать содержание.

— Это еще что! — рванулся Митя.

Осип поглядел на него, проговорил озабоченно:

— Не бойся. Не отобью.

Тата прыснула. Ей было неведомо, сколько хлопот доставит им этот уродец в лохматой кепке.

6

Через неделю после исторического посещения жизнь на шахте вошла в обычную колею.

Утром Федор Ефимович распорядился вернуть ковровую дорожку в библиотеку, переслал длинный чер-

теж с надписью «Внимание! Американская проекция» инженеру Бибикову и, расположившись в мягком кресле, стал глядеть на забитый папками шкаф.

На шкафу давно пылилась античная фигура, выполненная по заказу авиахима из папье-маше. Темные пятна на теле нагого Антиноя обозначали самые уязвимые места при поражении ипритом. Федор Ефимович привычно задумался о близкой войне, о бдительности, и влажные глаза его заволокли служебной дремотой.

Стол начальника стоял в глубине большого зала, наполненного техниками, лаборантами, нормировщиками и чертежниками. Федор Ефимович вынул из бронзового кубка карандашик, положил перед собой чистый лист бумаги и стал дожидаться, когда что-нибудь напишется. Бездельничать на глазах у всех было неловко, а проявлять производственную активность Федор Ефимович опасался: номера проката, типы насосов, юрские горизонты, американские проекции были для него книгой за семью печатями. Однажды он распорядился пускать в дело цемент без испытания кубиков, и всей шахте пришлось три дня выламывать бракованный свод. А всезнайка Бибилов на каждом углу стал рассказывать про древнекитайского императора Шуня. Оказывается, мудрый богдыхан во время своего длительного царствования почтительно сидел, обратившись лицом к югу, и не делал ничего другого. И за время его правления поднебесная империя достигла райского благоденствия. Федор Ефимович, выслушав байку, смолчал. Только нежно-розовая, цвета коровьего вымени лысина его и лежащие уши накалились докрасна. А вечером он назначил совещание и продержал весь техотдел до глубокой ночи, чтобы как следует почувствовали, где поднебесная империя, а где Российская Федерация.

Федор Ефимович предпочитал беседовать с подчиненными на равных. Любил шутку и простоту в обращении. Присмотревшись к нему, заведет в угол и секретничает: «Ты лучше в данный момент этого вопроса не поднимай». Или: «Норму, конечно, гони, но помни: чтобы не капало!» Если же комсомолец поперечничал или, еще того хуже, позволял себе потрепать брата-начальника по плечу, очередная порция его по неизвестной причине усыхала на красненькую.

Федор Ефимович терпеть не мог, когда сотрудники конторы приветствовали его появлением вставанием. Он огорчался, отмахивался: «Что ж вам, государствен- ный гимн?.. Садитесь, садитесь...» — и торопился к своему креслу. Если не вставали, огорчался еще больше, потому что авторитет, положенный не ему лично, а месту, которое он занимал, должен отмеряться без недовеса.

Из задумчивости Федора Ефимовича вывела секретарша Надя. Она принесла на подпись приказ.

Начальник с размаху подписал первый экземпляр и стал с интересом наблюдать, как Надя, усевшись за своим крохотным столиком, проставляла номер, помещала на копии «с подлинным верно», пробивала оригинал дыроколом и прихватывала стальным капканом скоросшивателя.

Дубликат приказа был вывешен на фанерном щите, и Федор Ефимович загадал, кто первый подойдет читать.

Не подходил никто.

«Распустились, — подумал Федор Ефимович. — Надо посоветоваться с партгором да подзадержать отдел после работы... Пушай продумают разницу между коммунальной и сельскохозяйственной артелью».

Он поднялся и, подавая урок служебного этикета, пошел читать сам.

Приказ начинался солидно: «Капиталистический мир задыхается в тисках мирового кризиса. Они ищут выхода путем эксплуатации пролетариата и в подготовке войны. Нашим долгом является крепить мощь и обороноспособность, залогом чего являются перевыполнение плана проходки и бетонных работ на шахте и бережное отношение к инструменту».

Дальше шли параграфы. Кто-то уловлялся в декрет, у кого-то выкли за сломанный лом шесть рублей ноль две копейки. «Вон у меня какие Поддубные! —

удивился начальник. — Лома ломают! Он вернулся на место, привычно устоялся на обожженного ипри- том голыша и стал обдумывать, как могли ухитриться поломать лом. И вдруг по сонным мозгам его про- пыл парграф пятый: «Чугуевой М. Ф. — разнорабо- чей. Объявить выговор за самовольный уход с рабоче- го места без разрешения».

«Да ведь это та самая Чугуева? — похолодел он. — Какой может быть выговор?! Что они? С ума посхо- дили?»

Он поманил Надю, спросил на ухо, кто составлял проект приказа. Оказалось, инженер Бибилов.

— Сыми! — тихо повелел Федор Ефимович.

Приказ был снят и все экземпляры порваны на мелкие квадратики собственноручно Федором Ефимо- вичем.

— Бери карандаш, — велел он Наде. — Не этот. Вот этот. Пиши. «Рапорт». Быстрее давай! С новой строки. «Чугуева направлена в ударную бригаду Платонова согласно Вашего указания». Всю Чугуеву большой буквой. Инициалы поставишь. Обратно с новой стро- ки. «Спущены указания. Создать Чугуевой». Обратно инициалы. «Обстановку» и тому подобное. «Началь- ник» и тому подобное. В скобках — «Лобода». Давай печатай быстрее! Давай, давай... Чего тебе не понят- но? Все понятно. Сверху: «Настоящим докладываю. Личную просьбу Чугуевой рассмотрели». Всю Чугуеву большой буквой... Давай, давай! Пушай Бибилов запя- тые раскидает.

— Я сама семилетку кончала, Федор Ефимович, — напомнила Надя.

— Давай, давай! Ты — семилетку, а он — Александ- ровский институт. Сама знаешь, кому пишем.

Отослав рапорт с нарочным, Федор Ефимович снова притих. Кто бы подумал, что безропотная ударница с гравиемойки окажется такой настырной. Не слышать ее было, не видать, и вдруг нá тебе! Показала норов. Под землю приспичило. К Платонову. Первого Прора- ба и того не испугалась. И что с ней приключилось? Почему бежит с гравиемойки? Может, прораб Утурга- uri обижает? Вроде бы нет. Обижал бы, куда угодно пошла. А ей приспичило к Платонову. Может, слава бригады прельстила? Непохоже. Она, я думаю, не по- нимает, что главный — орден Красного Знамени или значок ЗОТ. Может, там, в платоновской бригаде, миленок у ней завелся? Надо проверить... Вот инте- ресно: в массе все одинаковые, а каждая отдельная единица — загадка природы...

Федор Ефимович хоть и глядел на южную сторону, а все-таки первый вспомнил про Чугуеву. Не вспоми- нил бы, пустил бы на самотек, так и осталась бы она на гравиемойке и вышестоящее указание не было бы выполнено.

«Постой, постой! — Начальник насторожился. — Чу- гуевой-то никто не пособил! Ни Шахтком, ни новый комсорт, никто не догадался!»

Лежачие уши Федора Ефимовича стали накалять- ся. Конторский скоростной давно уже доставил рапорт в высшие инстанции. Федору Ефимовичу представили- ся алая тяжелая папка, сияющая золотом прянич- но печатанного слова «к докладу», матово-бледные руки, открывающие крышку, серебристый испод пере- плета, паточно истекающий муаровыми узорами, и среди документов международного значения бумажка с разборчивой подписью «Лобода».

— Надя! — вскрикнул Федор Ефимович. — Срочно Чугуеву!

Пока бегали за Чугуевой, Федор Ефимович пытался вникнуть в ее анкету и автобиографию. Попытка не удалась. Корявые буквы плыли перед глазами, а папка личного дела упорно норовила закрыться.

Наконец Чугуеву привели. Из-за кучи платков гля- дели на начальника испуганные глаза.

— Чего заматалась? — приветствовал ее Федор Ефимович. — На дворе холодно?

Она принялась было отвечать, заметила на папке большой номер, черные буквы своей фамилии, и ее ударило, будто током: «Все! Левша доказал. Пропа- ла!» И венский стул пискнул под ее тяжестью.

— Чего это ты? — Федор Ефимович заботливо на- клонился над ней. — Сомлела?

— Оробела... — пробормотала Чугуева.

— Ну вот, оробела, — огорчился Федор Ефимович. Впрочем, если подчиненные вовсе не робели, он огор- чался еще больше. — Такая устойчивая девка, двух мужиков переселила, а тут на ногах не стоит. Чего нас пугаться? Мы не звери, мы руководители. Распе- ленайся, тепло... Вот так. Я тебя, Маргарита батьков- на, не для своего, а для твоего удовольствия пригласил. — Начальник вернулся за письменный стол, стал читать личное дело и, не прерывая чтения, задавал сторонние вопросы: «Газету выписываешь?» или «В профсоюз заплатила?»

Потом отложил дело и спросил напрямик:

— Скажи мне, пожалуйста, почему ты к Платонову собралась? По каким соображениям?

— Машины... — с трудом проговорила Чугуева.

— Какие машины? Чего тебя, лихоманка колотит?

— Машины... с почтамата пригнали... Грузить надо.

— Обожди про машины. Обожди, обожди, обожди. Разъясни сперва, кто тебя к Платонову приманивает. У проходчиков работа тяжелая, опасная, взрывные ра- боты, воздуха мало. Работа не девичья. Может, у те- бя там землячок завелся? А? Сама-то откуда? Ну, чего язык заговорила, откуда сама?

— Не знаю, — сказала Чугуева. Она глядела на его надхлобученный на глаза лоб, на усики и ждала, ког- да надоеет играть кошке с мышкой.

— Серчаешь. — Федор Ефимович вздохнул. — На- прасно серчаешь, Маргарита батьковна... Чем я вино- ват? Приперлась со своей просьбой не вовремя. Всю обедню нарушила... Другой раз у нас такой сабантуй, что не разберешь, кого бить, кому хлеб-соль подно- сить. Тяжело стало руководить, ох, тяжело. Взять хо- тя бы тебя — желал с тобой контакты наладить, а ты боишься. А чего боишься, не знаешь. Я сам крест- янский сын, такой же, как и ты... С Волги небось?

— С Волги... — тихо проговорила Чугуева.

— Ну вот. А молчишь. Я там возле Царицына в гражданскую воевал. Хорошие там места. Одно ху- до — кулаков много... Батьку как величать?

— Машины стоят. — Чугуева поднялась. — Грузить надо.

— Ну вот. Обратно машины. Машины, машины. Узкое место у нас машины. А между прочим, все про тебя позабыли, выговор собрались тебе вкатить за отлучку. Один я упомянул... Вот она, наша долюш- ка. — Он достал платок и вытер лицо. — Ступай.

«Батюшки, — поняла вдруг Чугуева. — Да он не зна- ет ничего. Ничего, ничегошеньки!» И крошечные ямки появились на ее щеках.

— Ступай, ступай, — продолжал Федор Ефимович печально. — У Платонова ребята смирные. Физкульту- ра в почете. А тебе с твоим поперечным сечением та- кой совет — подкладывайся к физкультуре. А то салом заплывешь, сдадим на мясозаготовку. Ядры тебе надо кидать, диски.

— Сейчас? — спросила Чугуева.

— Зачем сейчас? В кружок впишут, там и станешь кидать. Машины машинами, а и о себе думать надо. Кино просматриваешь?

— Нет.

— Чего же?

— Темно там. Засыпаю.

— Вот как! В кино засыпаешь. А ночью что де- лаешь?

— Ничего. Сплю.

— С кем? — пошутил Федор Ефимович.

— Когда одна, а когда с Машкой.

— С какой Машкой?

— Машкой-то? Из лаборатории. К ней дед приехал.

— Какой такой дед?

— Ейный дед. Родной дедушка... Когда выпимши, у нас ночует.

— В женском бараке?

— А где же? Куда его девать, если выпимши? На двор не вынесешь. Я пойду, ладно? Машины стоят.

— Ступай, ступай... Сдавай спецовку и ступай к Платонову.

— К Платонову? Пошто?

— Как пошто? По то. Оформляйся к проходчикам. Разрешаю.

— Да что вы! — отмахнулась Чугуева. — К Платонову? Ни в жисть...

— Что значит не пойдешь? Я рапорт подал, а ты не пойдешь?

— Нет, нет! И не думай, товарищ начальник!

— Обожди, обожди... Ты что, Маргарита батьковна, позабыла, кому просьбу казала? Про нас с тобой, знаешь, где разговоры идут? Я рапортую, что ты у Платонова, а ты обратно на мойке? Да разве можно? Не-е-ет! Нам теперь ломаться не приходится.

— Да будет тебе. Сказано — не пойду, значит, не пойду. Хоть режь.

— Значит, добром не желаешь?

— Не желаю.

— Ну ладно. Придется с тобой говорить на басах. Предъяви заявление.

— У меня нету.

— Что значит нету? Выкладывай. Думаешь, мы тут богдыханы? Мы не богдыханы. Давай выкладывай!

— Чего же я выложу, если нету.

— А где оно?

— Потеряла. Забросила.

— Вон ты как! А ну садись за стол. Садись, не боись.

На каучуковом комбинезоне Чугуевой заиграли густые складки. Она вразвалочку обошла стол, осторожно опустилась в широкое кресло.

— Вот тебе бумага, — Лобода хлопнул ящиком, — вот тебе карандаш. — Он щелкнул карандашом по стеклянной плите. — Пиши.

— Чего писать?

— Просьбу. В бригаду Платонова. Прошу и так далее.

— Не стану.

— Пиши, тебе говорят.

— Не стану.

— Ты где, на базаре? У нас дисциплина железная. Куда тебя поставят, там и стой. То ей приспичило к Платонову, то ей неохота к Платонову. Да у Платонова, если ты хочешь знать, передовая комсомольская бригада. А ты кто? Комсомолка? Нет. Так чего ты к нему лезешь?.. Погоди, погоди... Сбила ты меня совсем. Погоди, погоди. Погоди, погоди, погоди. Поскольку ты не комсомолка, вывод такой: полезно тебе маленько повариться в комсомольском котле. Пора тебе, Маргарита батьковна, расти над собой, в политике пора маленько разбираться. Фашисты войну затевают, а ты голову платком замотала. Германия из Лиги наций вышла. Слышала, нет? Ребята в комсомольской бригаде — народ грамотный. Они там тебе разъяснят. Они одного несоюзного взяли на воспитание. Ты будешь вторая... Пиши...

Федор Ефимович прервал речь и, не закрывая рта, устался на Чугуеву. Еще не было случая, чтобы его работа с людьми давала такой немедленный результат. Чугуева побледнела, как полотно, лицо ее стало цепенеть.

— Классовый враг ползет из всех, понимаешь, щелей, а ей к Платонову, понимаешь, приспичило!.. — продолжал Федор Ефимович неуверенно. — Обожди, куда я тебе велю? Вовсе ты меня сбила, Маргарита батьковна... Пиши давай!

Чугуева окончила за письменным столом. Круглые глаза ее наливались смертельным страхом. «Припадочная!» — испугался Федор Ефимович.

Вскоре он сообразил, что взгляд Чугуевой направлен мимо него и пугает ее вовсе не Германия. Он оглянулся. У входной двери топтался парень в лохматой кепке.

— К вам, гражданин начальник, — проговорил он. — Доложить велели до сведения. Покойник у нас. Обожди. Не видишь, занят... Так вот, Маргарита батьковна, что я вам хочу... — Тут сообщение парня добрело до его сознания. — Какой покойник?

— Первобытный, видать. Гроб откопали.

— Прекратить работы, — приказал начальник.

Дело было пустое. Проходчики снова наткнулись на древнее погребение. Вызвать члена археологической комиссии, и все дела.

— У покойника выставить охрану и ждать ученых. В гробу не ковыряться. Голову оторву. Ясно?

— Ясно.

— Постой! Ты из бригады Платонова? Новенький? Как тебя там, не обижают?

— Нет.

— Ребята хорошие?

— Ничего.

— Ну вот, хорошие. Бригадир хороший?

— Ничего.

— Ну вот. И бригадир хороший. А она не идет.

— Пойдет. — Парень ухмыльнулся половиной губы. — Покорится. Она верующая.

— Ты что? Знаешь ее?

Парень вяло взглянул на Чугуеву. Она сопела, как мехи в кузне, и не сводила с него белых безумных глаз.

— Видались, — сказал он.

— Так как же? — строго проговорил начальник. — Добром в бригаду пойдешь или силком тебя тащить? Ну?

— Как они скажут, — еле слышно пробормотала Чугуева.

— Давно бы так. Бери карандаш, пиши заявление.

Чугуева зыташила из-за пазухи мятую бумагу. Это была та самая просьба, которую она показывала Первому Прорабу. Начальник разгладил листок на столе, сказал:

— Другой раз будешь писать, оставляй поля пошире.

Он разогнал руку, написал резолюцию и вычертил что-то длинное-длинное, словно фамилия его была не Лобода, а по крайней мере Немирович-Дачненко.

Чугуева взяла бумагу и тяжело, будто на голгофскую гору, пошла за лохматой кепкой.

7

Так по воле прихотливого случая на великой стройке Московского метрополитена скрестились тутти беглой лишенки Чугуевой и пройдохи Осипа Недоносова.

Объявившись в бригаде, Осип признался, что на строительных сроду не работал, а каменщиком третьего разряда записался для того, чтобы быстрее получить койку в общежитии. Прораб покачал головой и поставил его на откатку. Работа была нелегкая. Досрочно, в рекордно короткий срок сбита узкоколейка не выдюживала, вагонетки бурились — сходили с рельсов на стыках, на кривых, на поворотных кругах. Грузная копелевка выматывала последние силы. Осип уработался до икоты и через два дня внезапно вспомнил, что умеет плотничать. Тогда его отправили в бригаду проходчиков. Платонов выдал ему тяжеленный деревянный молот — «мартын», поставил на крепление штолен и сказал, что если Осипу взбрет в голову еще раз менять профессию, придется идти в главные инженеры, больше некуда.

А через несколько дней насмешки над Осипом потухли. У слабосильного придурка открылся природный дар, который перекрывал все его капиталистические пережитки. Он ловчей всех в бригаде умел добывать доски и подтоварник. В ту пору, в феврале и марте 1934 года, когда драка за 9 и 4 достигла наивысшего, почти неправдоподобного накала, бревно считалось на стройке самым драгоценным подарком. Но прежде надо объяснить, что такое 9 и 4.

Мало кому известно, что метро в Москве задумали копать давно. Еще в 1925 году на столичных улицах и площадях было заложено девяносто разведывательных буровых скважин. К 1930 году появилось два проекта: один наш, советский, другой немецкий, фирмы «Симменс Баунион». Дело двигалось робко до тех пор, пока в июне 1931 года Пленум ЦК не вынес решение: «Необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве... с тем, чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена».

И в 1932 году началось удивительное строительство, не имевшее ни смет, ни проекта, ни специалистов. На стройку брали, как на войну: и металлистов, и

колхозников, и пекарей, и циркачей, и кубовщиц, и текстильщиков, и адвокатов, и котлоскребов, и наборщиков, и официантов, и скорняков, и чекистов, и мебельщиков, и банщиков. Одним из бригадиров-проводчиков оказался бывший помощник директора кинофабрики — по производственным совещаниям. Не хватало ни машин, ни материалов. Истощенные карьеры не имели ни подъездных путей, ни освещения. Комиссия, состоявшая из главных инженеров, делила каждую платформу гравия по участкам. Воздвигали башни копров и копали шахты, еще не зная толком, где пройдет трасса. Приказ о том, чтобы обеспечить метро мрамором, снабженцы получили за два месяца до конца работ. А мрамор поддается распилу на три сантиметра в час.

И вот однажды — таинственно рассказывал ветеран-метростроитель — зимней ночью Ротерта, Абакумова и прочий руководящий аппарат подняли с постелей, отвезли на Старую площадь и вознесли лифтом на пятый этаж. Руководители Московской партийной организации, строители, профессора, консультанты сели за длинный стол и стали советовать, как завершить строительство в минимальный, пятилетний срок. Они советовались, а за их спинами вышагивал человек в сапогах козлиной мингрельской кожи. В середине вежливо-настойчивой речи академика — специалиста по основаниям и фундаментам — раздался державный стук трубки о пепельницу, и из зеленоватого сумрака послышался голос, с усилием и вместе щегольски выговаривающий русские слова:

— Лес, конечно, надо. И машины надо... А главное, надо сменить черепашьи темпы на большевистские и прекратить превращать Москву в помойную яму.

Все молчали. Единственный человек в мире, имевший право сформулировать и произнести то, что было произнесено, не торопясь, разломал красивыми пальцами несколько папирос, набил табаком трубку, раскурил ее и примирительно, даже ласково закончил:

— Есть предложение: завершить строительство Метрополитена к всенародному празднику Седьмое ноября. А с качеством вопрос ясен: Метрополитен пролетарской столицы должен быть лучший в мире.

Наконец кое-что прояснилось. Месяца окончания строительства был назван. А год? Догадка, что этим годом может быть 1934-й, представлялась настолько несурзкой, что ее никто не решался произнести вслух до тех пор, пока она не подтвердилась вскоре циркулярно, документально, а также голосами, тихими и громкими, клеймящими пораженцев и упадочные настроения, охватившие одну часть технической интеллигенции.

Пришлось думать всерьез. За все прошлые годы было выполнено пятнадцать процентов работ. На остальные восемьдесят пять процентов отводилось чуть больше десяти месяцев. Быстро подсчитали: для того чтобы уложиться в намеченный срок, надо ежедневно вынимать 9000 кубометров грунта и укладывать 4000 кубометров бетона.

Эти арабские цифры — 9 и 4 — стали на стройке чем-то вроде роковых огненных словес «мене, текел, перес». Про девятку и четверку ежедневно твердили на десятиминутках, девятку и четверку постоянно печатали в заголовках «Ударника Метростроя», девятка и четверка мерещились в темноте, являлись во снах. А инженер Бибилов отводил приятелей по одному в уголок, спрашивал, сколько будет девять плюс четыре, и мифистифельски подмигивал.

А дела на шахте 41-бис не располагали к шуткам и шли, по выражению того же инженера Бибилова, «далеко не идеально». Из 4000 кубов бетона на долю шахты пришлось в январе 350, а не уложили ни одного. Бригады дрались за план зверски, забывали обедать, забывали, где ночь, не выходили из-под земли сутками, а толку не было. Парторгов ругали за плохую постановку политмассовой работы, проектировщиков — за нехватку чертежей. Лобода по-наполеоновски обвинял морозы. А загвоздка была не в чертежах, не в морозах и не в политграмоте, а в самом обыкновенном бревне. В феврале по встречному графику обязались уложить 800 кубов да 350 январских, а уложили всего 86 с половиной.

Комсомольская бригада Платонова стала съезжаться на шахту часа за два до начала работ, еще до света, и разбредалась по соседним улицам, по дворам и чуланам — на лесозаготовки. Платоновцев хорошо знала милиция, но платоновцы знали милицию еще лучше и возвращались кто с доской, кто с бревнышком.

Самым надежным снабженцем оказался Осип. Три дня краду он приносил добротную двухдюймовку — крашенные ступени какого-то крыльца. Потом притащил воняющую хлоркой дверку с надписью «ОО».

Ребята удивлялись. А когда Осип приволок дверь, обитую свежей клеенкой с табличкой «Прием от 10 до 16», Платонов хотел было пропесочить его, но сдержался и отошел. Приходилось терпеть. Такое создалось положение.

А про Чугуеву Осип словно забыл. С тех пор, как они оказались в одной бригаде, пошла вторая неделя, а он ни полслова не намекнул о прошлом. Иногда Чугуева думала, что обзавелась, что это не тот, кого она обмахивала веткой на сибирском болоте, а только похожий. Но нет, Осип поглядывал на нее, как на близкую знакомую, и приказывал найти скобу или клинышек, будто государь-повелитель. Она не могла понять: чего он тянет, чего ждет от нее? С каждым днем ей становилось все тошнее. Она стала чаще попадаться на глаза Осипу, заговаривала с ним. А он только ухмылялся половиной рта. Эта отвратительная ухмылка извела ее до того, что она едва не открылась Платонову.

Случилось это так. Однажды Осип, не замечавший Чугуеву полную смену, смилостивился и подозвал пособить. «Ладно, — решила она. — Кончать пора так или эдак». Она завела марчеванку на прогон, оглянулась, нет ли кого, и, замирая от сладкого ужаса, спросила:

— Сам сибирский?

— А что? — отозвался Осип, как обыкновенно.

— Чего же уехал? Казенные хлеба надоели?

— А ты что? Тоже оттуда?

— Не тяни жилы. Сам знаешь... Триста четвертый.

Горло ее сдавило спазмом. На триста четвертом километре высаживали раскулаченных.

Дальше Чугуева плохо понимала, что происходит. Остроносое лицо горбуна приблизилось почти вплотную, помаячило возле глаз и уплыло в темноту. Сипловатый голос предупредил:

— Руку хорони.

Она приладилась. Мартын свистнул возле уха. В глазах полыхнула малиновая зарница, кто-то пробубнил сквозь вату:

— Что? По пальцу угадал?

Она пыталась понять обращенные к ней слова — и не могла. С той минуты, когда она открылась Осипу, безнадежная слабость охватила ее. Пересиливая себя, она принялась заправлять другой конец марчеванки, нажала на торец и почувствовала тупую боль. Она даже не поморщилась, словно болела не ее ладонь, а чужая. Ее мучило. Осип что-то бубнил, она слышала звуки и не пыталась понять смысл. Только увидев кровь, капающую из рукавицы, ахнула по привычке и побежала к свету. Из-под черных отставших ногтей на левой руке сочилась кровь. Чугуева присела на корточки, окунула руку в лужу.

— Ой, батюшки, тошнехонько, — бормотала она вслух, потерявши осторожность. — Кто за язык тянул? Не признавал, теперь признает... Вот дура так дура... Сегодня не сдогадался, завтра сдогадается. Ой, батюшки, да что же это!

— Что с тобой? Что ты? — Над ней стоял Платонов с карбидкой. Она и не слышала, как он подошел.

— Ничего, Митя. За грехи. Так и надо!

— За какие грехи! Вся лужа красная! А ну в здравпункт!

— Не надо в здравпункт, Митя!.. И так покаюсь. Тебе покаюсь.

— Лободе покаешься!.. Ребята, полундра!

— Не могу больше, Митя! Гадюка я. Слушай...

Покаяться она не успела. Набегли ребята, загоношились, силком усадили Чугуеву в вагонетку и, взвы-

вая на манер «скорой помощи», помчались в двенадцать ног к подъёмнику.

К Осипу бригада еще приглядывалась, а Чугуеву признала с первого дня. Бестолково ревнивая красотка Мери, отвечающая за электрику и за членские взносы, и та призналась, что с Чугуевой стало уютнее в «загробном царстве».

Пробюллетенив три дня, Чугуева явилась на работу молчаливая, как монашка, и между ней и Осипом снова установились отношения батрака и хозяина. Она берегла его инструмент, искала оброненный гвоздик, покорно слушала его разглагольствования. Добровольная угодливость лучшей ударницы поражала ребят, а особенно Мери, которая знала мужикам цену. Ее возмущало, что Чугуева подкармливает Осипа своим ударным пайком. Чугуева терпеливо выслушивала резоны Мери, но все продолжалось по-прежнему. И еще одна черта проявилась в ней — ее стало жадно тянуть подслушивать Осипа. Как только вдалеке раздавался ржавый голос, в ней все замирало.

Один раз она услышала разговор, происходивший метрах в ста от нее. Мери доказывала, что ни одна девка на такую шалаву, как он, не позарится. Осип вяло возражал и ссылаясь на Чугуеву.

Мери смеялась: Чугуева кормит его, чтобы приручить, окрутить и расписать.

— Не... — упорствовал Осип. — Ко мне бабы за так липнут.

— Это почему? — подстрекала Мери.

— А я почему знаю? Ты баба, ты и разъясни, почему.

— Псиной от тебя несет. Вот почему.

— Это не псины, — объяснил Осип авторитетно. — Это влажно-тепловая обработка. От вошей.

И, сколько ни слушала его Чугуева, о главном он ни разу не проговорился.

8

В начале марта Митя позвонил Тате, чтобы узнать ее планы на восьмое число.

— Ах, как кстати! — защебетала она. — Как хорошо, что звякнул! Просто замечательно! Радио слышал? Женщины и дети сняты со льдины и доставлены в поселок... как его... — Слышно было, что она у кого-то спрашивает название. — Да, да, в поселок Уэлен. На самолетах! На наших советских самолетах! Ты рад? Вот какой сюрприз сделали летчики к женскому празднику. Женщин вывезли. Замечательно, правда? И дети, оказывается, были. С ума сойти! Теперь и папочка вернется. Я абсолютно уверена, Митя. А теперь слушай внимательно. — Она переключилась на привычный менторский тон. — К тебе на шахту едет Гоша. Надо ему помочь...

— Какой еще Гоша? — спросил Митя, придавая голосу клоунский акцент. Это дурацкое имя во время прогулок часто витало над ними. И только теперь оно почему-то больно кольнуло Митю.

— Ну, мой, мой Гоша! — втолковывала Тата. — Я о нем сто раз говорила. Поэт. — Она снова о чем-то спросила кого-то. — Специальный корреспондент. Он тебе сам расскажет. У него срочное задание. Срочное, понимаешь? Ему надо срочно сочинить очерк. В общем, он сам расскажет. Он умница. Тебе он понравится. Помоги ему. Ты там фигура. У тебя же свой кабинет. — Она засмеялась. И еще кто-то там засмеялся. — Поможешь?

— С удовольствием, — процедил Митя. Очевидно, сарказм по слаботочным проводам не передался — Тата как ни в чем не бывало затараторила про летчиков, про челюскинцев, про собачьи упряжки, и разговор оборвался.

Митя вышел из телефонной будки очумелый.

«Всегда так, — удивился он. — Звонил как человеку, чтобы договориться, женский день отметить. А она забивает голову собачьими упряжками».

Тата работала на почтамте, продавала марки. По телефону ей мешали разговаривать жадные филателисты. Наверняка Гоша тоже марки собирает. А Тата дрянь все-таки. Фасонит, как не знаю кто, а за

душой круглый нуль. Давно было видно — гнилая интеллигенция. Поэта нашла. И имя паскудное: Гоша, Георгий. Шут с ними со всеми. Подумаешь, Георгий-победоносец! Она, наверное, живет с ним. Пользуется, что отец на льдине.

Митя был парень незлопамятный. И честил он Тату главным образом ради того, чтобы заглушить самокритику, доминавшую его в последнее время. А самокритика не давала покоя: «Ты-то кто такой, чтобы девчата с тобой проводили свой праздник? Летчик? Орденосец? Давно ли тебя дразнили Жукленком? Подумаешь, бригадир. Много ли ты сделал за свое бригадирство? Каким был Жукленком, таким и остался».

Роскошная шуба с енотовым воротником загорюдила ему дорогу. Отворотившись от выюги, владелец шубы поджигал папиросу.

— Закурить найдется? — спросил Митя противным клоунским голосом.

Плосколицыый владелец енотовой шубы взглянул на метростроевскую панаму и с легким поклоном распахнул золотой портсигар. Митя вытащил из-под резинки толстую папиросу, сунул ее в рот и пошел. «Она за родного отца переживает, а он, вместо того чтобы утешить, кинулся на ледянке прокатиться... И этот, енотовый, странно поглядел. Может, прикурить надо было? Ладно, шут с ним. Не возвращаться же, не объяснять, что некурящий».

До него с опозданием дошло, что папиросой его угостил знаменитый артист Москвин, а он, балбес, спасибо пожалел сказать. Вот бы Татка узнала, на месте бы съела... Но она не узнает. С ней все. Пускай ей Гоша стихи декламирует.

Обеденный перерыв еще не кончился. В конторе было пустынно. Прилежная Надя линовала бумагу.

— Я сейчас Москвина видел, — сказал он. — Настоящего.

Она подняла круглое, кукольно-розовое личико.

— Ты как женский день наметила провести? — спросил он деловито.

— Не знаю. Шахтком петь в хору приказал.

— Подумаешь, хор. Пойдем в ресторан. На мои деньги. Коньяк будем глотать. А?

Надя внимательно посмотрела на него.

— Ты чего это? Ты чего? — спросила она, вынимая из его рта папироску. — Порутили тебя, Митенька, да?

И эта пигалица сочувствие проявляет!

— Какой я тебе Митенька? — проговорил он гневно. — Твой Митенька на колбасе катается...

Он подождал гостя минут пять, не дождался и отправился в бригаду.

У проходной маячил сутулый парень с фотографическим аппаратом на животе. Парень промерз до костей. Хрящеватый нос его отливало красно-сизым блеском, в руках заношенного макинтоша едва виднелись кулаки, а глубоко на уши была натянута лыжная шапочка с помпоном.

Усмехнувшись про себя, Митя спросил:

— Вы будете поэт Гоша?

— Я. Добрый день. — Гоша торопливо подал плохо разгибающуюся, замороженную руку. — Очень приятно. Я вас сразу узнал. По Татиному описанию.

— Описала, что рыжий?

Гоша смутился.

— Вам надо было в контору зайти. — Митя нахмурился. — Я там из-за вас полчаса околачивался... Это со мной, — небрежно кивнул Митя вахтеру. Как только он увидел помпон на шапочке, настроение его улучшилось. — Чего вам от меня надо?

— Очень немного. Сведите меня, пожалуйста, с девушкой.

— Насовсем или на время?

Гоша смущенно хихикнул.

— Мне очерк заказали. В праздничный номер. К Восьмому марта. Обязательно нужна девушка. — Гоша робко улыбнулся, открыл лиловую, тоже как будто замерзшую десну. — Ударница нужна. Желательно с шармом. Мне ее снимать придется.

— Со шрамом у нас ни одной нету, — сказал Митя. — У нас техника безопасности поставлена — во! А ударницу подберем. Марки собираете?

— Нет. В детстве собирал, бросил. А вы?
— А я и не начинал. Портянки крутить умеете?
Портянки крутить Гоша не умел: кое-как натянул резиновые сапоги и вслед за Митей двинулся к походу на Тайнидку башню копру. Мешкать не было времени. Бригада ждала своего бригадира.
Они забрались на деревянную платформу, огороженную вроде телячьей стойки, рукоятчица просигналила «живой груз», шестеренки запричитали, и клеть пошла вниз.

— Глубоко? — прокричал Гоша в Митино ухо.
— Сорок пять.
— Трос надежный?
— Пока держит. — Митя сощурился и добавил: — А все до поры до времени. Не трос — мочало. Кабы увидели, ахнули!

И Гоша затих.
Потом они долго шли штольной по скользким доскам, шлепающим под ногами мокро, как прачечные рубельники, шли, прижимаясь к стене от груженых вагонеток, сказочно бежавших без мотора и без толкача под невидимый уклон; вагонетки гремели, откатчики, уместившиеся на рамах, орали в темноту: «Бойся!», с кровли шел дождь. Редкая цепочка электрических лампочек блестела елочными бусинами в банном тумане под низким потолком и изгибалась направо, в бархатную подземную тьму.

— Ты, друг, давай активней нагинаяйся, — обернулся Митя. — Фару навесишь — отвечать не буду.

Интерес к поэту он потерял и соображал, как бы поскорее от него избавиться.

На его счастье, в дневную смену работала Мери. Он увидел издали мигающую контрольку.

— Вот она, — сказал Митя. — То, что надо. Звать Мери.

Мери бесцеремонно ослепила фонариком сперва Митю, потом Гошу.

— Товарищ к тебе, — объяснил Митя. — Из редакции. Куплеты про тебя будет складывать.

Сбагривать корреспондентов на Мери было удобно. Она обладала техническим образованием и нахальной красотой. С ней неоднократно беседовал Первый Прораб.

— А, из газеты! — обрадовалась Мери. — Вот хорошо! Кирشنا знаете? Нет? А я знаю... Ничего малый. Вас как звать? Гоша? А фамилия? Успенский? Чего-то я ваших книг не читала... Писателей много, а я одна. Женатый? Чудно! Писатель, а неженатый! Я и Пушкина читала, да позабыла. Минуточку... Патрон присобачу, поговорим ладком. Только так: я вам — мерси и вы мне — мерси... Тут надо туляка одного покрепше продернуть.

— Какого туляка? — насторожился Митя.
— Да ты его знаешь, слюнявый такой, с Тулы трубы возит. Как в Москву, так и давай разлагаться. Пускай жена почитает. Зуб ни за что вышиб, падла. Вот, гляди.

Она оттянула распухшую губу.
— Ему поручено не про зуб писать, красавица, — пояснил Митя. — Ему поручено про Восьмое марта, про Международный женский день писать... А тебя в данный момент не то что на карточку снимать, на тебе клейма ставить негде. Пошли.

И Гоша захромал натертыми ногами дальше, вслед за бригадиром.

Они остановились в углублении, разработанном в виде пещеры. Серые песчаные стены поблескивали, как халва. Под тусклой угольной лампочкой висела табличка «Аварийный запас» и перечислялось, сколько багров, топоров, ведер, досок и бревен должно быть припасено на случай беды. Из обязательного ассортимента осталось только четыре оскизлых обрубка. На одном из них коротал рабочее время Осип. Он упирал перочинный нож в колено и ловчился, чтобы, кувырнувшись двойным салтью, нож воткнулся в землю.

— Получается? — спросил Митя любезно.
— Ничего, — отвечал Осип. — Раз уткнется, два раз ляжет.

— А девять и четыре кто достигать будет?
— Топор тупой, — сказал Осип.

— Тупой — тачки. — Митя готов был сорваться с любезного тона.

— Оселка нету.
Мимо прогремела вагонетка. Голый по пояс парень в пиратской косынке соскочил на ходу.

— Гони крепаж, бригадир! — заорал он. — Потолок валится!

— Где?
— У меня, где же? Запустил перфоратор, а кровля — бенц! С головой накрыла! Ладно, филат углом уперся, а то бы хана! Марчеванкой прижало — ни туда, ни сюда.

— А подручный?
— Подручный за сменным побег. Ребята на обеде. Руку прижало — спасу нет. Васька не выручила бы — хана бы. Зависла вниз головой, давай пилить. Раз-два, перепилила. Я через фурнелъ вниз — бенц! Ладно, песок...

— А Васька?
— Ее за ноги вытащили. Давай доски! Не то план завалим! — И парень исчез в темноте.

— Чего встал? — накинудся Митя на Осипа. — Лакеев ждешь? Топор тупой — ищи точило!.. Он вспомнил про Гошу, обернулся. — Да и вам тут делать нечего. У меня бригада — одни мужики, если не считать Ваську.

— Простите... — возразил Гоша робко. — Я, кажется, недопонял. А кто Васька?

— Васька — женского пола.
— В ушах звенит... Не могу ухватить.
— А что тут ухватывать? Крестили Риткой, а кличем — Васька.

— Так, так... И, насколько я уловил, этот Васька, простите, эта Ритка выручила из беды землекопа?

— Землеко-о-оп? Это Круглов Петька. Ясно?
— А кто он такой?
— Круглова не знаете? Зря. На всю шахту гремит. Лучший забойщик. Первая лопата.

— Так что же вы раньше не сказали?! Это мне и нужно! Где-то там, на льдине, летчики спасают женщин. А здесь, в подмосковных недрах, женщина спасает героя. Символично, не правда ли? Если вы устроите мне беседу с Васькой и Филатом, мы с Татой будем вам очень обязаны.

— С каким Филатом?
— Я недопонял... Круглов слишком лапидарно изъяснялся — хана, бенц, — и я не уловил... По-моему, он упоминал какого-то Филата.

— Филат — это доска. Ясно?
— Ах, доска. Тем лучше! Филат отпадает. Достаточно побеседовать с Васькой.

— Пожалуйста. Только учтите, с ней говорить — все одно что с филатом. Она с новым человеком говорить не может. Сопит, как телуха, и только.

— Я разговору, — тонко улыбнулся Гоша. — Маяковский с памятником Пушкину ухитрился беседовать.

— Так то Маяковский! В общем, дело ваше. А ты все тут? — снова набросился он на Осипа. — После смены мы с тобой тоже побеседуем. Где Васька?
— За оселком пошла, — доложил Осип.

Митя велел Гоше ждать, прыгнул на пробегавшую вагонетку и поехал звонить по телефону.

Вагонетка ушла. На фоне ненадежной тишины любой звук жирно пропечатывался в Гошинных ушах. Вот шлепнулся коровьей лепешкой кусок глины. Вот упорно стреляют по лужам грузовые капли, каждая на свой тон. Вот, набирая силу, возник ватный звук двигателя, и резиновый шланг, змеей распластавшийся у Гошинных ног, ожил, напряжился, петлистая часть его поднялась стоймя и, равномерно дергаясь, плюхнулась на другой бок. Рядом ни с того ни с сего треснул здоровенный, в обхват толщиной, стояк.

— Что это? — Гоша вздрогнул.
— Город давит, — объяснил Осип. — Горное давление.

— Это опасно?
— Чего опасного? Я же сижу.

Стеклярусный блеск лампочек делал тусклую тьму плотнее и гуще. Сверху и с боков сквозь расщелины досок сочилась вода. И невозможно было пред-

ставить, что где-то над головой ходят москвичи, бегут «газики», автобусы, громяхают трамваи. Гошу мучило, но он решил довести дело до конца, чего бы это ни стоило. От будущего очерка зависело многое в его горемычной судьбе.

9

Почти с пеленок Гошу Успенского убеждали, что он необыкновенный. Изысканный, душистый отец его посвятил жизнь древним остским языкам. В оставшееся от остских языков время он мылся и чистился. Он был брезгливый чистюля. А мать курила пахитоски, обожала футуристов и работала в Музее изящных искусств у знаменитого Цветаева. В ту пору было модно работать.

Салон Успенских был известен в Москве. У них бывали Гершензон, Бахрушин, Бердяев. Они слушали, как пятилетний Гоша декламировал по-немецки стихи из «Путешествия на Гарц», пророчили: «Этот ребенок далеко пойдет», — и пили чай с сухариками. Сухарики подавались особые, аристократические. Для приготовления их с Патриарших прудов привозили мамину сестру. Сестра была баптисткой. Ее стыдились и гостям не показывали.

Учиться Гоша пошел сразу во второй класс. В первом учиться ему было нечему. Грянула революция. Наступил голод. Гоша хорошо помнит, что бывал сыт один раз в месяц. По двадцатым числам отец приносил из университета паек: мешочки с крупой, а иногда коровью голову без языка (язык отрезали для пайщиков высшей категории).

В образцовой школе имени Бебеля Гоша без всяких усилий оказался первым учеником, а когда Гоша заметил, что лозунг «Кто не трудится, тот не ест» принадлежит библейскому апостолу Павлу, обществовед до судорог возненавидел профессорского заморыша и прозвал его мосье Жорж.

Бесноватые школьники раскачивали мосье Жоржа на канате до рвоты, подвешивали на трапеции, стягивали с него тусы. Гоша растерялся. Все то, за что его расхваливали дома, в трудовой школе жестоко осмеивалось.

Однажды он проснулся ночью. Чужие мужчины перетаскивали его вместе с кроватью в папин кабинет.

Позже стало известно, что самодеятельная «трудовая группа» постановила оставить профессору Успенскому три комнаты, а в остальные две вселить работника Чаеуправления Наумова. Профессор не согласился, и уплотнение проводилось ночью в принудительном порядке. Мама билась в истерике. Папа сидел в кабинете и подравнивал пилкой ногти.

Бывший политкаторжанин Наумов был известен всему дому. Его называли ходячей совестью. Он колебимо стоял за справедливость в большом и малом и часто спасал Гошу от дворовых мальчишек. Тем не менее суд Хамовнического района решил вернуть самовольно занятые комнаты интеллигентному труженнику профессору Успенскому, а незаконную «трудовую группу» распустить.

Адвокат настоял, чтобы на процессе в зале суда присутствовала вся семья. Сиренево-бледный Гоша и несчастная мать изображали, так сказать, вещественное доказательство — притесненные личности. И действительно, контраст был разителен. Наумов, фанатик с упрямым лбом, с горящими черным огнем глазами, кричал о несправедливой жилищной политике, дерзил и ругался. Оказалось, что судится он не первый раз. В 1918 году он застрелил из браунинга приведенного ему на допрос князя Меньшикова. Ревтрибунал приговорил его за самосуд к общественному порицанию и запретил носить оружие в течение года. Теперь же ему было предписано освободить занятые комнаты и вернуться на прежнее место жительства.

Суд кончился. Гоша вышел с родителями на улицу. Отец шел немного впереди, размахивая палисандровой тростью, и слушал болтовню адвоката. У поворота в Штатный переулок его окликнул Наумов, ска-

зал: «Тебе квартира нужна — вот получай!» — и выстрелил. Гоша хорошо помнит: после выстрела отец брезгливо посмотрел на крахмальную, набухшую кровью манишку и упал, как срезанный. Наумов подошел к нему вплотную, подул в ствол и выстрелил еще два раза.

С тех пор Гоша стал нервозно относиться к прямолинейным борцам за справедливость, и эта черта характера осталась в нем на всю жизнь.

Отца хоронили с оркестром. Кто-то посоветовал превратить квартиру профессора в музей.

Но вскоре их уплотнили еще раз, официально и по правилам, а в мемориальный кабинет вселили семью из шести душ. Это несчастье сразило мать окончательно. В четырнадцать лет Гоша остался сиротой. И к нему переехала тетка-баптистка.

А учиться становилось все мучительней. Старшеклассники считали Гошу юродивым. Ребята смешили, что он знает, кто такой Тутанхамон, и умеет говорить по-немецки. И Гоша бросил бы школу, если бы его не взял под свое покровительство староста группы, второгодник Курбатов.

После школы друзья покойного отца устроили Гошу в Институт востоковедения. Там он поражал студентов робостью и удивительными способностями. Его считали лентяем. Но это была не лень, а страх сделать что-нибудь такое, что насмешит людей.

Гоша не ходил ни на лекции, ни на коллоквиумы. Целыми днями валялся он на продавленной кушетке и сочинял стихи.

Издredка, когда на душе становилось особенно тошно, Гоша ходил в Каретный, в садик «Эрмитаж» играть в шахматы. Там встречал одноклассников. Некоторые питомцы образцовой школы стали образцовыми начальниками, директорами. Курбатов выдвинулся в редакторы молодежной газеты. Услышав эту новость, Гоша расстроился. Как же так? Ему, необыкновенному Гоше, приходится существовать на жалкую долю родительского наследства, а невежда, уверявший, что турки живут в Туркестане, раскатывает на персональном «газике».

Гоша ожесточился, принялся изучать итальянский и через полгода запросо декламировал терцины «Ада». Между тем наследство было проедено, а тетка стала запирает свой хлеб на ключ. Стипендии Гоше как обеспеченному сыну профессора не полагалось. Тетка глумилась над его стихоплетством и настаивала, чтобы он «оформлялся».

Разозлившись, Гоша снес в комиссионный магазин мамин пуховый платок, присвоенный теткой. Тетка расстроилась, простудилась, и ее увезли в больницу. Гоша залег на кушетку и стал сочинять автобиографическую поэму «Розовый омут». Дело продвигалось туго. Гошу раздражало, что строчки самовольно складываются в терцины. Давало себя знать пресыщение «Божественной комедией».

Пока он мучился, голодный Марсик ходил по комнате и орал так, что пришла соседка из смежной квартиры. Это и была Тата. Затаив дыхание, выслушала она начало поэмы и предредила Гоше путь, усыпанный розами. Он улыбнулся и напомнил, что гению уготована трагическая судьба, и знает, что ему суждено сгореть, как сгорел Джордано Бруно. Он ждет своего часа. Ждет с нетерпением, даже с радостью. Лишь бы найти достойную защиты идею или встать на защиту гонимого, ибо любой неординарный человек — уник, мистическая идея... Тата перебила его: трагедия гения, сказала она, типична для капиталистического общества. А в нашей стране, в героическое время пятилетки, поэзия нужна не меньше, чем хлеб и сталь. Они поспорили и остались в восторге друг от друга.

После ухода Таты он с новой силой принялся за поэму, но ненадолго. Из больницы пришло извещение — скончалась тетка. Для захоронения надо было сдать ее хлебную карточку. Гоша перерыл всю комнату — карточки не было. Он взломал шкатулку. В шкатулке не оказалось ничего, кроме пузырька с хлороформом и записки: «Когда Господь призовет меня — усыпи Марсика. Не то буду являться». Каждый день к Гоше ходили люди с портфелями и знач-

ками, про тетку говорили, что она прееет, грозили судом, заставляли писать объяснения, подписывать какие-то бумаги. Кот сбежал, будто и он прочел теткин записку, и Гоша растерянно слонялся по комнате в полном одиночестве. Первого числа тетку разрешили хоронить без карточки. А у Гоши не оказалось ни копейки. В смертельной тоске валялся он на кушетке, проклиная свою долю, и в голову его лезли слова великого флорентийца: лежа на перине, счастья не найти. Ночью он ни с того ни с сего вспомнил своего бывшего заступника, редактора молодежной газеты Курбатова, и к утру сочинил стихи:

Нам не страшны ни грозы, ни угрозы.
И плану пятилетнему в зачет
Текут зерна потоки из колхоза

И из вагранки жарко сталь течет.
И труд, и стих мой людям угнетенным
Звезду освобождения несет.

И так дальше — всего восемь терцин.

Курбатов встретил Гошу скифским гоготом. Машинистке было приказано подать чай.

Гоша протянул редактору свое произведение.

— Чего это все кинулись стишки писать? — сказал Курбатов. — Даже бабы пишут. Читал эту Веру Инбер — с души воротит. Слабовасто пишет. Губной помадой.

— Поэзия требует известной культуры, — заметил Гоша.

Гошины стихи редактор просмотрел, прикуривая папиросу. А прикурив, сказал:

— Слабовасто. У Инбер и то лучше.

— Что ж. — Гоша, бледнея, поднялся. — Не в коня корм.

— Слабовасто, слабовасто, мосье Жорж. Навряд ли твой стишок принесет угнетенным звезду освобождения. И учти, из вагранки течет не сталь, а чугун. Тысячу двести градусов вагранка не выдержит. Расплавится.

— Буду иметь в виду, — слегка поклонился Гоша.

— Слабовасто, слабовасто... — бормотал Курбатов. — А, была не была! Тиснем в подборке «Молодые голоса»... Ты же меня все-таки ливерной колбасой кормил. Немного мутатис мутандис, как говорится, и тиснем.

Суровая машинистка принесла чайник, стаканы с подстаканниками и сливочное печенье.

— Садись, пей. А подписывать стишки как будем — «Мосье Жорж»?

Гоша был возмущен до того, что не мог поймать подходящего ответа. Сглотнув голодную слюну, он проговорил:

— Я пришел не чаи распивать, а предлагать стихи. Вместо того чтобы получить официальный отзыв, я слышу дурацкий смех и не менее дурацкие мутатисы... Вызубрил два латинских слова и думаешь, что этого достаточно для...

— Ошибаешься, — сказал Курбатов. — Еще знаю. Альма-матер.

— Ну, альма-матер. А еще?

— Идефикс.

— Это по-французски, полиглот!

— Тогда больше не знаю.

— Ну вот. А берешься судить, что слабовасто, что не слабовасто... Вызубрил мутатис мутандис... в легковушке раскатываешь!..

— Тебе денег надо? — просто спросил Курбатов.

— Это не имеет значения. Я стихи на ливерную колбасу не меняю. Вопрос исчерпан.

Так бы и оборвалась встреча школьных приятелей, если бы в кабинет не влетел секретарь редакции. В руках его колыхалось жирное полотнище газетной полосы. Только что позвонили, что героиня очерка, приготовленного специально для Восьмого марта, сбежала с Трехгорки и оформилась в продовольственном Торгсине. Материал придется снимать. Полоса, посвященная Международному женскому дню, горит.

— Твое предложение? — оборвал Курбатов.

У секретаря предложений не было. В запале, правда, имелся очерк о комсомолке, чистой по всем статьям (выдвиженка, делегат съезда), однако, по по-

лученной справке, на днях автор очерка взят, и публикация его творений, какими бы они ни были, естественно, исключалась.

Курбатов велел свистать всех наверх и через четверть часа представить новый макет.

Секретарь исчез. Курбатов остановил отсутствующий взгляд на Гоше и спросил внезапно:

— У тебя, случайно, знакомой комсомолочки нет?

— Есть, — сказал Гоша заносчиво.

— Врешь! Где работает?

— На почтамте. Продает марки.

— Слабовасто.

— Зато она дочь челюскинца.

— Врешь! Вери командировку, скажи к ней. Сгношишь читабельный очерк, проведу во внештатные. А потом... потом видно будет. Да ты не пузирись. Советую соглашаться.

— Когда доставить материал? — спросил Гоша официально.

Курбатов сострил:

— Вчера! — И заготовил победным скифским гоготом.

Через полчаса Гоша с казенным «Кодаком» прибежал к Тате. Она оценила суливший удачу случай, отсоветовала углубляться в сюжеты, имеющие отношение к наркомпочтелю, и убедила непрактичного гения окупиться в рабочую гущу.

И Гоша окупился в шахту 41-бис.

Чугуевой не было. Гоша пошел искать ее и дошел до забоя. В банном тумане под дождем, льющимся с кровли, ребята отваливали пласты жирно-черной глины заиндедевшими от сжатого воздуха отбойными молотками. Мокрые девчата в лифчиках и брезентовых штанах грузили породу и гнали вагонетки к стволу. А навстречу везли стояки — бревна около полуметра толщиной. Антрацитово-черный лоб забоя, прикоснувшись к воздуху, бледнел на глазах, принимал мертвенный оттенок тлеющей золы.

На вежливые вопросы Гоши поглощенные битвой за девять и четыре ребята дико кричали: «Посторонись!» — или не отвечали вовсе.

Гоша вернулся к Осипу и покорно стал дожидаться.

Капала вода. Волокнисто пахло гнилушками. Как муха в паутине, худел на столбе жестяной ящик с черепом.

— Вот она, — сказал Осип.

Сперва были слышны только шлепки досок. Потом из темноты штольни выделилось грузное существо. Оно косяло шагало по колену в тумане, чавкая метроходами. Гоша еще не приспособился ни к расстояниям, ни к призрачному освещению подземелья, и существо показалось ему огромным.

Чугуева подошла к Осипу и встала, как лист перед травой. Она держала мартын с размочаленным наклепом. Несмотря на грузность, было что-то изящное и в ее позе, и в косо заломленной шапке-штормовке, и в аккуратном узелке, притороченном к поясу. Осип ждал. Она виновато сопела.

— Ну, чего? — спросил Осип нехотя.

— Не дают, — промолвила она.

— Что значит не дают?

— Не дают, и все.

— Несознательные?

— Кто их знает. Не дают.

— У кого просила?

— У во всех. Не дают. — Она подумала и пояснила: — Не дадим, говорят.

— А как за девять и четыре с тупым топором драться?

— Не знаю.

— У них не спросила?

— Нет.

— Что же ты?

— А что я? Не дают, ну!

Гоша вспомнил предупреждение бригадира. Чугуева действительно слова даром не отпустила.

— А ты добром просила-то?

— Добром. Оселок, мол, надо. Топор точить.

— А они что?

— Не дают.
— Сами точат?
— Никто не точит. Не дают, и все.
— Да почему?
— А знаю? Ступай, говорят, отседа. Ты что, говорят, ему в кульеры нанялась? Пускай сам попросит.
— А ты что?
— Чего я-то... Не дают, ну...

Осип поглядел на нее внимательно. Спросил быстро:

— Булка есть?
— Нет. Всю приела.
— А там что? — Он кивнул на узелок. — Дай гляну.

Он развязал узелок по-волчьи, зубами. Там оказались баночка из-под крема «Леда» с мелкой монетой, хлебная карточка, проездной до Лоси, крошечная иконка, уголок зеркала, соевая конфетка «шантеклер» и несколько конфетных фантиков. Конфету Осип съел, остальное вернул, чтобы завязала сама.

— Снова идти?
— Ступай. Подскажи им про девять и четыре.

— Пардон, пардон! — заторопился Гоша. — Куда же вы ее засылаете? Она мне самому нужна! Добрый день, товарищ Чугуева!.. Мне ее бригадир обещал!.. Присаживайтесь.

Чугуева вопросительно поглядела на Осипа.

— А оселок? — спросил он.
— Я вам достану оселок, — пообещал Гоша. — У нас есть. На кухне. Я вам подарю...

— Это еще когда будет, — сказал Осип.

— А у меня задание газеты. Экстренное! Я полча-са жду.

— Ступай, Васька! — сказал Осип.

Чугуева вопросительно поглядела на Гошу.

— Нет, пардон! Послушайте, если она уйдет, я пропал... Прошу вас... Бывают же у человека в конце концов крайние обстоятельства.

— Бывают, — сказал Осип. — А тебя за оселком послали, надо было принести. — И зашлепал по мокрым доскам в темноту.

— Осерчал, — вздохнула Чугуева.

— Ничего. Я ему подарю оселок. И еще у нас где-то валяется отвертка... Ваше имя, пожалуйста?

— А на что вам?

— Как же... Не могу же я вас называть Васей.

— Ну, Маргарита... — застенчиво проговорила Чугуева и покраснела.

— Видите, как хорошо! Маргарита! В этом уже есть что-то. Маргарита — по-латыни «жемчужина». Где-то у меня тут блокнотик... — Гоша стал весело охлопывать себя, будто заплесал цыганочку. — Ага, вот он. Мне у вас колоссально везет. Не успел спуститься, завалило Круглова. Ну вы, конечно, понимаете, не в том везет, что его завалило, а в том, что сюжет... И опять не то... Наплевать на сюжет. Повезло в том, что рядом оказались вы и спасли его. Вербицкая написала бы — вырвали из когтей смерти... Теперь так не пишут... Современный очерк требует динамики, Рита. А Круглова я понял плохо. Чуть не сосватал филата вам в женихи.

Он засмеялся, приглашая и Чугуеву повеселиться над его технической наивностью. Она прослушала его смех с тем же недоумением, с каким слушала рассказ о Круглове. Гоша поперхнулся и сказал:

— А время идет. Присядем.

— Садитесь. Мы постоим, — возразила Чугуева.

— Тогда и мы постоим. Равноправие... Вы с Волги?

— А вам что?

— Как это что? Простите, я не представился! Успенский, Георгий Георгиевич. Писателя Успенского знаете? Нет? Это хорошо, потому что я не тот Успенский, которого вы не знаете, а другой Успенский, которого вы тоже пока не знаете.

Она смотрела на него тревожно.

— А кроме шуток, мне поручили написать про вас очерк.

— Про меня? — ожила наконец Чугуева. — Еще новости! На меня ни один начальник сроду не обижался. Чего про меня писать? Я не дамся.

— Вы не поняли, Рита. Редакция заказала положительный материал... Какая духота у вас... Дышать

нечем. Как в сицилийском быке. Вы слышали о сицилийском быке?

— Нет.

— О, это весьма интересно! Я недавно вычитал: царствовал в Сицилии тиран Фаларид. Давно еще. До нашей эры. И вот этот Фаларид приказал сделать из железа быка. И тех, кто ему не нравился, загружали в быка, запирали люк, а под быком разводили костер.

— Вон они, капиталисты, что делают, — сказала Чугуева. — Мне идти?

— Куда идти? А очерк? Итак, вернемся в двадцатый век, Рита. Судя по круглым «о», жили вы на Волге. В колхозе. Верно? Да, самое главное! У быка была разинутая пасть, представляете? И, когда несчастных поджаривали, они, конечно, выли. А получалось, будто бык мычит... Только и всего. Хитроумно, не правда ли?

— Господи, куда это Осип подевался? — тоскливо промолвила Чугуева.

— Ах да, Осип. Давайте продолжим. — Гоша снова похлопал себя по бокам, достал блокнот. — Скажите, пожалуйста, Рита, вы сами подошли к Круглову, когда случилась авария, или он позвал вас?

— Ничего не знаю.

— Как не знаете?

— А так. Митьку спросите. Он бригадир, он знает, что говорить, а чего нет.

— Да ведь мне не про бригадира писать, а про вас. И не опасайтесь, пожалуйста. Мне заказан положительный материал. К женскому празднику. Панегирик советской женщине. Так что я к вам явился не Зоилом, а, скорей, Исократом.

— Это вы там работаете?

— Да нет. Это был такой сочинитель хвалебных речей — Исократ. Он сочинял, а говорили другие... Кстати, Исократ сочинял свой первый панегирик десять лет, а с меня требуют сегодня вечером.

— Да что вам надо-то? Я не пойму.

— Мне надо все. Моя задача — написать так, чтобы читатель увидел вашу душу и вашу жизнь. Подумайте только, вас узнает весь Советский Союз. Мама развернет газету и скажет: вот она, моя жемчужинка! Разве это не приятно?

— До Клима Степановича тоже дойдет? — спросила Чугуева, оглянувшись.

— А кто это?

— Председатель исполкома.

— Конечно. И до Клима Степановича дойдет. Газета популярная. Читают ее в самых глухих уголках России.

— И высланные?

— Какие высланные? Да вы не волнуйтесь.

— А ежели я не желаю?

— Почему? Я хорошо напишу. Точно.

— А я все одно не желаю. — На лице Чугуевой заблестел крупный пот. — Не желаю... Мне недосуг. Марчеванить надо.

— Гвозди бы делать из этих людей, — в сердцах процедил Гоша.

— Чего?

— Ничего... Послушайте, Рита, меня сам редактор направил. Давайте присядем и побеседуем, как эти самые, как их... ну, как земляки. Представьте, я вам земляк или, еще лучше, кум, навестил вас...

— Видали мы таких кумовьев, — пробормотала Чугуева. — Нет у меня никаких кумовьев!

— Так ведь это я приблизительно. Вот сидим мы с вами где-нибудь на берегу, над вечным покоем, беседуем, вспоминаем. Представьте себе — околица, плимутроки... У вас есть околица?

— Нету. — Чугуева туго оберла рукавицей мокрое лицо. — И околицы нету. И кумовьев нет. Ничего нету...

— Ну, нет так нет. А у нас прислуга была. Тоже с Волги. Она рассказывала, как за околицу ходила, мужика с войны ждала. Ей старушка нагадала, что живой у нее мужик...

— Вот он, Осип, явился, слава богу, — сказала Чугуева.

Осип ткнул топор носом в бревно и уселся отдыхать на прежнее место.

— Вот и наточил,— проговорил он, чтобы услышала Чугуева.— А тебя хоть посылай, хоть нет — одна картина.

— Скажи, Осип, чтобы освободили они меня,— взмолилась Чугуева.— Работа стоит.

— А что говорить? Он из газеты. Имеет полное право поймать любого на улице — и давай говори, что спросит.

— Ну, это преувеличение.— Гоша улыбнулся.— Хорошо. Биографию я уточню в отделе кадров. Скажите хоть одно: как вы попали на строительство метро?

Чугуева взглянула на него с ненавистью.

— Вербовщик привез, — помог Осип.

— А я не вас спрашиваю.

— Ну и что, что не меня? Вербовщиков тоже надо продергивать. Нас всех вербовщики сюда заманули. Взять хоть меня. «Поедешь,— спрашивает,— в Москву?» — «Зачем?» — «Метро строить». — «А что за метро?» — «Там увидишь. Квартиру, слышь, дадут. Окна на бульвар, сортир в комнате». Приехали, и нету ничего. По нужде в читальню бегаем.

— Продергивать вербовщиков не моя задача. Я не из «Крокодила». Мне заказан портрет пролетарки — ударницы метро.

— А почему ты знаешь, что я пролетарка? — внезапно перешла на «ты» Чугуева.— Какая я пролетарка, когда у тятеньки две коровы было. Одна Райка, другая в мою честь — Ритка. И бычок был свой, костромской... И тягла — три лошади.

— Три лошади?

— А как же. Корень и две пристяжных. Мироеды мы. Кровь с батраков сосали...

У Гоши сильно звенело в ушах — в штольне стало еще жарче и противней запахло гнилушками.

— Вы меня замучили, Рита, — сказал он.— Сдаюсь. Праздничный очерк сорван... И все-таки я напишу... Я напишу про людей глухих, бессердечных... про людей, бесчувственных к будням и праздникам, — он торопился и сбивался немного, — которые издеваются над человеком за то, что он не такой, как они...

В забое трижды ударило мощно и тупо. Землю под Гошей трянуло.

— Что это? — вздрогнул он.

— Взрывники вдарили, — ответил Осип.

Лампочки заволокло желтоватым дымом. Две девчонки, смеясь и кашляя, пробежали к подъемнику. Гоше показалось, что Чугуева и Осип тронулись с места и вместе со стойкой, лампочкой и табличкой «Аварийный запас» одним слитным куском медленно, как вокзальный перрон, поплыли, не уплывая...

Очнулся он через несколько минут.

Голова его лежала на резиновом колене Чугуевой. За шиворотом было мокро. Чугуева заливала ему в рот жестяную воду.

— Ну чего? — спросила она брюзгливо-ласково.— Отошел, плимутрок? Эва зашелся. Угорел?

— Аппарат... — пробормотал Гоша.

— Нужен мне твой аппарат. Вон он, на гвозде. А ну-ка садись. Сидишь?

— Сiju.

— Вот и ладно.

— Что это такое со мной, не пойму, — засмутился Гоша.— Воздуха не хватает, что ли?

— Не жравши ты, вот что. Ишь хочешь?

Гоша застенчиво улыбнулся.

— Обожди.— Чугуева добыла из комбинезона сайку с маком, оторвала половину.— Кусай быстрее, пока Осипа нет.

Гоша стал глотать и давиться. А Чугуева глядела на него скорбным, тысячелетиями отработанным бабьим взглядом.

— У тебя мать хоть есть? — спросила она.

— Померла.

— Кто за тобой ходит-то?

— Тетя была, мамина сестра. Теперь никого нет...

Чугуева слушала внимательно. Неровное носатое лицо ее светилось сочувствием. Внимательно смотрели сине-зеленые, как зеркальное ребро, глаза, и случайная капелька цемента, застывшая над верхней губой, красила ее не хуже, чем обдуманная мушка очарова-

тельную Помпадур. Особенно милыми были ямочки, возникавшие на мягких щеках, когда она собиралась, но не решалась еще улыбнуться.

— Я тебя задерживаю, — пробормотал Гоша.— Прости. Я-сейчас.

Почуяв в его голосе нежность, она рассердилась:

— Ладно, собирайся! Тоже мне плимутрок. Чего вас в газете, не кормят, что ли?

— Да я не газетчик, Рита. В газету я и не писал никогда. Пишу стихи, а их не берут. И не берут не потому, что плохие, а потому, что я не такой, как все. А вот как про тебя писать, знаю.

— Это как же?

— Сейчас скажу. Надо показать, как крестьянин волей революции превращается в рабочего. А воля революции беспощадна. Когда она переделяет человека, у него хрустят кости. Моя тема, понимаешь? Трагедийная тема. А ты не хочешь помочь.

— Заругают?

— Не то слово. Я праздничный номер сорвал.

— Вот грех-то! — Она поглядела на него озадаченно.— А ты перетерпи. Про железных быков знаешь, другое всякое, чего тебе про меня писать?

— Одно другому не мешает.

— А я говорю, не надо про меня. Отступись.— Она тайственно оглянулась.— Недостойная я.

— Что ты, Рита! Ты первая ударница в бригаде!

— Ударница, а недостойная. Отступись.

— Да почему?

— Окаянная я, проклятая... Ясно?

— Далеко не ясно.

— Ясней тебе пояснить? Ну, ладно...

Лицо ее стало покрываться крупными каплями пота так быстро, что Гоша испугался. Далеко наверху, в забое, припадочно заколотил отбойный молоток.

— Нет. Не скажу, — вздохнула она.— Гадина я подколодная, вот и все. Ступай.

Гоша улыбнулся и протянул:

— А я, кажется, кое-что понимаю.

— Вот и ладно. Понимаешь и ступай.

— Про трех лошадей правда?

Она невесело усмехнулась.

— Какая это правда? Правда пострашней. Отступись, добром тебе говорю. Ступай.

На щеках ее замерцали керуимовы ямочки. И Гошу осенило: как же он умудрился забыть про фотографию? С фотографии надо было начинать. Самый надежный способ задобрить девицу — направить на нее объектив. И снимок получится уникальный: ударница метро в мокрой штормовке, с производственной мушкой над губой, в подземной штольне, возле копелевской вагонетки. Такая фотография — сама наполовину очерк.

— Я ухожу, Рита, — сказал он.— Но на прощанье у меня к тебе просьба. Одна-единственная.

— Какая еще?

— Пустяковая. Мне нужна твоя фотография.

— Где я ее возьму? У меня нету.

— А я сниму. Я...

— Да вы что, смеетесь? Осип! — крикнула она резко.— Готов, что ли?

— Чего вы к ней прилепились? — заговорил, пододвигая, Осип.— Чего она вам может сказать? Ничего не может. Она по-городскому и говорить не умеет.

— Мне ничего не надо, — объяснил Гоша.— Мне бы только фотографию.

— Кого? Васьки? — удивился Осип.— Да кто такую харю напечатает?

— Разве это ваша забота?

— Верно. Забота не наша. Пару лива поставишь — сысем.

— Осип! — крикнула Чугуева тревожно.— Ты что там?

— Пойди-ка сюда.

Она подошла.

— Встань тут.

Она не двинулась.

— Кому касается? — Осип повысил голос.

— Пусть Мери... — безнадеежно возразила она.— Мери завсегда снимают. И в «Ударник Метростроя» сымали, и на доску...

— А им тебя надо, а не Мери,— протянул Осип жареным голосом.— Прими позу и приberi сама себя немного попрекраснее.

Она не двигалась. Он повернул ее к свету, заломил штормовку и отстегнул левой рукой пуговицу ворота. Из-под брезентовой робы блеснула то ли подвеска, то ли брошь грубого чекана.

— Так сойдет?— Осип полюбовался сбоку делами рук своих.

— Сойдет! — отозвался Гоша из-под темного покрывала.— Только лицо больно кислое.

— А ну смейся,— приказал Осип.

Она засмеялась.

Гоша сделал две вспышки, замотал кассеты в черную тряпку, собрал аппарат и условился по поводу пары пива.

— Хватит,— сказал Осип Чугуевой.— Прекрати смех.

10

Очерк под названием «Васька» появился в срок — Восьмого марта. Он был украшен портретом Чугуевой и занимал четыре столбца в красном углу второй полосы. Успех написанного в один присест сочинения удивил даже выдавших виды профессионалов. В редакцию стали звонить, спрашивать, кто такой Геус (подписывать свою халтуру полным именем Георгий Успенский постыдился и придумал псевдоним). Через несколько дней стали приходить письма читателей. Материал был отмечен наверху. Редактора Курбатова премировали шевиотовым отрезом. А Гошу пригласили в солидное издательство и предложили сделать книгу о метростроевцах, если это не противоречит его творческим планам. Шумный дебют обеспокоил Гошу. Больше половины — ох, значительно больше половины очерка — было выдуманно, сочинено в самом подлом значении этого слова, хотя после неудачи с Васькой Гоша, конечно, беседовал и с Кругловым, и с Митей, и со сменным прорабом и уловил кое-что. К его удивлению, самыми читабельными оказались эпизоды, высосанные из пальца. Гоша ждал разоблачений, поминал недобрый словом упрямую ударницу. Ему было невдомек, что ей-то он и был обязан своим триумфом. На протяжении всего его лихорадочного писания каждой строке сопутствовало смутное ощущение неразгаданной загадки, возбуждавшее воображение читателей.

На Чугуеву очерк произвел впечатление неожиданное. Поначалу ей показалось, что голодающий «плизмук» написал не про нее, а про неведомую однофамилицу. И портрет изображал не ее, а симпатичную смуглянку с черными нарисованными губами, черноволосяю и без глаз. Единственное, что после ретуши осталось от Чугуевой, была шейная подвеска. Но по подвеске не признают. На сибирском болоте подвески у нее не было.

Чугуева с интересом перечитала, как отец батрачил на кулака-миroeда, как мать ждала его у околицы и как бабка-ворожея вызнала на углях, что отец убит в Галиции. Подвиг в шахте был описан распрекрасно. А больше всего понравилось Чугуевой, как она говорила корреспонденту:

«Отныне у нас появилась новая профессия, доселе невиданная и неслыханная. Профессия эта — метростроевец. Человек, удостоившийся этого звания, умеет и бетонить, и плотничать, и арматуру гнуть, и стены облицовывать, и опалубку шпаклевать, и штрек засекать. Короче говоря, настоящий метростроевец — строитель-универсал».

Восьмого марта ребята качали Чугуеву, а Митя подарил ей брошюру «О работе в деревне». Только тогда она убедилась, что написано про нее, и поверила, что она, а не смуглянка произносила красивое слово «универсал». Она приехала в общежитие, нарисовала губы и легла спать. На душе у нее первый раз за много дней и ночей был мир. Теперь, если и узнают правду, ничего над ней не посмеют сотворить.

Всю шестидневку она работала как песни пела!

А под выходной бригадир вызвал ее в контору. Она сразу нашла комнату, отведенную комсомольцам, тот

самый «кабинет», которым хвастал Митя. Боевые участники легкой кавалерии обсуждали там будущую политоблаву. Кавалеристы расположились на полу, на единственном подоконнике, на письменном столе и немилосердно галдели. В табачном мраке вечерним солнышком светились рыжие Митины космы.

— Пожаловала,— невесело встретил Митя Чугуеву.— А ну, братва, освободите помещение. У нас разговор.

Комсомольцы протопали в коридор. Слышно было, как их и оттуда погнажи.

На Митином столе лежала знаменитая газета, довольно потрепанная. На снимке Чугуевой были нарисованы буденновские усы.

Чугуева взглянула на Митю, на газету и улыбнулась. С Восьмого марта она стала улыбаться знакомым и незнакомым, как дурочка.

Митя осматривал ее подробно и спросил:

— Ну, чего с тобой делать?

— Да что хошь, Митя.

— Что хошь? — Он повернул к ней газету.— Почему у тебя вызвал, чуешь?

— Нет.

— А погляди на портрет. И учти, нету ничего тайного, что не стало бы...

Вошла уборщица, поставила в угол ведро и швабру, принялась выжимать тряпку.

— Анна Павловна, у меня дело, — напомнил Митя.

— И у меня дела. Нужней твоих.

До вселения комсорга каморка была в безраздельном владении Анны Павловны. Понятно, что отношения у них стали довольно напряженными.

Пока она гремела ведрами, Митя молчал. А осевшая было тревога снова замутила душу Чугуевой: «Может, Осип доказал?» Выдавать ее властям у него вроде бы не было интереса. Она обхаживает его, слушается. Чего ему еще надо? Нет, не Осип. Он против своего интереса не пакостит. Может, в районе газету видали? Клим Степанович, может, видал, начальник раскулачивания. Если Климу Степановичу газета в руки попала, мигом застучит в рельс: фамилия сходится, имя тоже. И фотография, если приглядеться, не такая уж непохожая. И ямка на щеке, и нос. Скорей бы бригадир открывался, ждть тошнехонько.

Анна Павловна развесила тряпки на батарею и вышла. Митя прикрыл дверь плотней.

— Так вот, Васька,— повторил он,— нет ничего тайного, что не стало бы явным. Согласна с этим положением?

— А я что? Я ничего.

— Согласна, спрашиваю, или не согласна?

— Кто его, Митя, знает... Может, опалубка не по отвесу?

— Мастерница же ты придуривать... Я не Гоша. Я тебя наскрозь вижу.

Он выдвинул ящик и достал официальный конверт шинельного цвета.

— Письмо нам с тобой отстукали,— пояснил Митя.— Пляши.

Он вытряхнул из конверта сложенную вчетверо бумажку. Сердце Чугуевой упало. Бумажка была с исподу чистая, неисписанная. Казенная. Казна пишет на одной стороне. У казны бумаги много.

— Откуда, думаешь, письмо?

Чугуева медленно бледнела.

— Ну что? Молчать будем?

— С района? — проговорила она.— Клим Степанович?

— Да ты не придуривай! С района! Твое фото в центральных газетах печатают, а ты — с района. Выше бери... Чего молчишь?

— Меня в списке не было, Митя... Пайка на меня не шла, я и побегла. Бес попутал.

— Знаем мы, кто тебя попутал. Где оно у тебя?

— Кто?

— Да ты оглохла? Кольцо где?

— Какое кольцо?

— Вон как умеют дурачков строить... Вот это, про которое Академия наук пишет! — Митя постукал пальцем по фотографии, по тому месту, где блестела подвеска.— Это самое, которое на шее висит.

Словно мешок цемента свалился с Чугуевой. Она поняла. Речь шла об украшении, которое Осип вытащил из захоронения и приказал ей нацепить на себя. Только и делов. Покойник оказался женского пола, в золоте и серебре, и на выходе из шахты парней обыскивали. Митя и тот вывернул карманы, чтобы не нарушать демократии. Одну только Чугуеву никому в голову не пришло проверять. Так она и вынесла на белый свет эту загогулину. Осип думал, невесть какое добро, побежал приценяться. В Торгсине едва взглянули, сказали, что медь не берут. После того он целый день скалдился на Чугуеву, будто она самолично смастерила старинную подвеску и нацепила на покойницу.

— Поняла теперь? — спросил Митя.

— Поняла, Митенька, поняла.

— Висюлька при тебе? Давай сюда.

Она, сопя, покопалась за пазухой и подала медное украшение, похожее на спиральную пружинку от часов. Митя с удивлением оглядел ее и спросил:

— Это она и есть?

— Она.

— Темны бояре. Я бы им за одну смену сотню таких накрутил. Кто тебе преподнес эту хреновину?

— Сама взяла. — Ужас совсем отпустил Чугуеву.

Ей было смешно, что бригадиру приходится отвлекаться на пустяки. — Гроб прохудился, она и выпала. И мослы выпали. Мослы, Митя, черные. Страсть.

— Ладно про мослы. Значит, сама взяла?

— Нет. Покойница подарила.

— А зря у тебя губки на улыбку! Врешь ты.

— Не вру, Митя. С чего бы, сам пойми, врать? Чего мне за это, фамилию сменяй? Уж коли врать, так от души, чтобы ночью вскакивать.

Она словно захмелела. Ей вдруг захотелось с огнем поиграть, поозорничать возле рыжего недотепушки. И наговорила бы она невесть чего, да новый человек сбил с настроения.

Появился этот человек в длинном, до пяток, кожаном реглане. По высокому росту и брюзгливому выражению, которое посетитель притащил на лице с морозной улицы, можно было ожидать, что он загремит сейчас начальственным баритоном. А он не загремит, а зашептал шершавым шепотом:

— Где же твой Лобода околачивается? Небось храпака задает? Вешалка у тебя есть? — Шептун заметил гвоздь, по-хозяйски повесил реглан и кепочку и, не торопясь, стал зачесывать чалые волосики к темени.

— Мы вас не ждали, товарищ ученый, — объяснил Митя. — В письме вы на завтра назначены.

— На завтра, на завтра! — передразнил ученый, хотя и шепотом, но весьма ехидно. — Подвеска-то, вон она, уже на столе. Да завтра-то сюда и Трушин, и Грушин, и Идельсон — все набегут... Коллеги, называется. Друг у дружки кости изо рта тащат. Субъективные идеалисты, сукины сыны. Трушин тарелки крестит, к вашему сведению...

Чугуевой можно было бы идти, а она уставилась на шептуна, уж очень он был чудной. В кургузом пиджаке, в грязноватой сорочке с разными пуговицами, без галстука, он походил на коменданта мужского общежития. И карандашик с гильзой от нагана вместо колпачка торчал из нагрудного кармашка, как у коменданта. А самое чудное было то, что он не говорил по-людски, а шуршал, как перекрученный динамик.

Ученый стряхнул перхоть с пиджака, подул на расческу, выложил на колено жестянку от монпансье и начерпал оттуда в козью ножку махорки восьмого номера. Небрежно поглядев на подвеску, он ядовито усмехнулся:

— Эта медяшка академика Трушина три года кормить будет... А не я — никто бы ее не нашел. Академики молодежных газет не читают.

Он спросил Чугуеву, откуда у нее это украшение.

— Нашла, — ответила Чугуева.

— Где?

— На зemi, в шахте... Верно, обронили... Я сроду...

— Мы в тот день нацелили бригаду на две норы, — поспешно перебил Митя. — Вот так вот — забой,

а вот так мы с Васькой бревно тасали. И тут как с правого бока загремит! Глыба как саданет, бревно с плеч сшибла, верно, Васька? Боковая стенка обрушилась. Глины навалило с эту комнату.

— Меньше, Митя, — встала Чугуева.

— Может, немного меньше...

Ученый пошел к реглану. Митя удивленно замолк.

— Продолжай, продолжай. Я слушаю. — Ученый поправил загнущийся рукав и вернулся на табуретку.

— Обвалилась, значит, земля, — продолжал Митя нерешительно. — И открылся лаз. Проще говоря, черная дыра, пещера. Я, конечно, убрал людей, велел марчеванить. Подошел к дыре, слышу, капает. И духом оттуда старинным несет. Послушал, послушал, крикнул: «Комсомол!» Тихо. Фонарик конца не достигает — вольтажа маловато. Лаз, видать, длинный. Полез я туда, прошел шагов пять ли, десять, хлоп лбом. Пощупал, ящик углом торчит. Посветил, хлякой не ящик, а самый обыкновенный гроб. Ноги. А дальше как положено. Пришла археологическая комиссия. Недельку поковырялись и ушли.

— Они ушли, зато мы пришли, — прошуршал ученый. — Поглядим, что за дыра.

— Теперь уж не поглядите. Завалили ее. Затрамбовали.

— Что значит завалили? — зашипел он. — Кто разрешил?

— Археологическая комиссия. У нас акт.

— Вот вам, пожалуйста! За черепками гонимся, а миллионы упускаем... Мы предупреждали: фиксируйте ходы, проверяйте ходы, оставляйте схемы ходов, пока копают метро. Такого случая не повторится! При вдумчивой постановке дела твоя дыра привела бы нас, может быть, знаешь куда?

— Куда? — спросил Митя безучастно.

— В кремлевские тайники, к вашему сведению, в подземные терема Ивана Грозного. Там царская библиотека нас с тобой дожидается. Ваттерман полагает, больше восьмисти томов. Тацит, Ливий, Цицерон, Полибий, к вашему сведению. Поэмы Кальвуса. Придется останавливать работы. Расчищать ход. За такую библиотеку можно десять Днепростроев поставить.

— Выходит, ежели бы я тем ходом пошел, под самый бы Кремль забрался? — спросил Митя.

— А почему нет? Свояк-то царский, Морозов боярин, Борис Иванович только тем от холопов и спасался, что свой ход имел. Тогда в Кремле вся знать обитала: князья Черкасские, Трубецкие, Милославские и прочая шантрапа. И у каждого от кремлевских ворот в загородные владения свое личное метро было. Библиотеку Ленина знаешь? На том месте опричный дворец Грозного стоял. Бывало, стража хватится, где, мол, государь Иван свет Васильевич, а его нету. А того под земным ходом на Воздвиженский остров уходил тайные суды вершить. Да что говорить! И под Голицинской больницей, и под Сухаревой башней, и под домом Минина — всюду ходы. А под Кремлем и подавно. Прошлый год курсанты вышли на физкультуру возле дворца, ну, там, где Александр Второй родился. Один прыгнул и провалился. Уцепился и висит... Вытащили его, замерили глубину — шесть метров. Стали воду лить — уходит. И что сделали? Тамосный комендант — не умнее археологической комиссии — насыпал в дыру песка и никого не подпускает... А, что говорить! Лично мне эта подвеска ни к чему, но если я ее первый в газете разглядел, так уж извини-подвинься! А то они натаскают бюроклет и тешатся, пишут трактаты, как человек произвел от обезьяны.

Ученый аж посинел, но шипел с прежним ожесточением.

— Может, воды им принести? — тихонько спросила Чугуева Митю.

— Не надо, не надо... — замахал на нее ученый. — Это мне в детстве отец нарыв в горле вспорол, да неловко: стеклышком резал, повредил связки. Ерунда. В оперу не нанимается. Что, невеста, закручинилась? А ну, почему в Москве улицы кривые? Куда ни пойдешь, кривоколенные переулки? Почему? А?

— Не знаю, — застеснялась Чугуева. — Я нездешняя.

— А потому, что на прямой улице сквозняки, для огня способней. И повелели московские цари ставить дома кривулями. А Ключевский врет, что библиотека сгорела. Ну ладно. Скажи Трушину, что подвеска у меня. — Он бережно, с осторожностью ревматика надел реглан. — Да, а где же все-таки ты ее раздобыла? — На зemi. Нашла и взяла.

— Быть не может. В гробу небось копалась? — Да что вы, господи! Да она, я думаю, не из гроба.

— А откуда? — Мало ли. Мы чуть не каждый день то подкову выкапываем, то печной изразец. А подвеску я на кругу нашла. С полкилометра от забоя.

— С полкилометра? — Ученый как стал надевать галашу, так и застыл, не надевши. — Невероятно... Впрочем... Не сообщаются ли ходы? К этому вопросу придется вернуться. А Трушину скажи: «Осипов подвеску унес». Не забудь! — Ученый весело подмигнул Мите и ушел.

— Слава богу, — перекрестилась Чугуева.

— Чего слава богу? — мрачно поглядел на нее комсорг. — Кого обдурить норовишь? Академика? Висюлька-то твоя парная. Боярские девки цепляли их в паре в волосы под виски или на уши, где они красивше глядятся, хрен вас знает. Ученые разобрали гроб, а висюльки недочет. Одна на скелете, другой нет. Они там все мослы перещупали, прах пересеяли, твою висюльку искавши... Думал, отдам ее — и закрою дело. Не хотелось, по правде говоря, ни на бригаду, ни на тебя тень наводить. Деваха ты больно надежная.

— И ты, Митя, хороший комсорг.

— Обожди. Теперь-то до меня дошло, кто тебе брильянты дарит.

— Кто? — насторожилась Чугуева.

— А вспомни. Кто возле дыры дежурил?

— Не ты?

— Нет, не я. Это правда, что ты живешь с Осипом?

Она засопела, потупившись.

— Нашла кобеля.

— А тебе что? Не тебе терпеть.

— Обидно нам за тебя! Что мы, не видим, что ли. — Митя разъярился. — Да он, сукин сын, с Мери путается. Конфетки ей носит! А твой хлеб жрет. Сколько вас в комнате?

— Сорок две.

— Как сорок две? Ты вроде в маленькой жила?

— Меня в залу переселили.

— Где сцена?

— Туда.

— Зачем же ты согласилась?

— Велели... Все одно, где спать.

— Где же твоя койка стоит?

— На сцене. У нас там шесть коек установлено.

— И где же у вас с ним свидания?

— На койке... Где же еще.

— И этот артист к тебе прямо на сцену забирается? Хорошие вы спектакли устраиваете. — Он немного смутился. — Я смеюсь...

А Чугуева, ничуть не смутившись, пояснила:

— Да что он, один, что ли, ходит? И другие ходят.

— Все к тебе?

— Почему ко мне. У каждого своя. Коли любишь, и в темноте не заплутаешься.

— Ладно, хоть свет тушите.

— А как же, — вздохнула Чугуева. — Парни при свете не могут... Не бессовестные.

— Так вот мое предложение: еще раз Осип к тебе придет, хоть при свете, хоть в темноте, налаживай его под зад коленкой.

— Да ты что, Митя? За что?

— А за то, что он спер казенную брошку и навесил тебе на шею. Вот за что. Вот только на что она ему понадобилась?..

— Так там камушек... — обмолвилась Чугуева и прикусила язык.

— А-а, камушек! Ясно. Осип на тебя навесил, а ты вынесла. Так?

— Прости, Митя.

— Да чего тут прощать? Ты в этом деле завязала не по корысти, а по глупости. Все ясно. Осип планировал подвеску загнать, а камушек-то оказался — стекляшка. Вот он тебе и подарил ее от всего сердца... Так?

Чугуева молчала. Каждая минута молчания все более разоблачала ее приятеля, но она так растерялась, что не могла прибрать слова к слову.

— Давай вот что, — подытожил Митя. — Поставим этот вопрос на сменном собрании. Чтобы тебя не посчитали соучастницей, проси слова и давай фактами его по носу, ворюгу. Он у меня вот где сидит... Самое время расквитаться. Договорились? Все.

Чугуева медленно направилась к двери. Слушаться бригадира было непреложным законом проходчиков. Она понимала, вольной жизни ей оставалось три дня. Через три дня соберется смена, и разоблачения Осип не стерпит. Она уже слышала его ржавый голос: «А ты скажи товарищам комсомольцам, откуда ты сама-то явилась... Позабыла, кто ты такая? Напомни...» У нее потемнело в глазах. Она потопталась у дверей, спросила:

— А промолчать нельзя, Митя?

— Почему нельзя? Можно, — с готовностью откликнулся комсорг. — Не хочешь кавалера выдавать, бери письмо и ступай в Академию наук. Вот так вот.

— Почто?

— А там обсядут тебя академики, а ты им разъясни, как боярыня-покойница из гроба встала, погнала вагонетку и обронила серьгу у поворотного круга. Ступай!

— Осподи Иисусе!

— Ступай, ступай! Чужаков пригреваешь? И откуда у тебя такая гнилая идеология? Дикая ты еще девка! Погляди, кругом что творится! Стратостат залетел черт-те знает куда, выше господ бога, летчики вывозят челюскинцев, колхозники забрались на Казбек и шлют оттуда приветствие товарищу Сталину. Для нашей молодежи нет ничего невозможного! Это кто сказал?

— Сталин?

— Ты это сказала. Вот, читай. — Он подвинул газету с ее портретом. — А выступать трусишь. Ступай. Выступишь на собрании. Все.

Она вышла и встала столбом в коридоре. Три дня — срок большой. Может, Митя забудет, может, собрание отменят, может, захворает, бюллетень дадут — хваталась она за соломинки. Какое чудо произойдет через три дня, неизвестно. Одно было известно — выступать против Осипа у нее не хватит духа ни через три дня, ни через месяц, ни через год.

11

А дела у Мити были такие: бросить все и бежать к Тате. Она добыла два билета на «Дни Турбиных» и велела сопроводить ее.

Ничего не поделяешь, навязался в ухагеры — повышай культурный уровень.

Он уцепился за последний вагон «Верочки бульварной» и, щурясь на белое пятно солнца, поплыл на подножке.

Апрель выдался теплый. По откосам бульваров на пригравках торчала свежая счастливая травка. На бронзовой голове Пушкина сидел голубь. Панели были разрисованы кривыми классами.

На этот раз Тата афиш не читала. Она заметила Митю издали и не сводила с него радостных глаз. Она обняла его, взвизгнула и поцеловала. Прохожий товарищ строго оглянулся. Она показала прохожему товарищу язык.

— Ты что? — Комсорг 41-бис покраснел. — Ошалела?

— Какой ты смешной, Митя! Ужасно! — воскликнула она, сияя лицом и глазами, и чмокнула его еще раз. — А у меня новость! Угадай, какая? — И не давала угадать: — Папу вывезли. Заложили в бомбовый отсек и привезли на материк... Какие у нас громадные бомбы, представляешь? — понизила она голос, чтобы не услышал какой-нибудь шпион. — Возьми ме-

на два дня. Мы же идем в Художественный театр... За два дня со льдины вывезли пятьдесят семь челюскинцев, представляешь? Я считаю, что самые лучшие в мире летчики — наши, Митя! Господи, боже ты мой! Как подумаешь, в какой стране мы живем, дух захватывает! Как ты думаешь, когда коммунизм будет? Через десять лет будет? А?

— Раньше. Мы оформляем Метрополитен драгоценными материалами: гранитом, мрамором, бронзой. С расчетом на коммунизм. Ясно? Я думаю, сперва коммунизм настанет в Москве, а потом на периферии.

Они шли вниз по Кузнецкому. Тата болтала про папу, про места в партере, про бухту Лаврентия, про коммунизм и лезла напролом под грузовики, под морды добродушных першеронов. С карнизов сбивали гремучие ледяные люстры; она лезла и туда, на свистки дворников, на веревочные ограждения.

Театра еще не было видно, а лишний билетик уже выпрашивали. Тата с приятным сочувствием отвечала, что, к сожалению, у них только два, а Митя терпел-терпел, да не выдержал и прогундосил:

— Есть один. У Винницу с пересадкой.

Было еще светло, а в Камергерском, вдоль длинного здания МХАТа, похожего на пассажирский поезд, парадно светились молочные фонари, а у входов, как на перроне, бесцельно толпились театралы. Из автомобиля вышел комкор или комдив, огромный, в полторы натуральной величины мужчина, и, придерживая лакированную каретную дверь «газика», сделал вид, что помогает выгрузиться дорожной супруге. Кто-то ради шутки спросил лишний билетик и у него. Вокруг почтительно захищали. Комкор сердито поставил брови домиком и, звеня шпорой, шагнул в среднюю дверь.

— Нам тоже сюда, — сказала Тата. — У нас четвертый ряд. Держи билеты. Хранить полагается до конца спектакля.

Клетчатая дверь была украшена медным кольцом, надраенным до золотого блеска. За второй такой же дверью сразу начинались тесные предбанники вешалок. Там суетились пестрая публика: конфузливые ударники в галстуках, затянутых, как на покойниках, грудастые замоскворечки активистки в полосатых футболках, близорукие студентки в рейтузах, служащие с «Правдой» в карманах, театральные старухи в стеклярусе и аграманте, в пополах до полу, помнившие премьеру «Царя Федора Иоанновича». Старухи надменно кивали друг другу стоячими черепаховыми гребнями и норовили сдать шубы без очереди. Разноцветными леденцами слиплась в углу туркменская делегация. Возле зеркала прихорашивались после трамвайных баталий запудренные, как после истерики, жены. Одна была в такой бесстыдной просвечивающей блузке, что Митя не сомневался: сейчас ее сдадут в милицию. Он сочувственно покосился на мужчин, отыскивая взглядом мужа полууголой модницы, но служащие были на одно лицо — в коротких пиджаках и с газетами в карманах. Они покорно жались у стен с сумками, авоськами, ридикюлями и старались не смотреть в зеркало.

— Митя! — позвала Тата шепотом. — Помоги раздеться. Ты не в душкомбинате.

Словно куколка, отделилась она от лежонького манто и повернулась на каблучке. От неожиданности Митя наступил кому-то на ногу. На ней была точно такая же стеклянная блузка, как и на той, запудренной. И так же бесстыдно просвечивали розовые ламки лифчика. И рубашонка тоже, кажется, была прозрачная. «Вот это да, — подумал Митя, — бухту Лаврентия знает, а пришла — ровно в баню».

— Что с тобой? — Тата поглядела на него внимательно.

Митя отвел глаза.

— Пойдем сядем, — сказал он. — Простынешь.

— Что ты! Подержи сумку. — Она принялась опрашивать белокурые колечки возле широкого зеркала. — Сейчас я тебе все, все покажу. Здесь работает мамина приятельница, Фаина Михайловна...

Билетерши пропустили прозрачную Тату без звука. Она потащила Митю по лестницам и ярусам

к фотографиям лучших в мире артистов лучшего в мире театра. А когда артисты кончились, вспомнила про Фаину Михайловну и повела его изогнутым, смахивающим на штольно коридором. Дверь, за которой работала Фаина Михайловна, была заперта. Тата подергала медное кольцо. Никто не отпирал. Она постучала.

— Пойдем сядем, — сказал Митя. — Места займут.

— Ты что? Забыл, где находишься? — строго напомнила Тата и постучала еще.

Потный, затянутый в клетчатую тройку толстячок явился. словно из-под земли.

— Что? Хода нет! Что? Кого надо?

Тата вежливо справилась о Фаине Михайловне.

— Фаина Михайловна выходная. Вы от какой организации?

Она не успела ответить. Дверь приотворилась, и женщина, похожая на индийского вождя, гремя тройным ожерельем, крикнула:

— Иося, где же вы?!

— Здравствуйте, Фаина Михайловна! — обрадовалась Тата.

— Привет! — крикнула женщина сердито, втащила толстячка и заперлась изнутри.

— Агентов играет? — спросил Митя.

Тата повела острым плечиком.

— Фаина Михайловна — правая рука Владимира Ивановича. Она никого не играет. Страшно перегружена. Жутко.

— А кто Владимир Иванович?

Тата испуганно оглянулась.

— Владимир Иванович — это Немирович-Данченко. В кабинете Владимира Ивановича стоит фотография Чехова с дарственной надписью. Фаина Михайловна, когда она в духе, пускает меня в кабинет... Подождем. Может быть, она выйдет.

— Ладно тебе... Слышишь, звонят.

Они прошли в зал. Театральный шум, похожий на шум морской раковины, заполнял все пространство от покато, обтянутого серым сукном пола до поваленных приютским колером изгибов балкона и постных узоров плохо отштукатуренного потолка.

— Сейчас я тебе покажу кресло Станиславского! — сказала Тата.

Знаменитое кресло в среднем проходе ничем не отличалось от других кресел. Но Тата села на это кресло с таким видом, будто через нее сейчас пропустят электрический ток.

Митя поморщился. Ему претила хитроватая скромность медной таблички, на которой была вырезана фамилия великого режиссера.

Других достопримечательностей в театре не было, и они пошли искать свой ряд. Митя как в воду глядел — места были заняты. С края сидел молодой, совершенно лысый человек. Рядом, видимо, его приятель.

— Простите, товарищи, — сказала Тата. — Это четвертый ряд?

— Четвертый. — Лысый взглянул на нее, не поворачивая головы.

— Это наши места. Будьте добры.

— Ступайте к администратору.

— Зачем к администратору? У нас билеты... Митя, покажи товарищам. Вот, пожалуйста. Двадцать второе, двадцать третье. Места следует занимать согласно взятым билетам.

Все так же, не поворачивая головы, лысый осмотрел Татины бретельки и повторил:

— Ступайте к администратору.

— Слушай, друг, — сказал Митя. — Мотай отсюда добром. А то за нос вытяну.

Исполнить это намерение ему помешал клетчатый толстячок. Он коршуном подлетел к месту происшествия и стал теснить Тату и Митю тугим животиком, маскируя свои, в общем-то, насильственные действия вежливой словесной тухлой:

— Прошу... сюда, пожалуйста... окажите любезность... осторожно, ступенька... все, молодой человек, в порядке, все в порядке... в полном порядке, не сюда, пожалуйста... окажите любезность... исключительные места, замечательный угол зрения...

Митя думал, что их выгоняют за прозрачную блузку, и не очень сопротивлялся...

Они оказались не единственными несчастливцами. Через минуту администратор привел новую пару: комкора и его супругу. Военный сердился, звенел шпорой и требовал Станиславского. Затравленный администратор поднялся на цыпочки и зашептал комкору в волосатое ухо. Подвижные, как у сеттера, брови командира встали домиком, он замолчал и сел, куда велено. Супруга начала было ворчать. Он скомандовал: «Сидеть!» — и инцидент был исчерпан.

— Смотри, смотри, Митя! — воскликнула Тата.

Снизу, из середины партера, махал программкой Гоша. Она с помощью пальчиков попыталась назначить ему в антракте встречу. Между тем свет гас. Шум утихал. Изуродованная складками, белая птица на занавесе осветилась. Раздался медный удар, и занавес, заметая пыль, стал раздвигаться. Открылась уютная гостиная: колонны, диванчик, закиданный думками ручной работы, камин. Бронзовые часы заиграли менуэт.

— Ни черта не видать, — проворчал Митя и замер. Его руку накрыла лишенная веса Татина рука.

Он покосился: может, это так просто, по ошибке? Серые глаза Таты внимательно глядели на сцену, а губы явственно шепнули:

— Не сердись. Хорошо?

Словно теплая волна окатила Митю. Он сжал ее пальцы так, что узенькая кисть свернулась трубочкой, и твердо решил, как только кончится представление, отвесить лысому что положено.

— Больно, — нежно шепнула Тата.

Он закрыл глаза, опустил руку на ее бедро. За тонкой юбкой угадывалась резинка. Он провел рукой повыше, пониже. Нога была литая, как у памятника. Тата следила за пьесой внимательно, а милые беспомощные пальчики поглаживали и поглаживали Митину руку.

На момент она замерла, отняла пальцы. Митя насторожился: не слишком ли он разволновался?

— Смотри! — шепнула она. — Алла Константиновна! Ну да, она! Представляешь?

Что было в этом удивительного, Митя не понимал и не хотел понимать. Его кольнуло, что в такую минуту Тату может занимать какая-то Алла Константиновна. Он попытался сосредоточиться: на сцене красивый белогвардеец орал, что в Москве едят кошек, пил настоящий горячий кофе (из чашек шел пар) и ругал большевиков.

Половинки занавеса важно чошли друг на друга. В зале зажегся свет. Митя отдернул руку и стал хлопать. Похлопав столько же, сколько все, они вышли в коридор, закруглявшийся влево, и стали гулять в длинной очереди. Тата молчала, но молчала как-то особенно, словно ждала чего-то. А Мите было советно. И чем дольше тянулось молчание, тем труднее становилось его нарушить.

— Огонь в камине фальшивый, — сказал наконец Митя. — На понт берут, тряпки раздувают.

— Может быть, — ответила Тата. — Здесь страшно строгие правила пожарной безопасности.

И снова потянулось нелепое молчание... В толпе мелькнула долговзая фигура Гоши. Тата подозвала его и жадно затараторила: в программе указана Соколова, а играет Алла Константиновна. Замена, видимо, произошла в последнюю минуту, иначе в программках было бы сделано исправление. Наверное, с Соколовой что-нибудь случилось.

— С Соколовой ничего не случилось. — Гоша загадочно улыбнулся. — Она в добром здравии. А вот Алла Константиновна осмелилась не вовремя заболеть испанкой... Ее вынули из постели и заставили целоваться с Прудкиным. Теперь заболит испанкой Прудкин...

— И откуда тебе все известно?

— Я здесь свой. Разнюхали о моей повести. Завлит предложил сделать пьесу о Метрострое. Соблазнили авансом. Чем черт не шутит, вдруг в драме-то я и найду себя!

Гоша стал растолковывать Тате, как надо писать драму, а Митя стоял между ними третьим лишним.



— Моя мысль — соединить греческую трагедию с современным — вызвала форменный фурор, — болтал Гоша. — Зацеловали. Тут у них архиерейские обычаи. Все целуются. По любому поводу. Я еще ничего не написал, а уже целуют. Контрамарки, пропуска — будьте любезны. Мест нет — в особенную ложу пожалуйте...

— А почему сегодня не в особенной? — не удержался Митя.

— По той же причине, по какой сегодня играет Тарасова, а не Соколова, — ответил Гоша и круто свернул на другую тему. — Вы видели горельеф Голубкиной? У главного входа, под козырьком? Полюбуйтесь обязательно. Называется «Волна». Шедевр. Сочная, рыхлая лепка...

— Давай смоемся, — тихо предложил Митя.

Она утвердительно мигнула, сделала вид, что забеспокоилась, как бы и верхние места не заняли. Гоша загадочно хмыкнул, и Тата с Митей отправились наверх. Звонков долго не давали, зал жужжал. В пустом ряду возвышался военный. Густые брови его так и стояли домиком. Митя томился, ждал темноты. В полупустом партере, в четвертом ряду, как приклеенные, сидели лысый и его приятель. За ними разноцветной шелковой лентой протянулась туркменская делегация.

Наконец свет потух. За сценой ударили в медную кастрюлю. Митя по-хозяйски положил руку на Татино бедро, она приклонилась к нему, и он возле самого уха почувал чистый ветерок ее дыхания. Зачем артисты говорили по-немецки, а потом по-украински, зачем меряли сапоги и дрались, Митя понять не пытался. Сумасшедшее предчувствие счастья заполняло его до краев. Татина грудь напрягалась и опадала, и, когда на сцене стали ломать парты, он сказал:

— Пошли отсюда, Татка.

— Ты с ума сошел! — возмутилась она и поднялась первая.

Ворами пробрались они на красный огонек запасного выхода. Кривые коридоры были загадочно пусты. И Мите вдруг показались загадочными не только пустые коридоры, а весь театр, Москва, мир, Тата и он сам, Митя Платонов, с его внезапно вспыхнувшей любовью. Из зрительного зала почему-то доносились артиллерийская канонада. По лестнице почему-то бежал военный с бутылкой боржоми. На улице почему-то падали мокрые белые лохмотья. Тата вспомнила про Голубкину, и они подошли посмотреть. Сквозь беспорядочно наляпанные комья цемента проступали измученные рты, черные глазницы...

За снежным тюлем возникло белое видение и посветовало дружелюбно:

— Пройдите, товарищи. Ничего интересного.

Они отошли. Между ними было давно условлено, что на Кропоткинскую Митя провожает Тату пешком.

— Как пойдем? — спросил он. — По Моховой или по Газетному?

— Как хочешь.

— Пойдем по Моховой. Между прочим, Татка, я тебя люблю. До беспамяти.

— Я знаю.

— Давно?

— Давно. Ты еще сам не знал, а я знала... — Она подумала и добавила: — Теперь я хочу только одно — чтобы ты говорил правду.

— А я что, вру, что ли?

— Врать не врешь. Но иногда скрываешь.

— Чего мне скрывать? Что у меня, отец — уклонист? Зачем мне это?

— Не знаю, зачем. Сегодня тебе не понравилось, как я одета.

Митя промолчал.

— Ну вот. У меня много тряпок. Когда мы пойдем куда-нибудь вместе, я оденусь, как ты скажешь.

Он взял ее за плечи, прислонил к мокрому стволу липы и поцеловал. Она судорожно передохнула и сказала:

— Еще.

Они шли и целовались возле университета, у магазина старой книги, у ларька, у метростроевской ограды, возле Музея изящных искусств, у пустыря, где

недавно возвышался храм Христа-спасителя. Они целовались на Моховой, на Волхонке, на Пречистенке, и с головы Таты падала заячья ушанка. Она нахлобучивала ее то боком, то задом наперед, а через минуту ушанка весело падала снова.

— Ну, вот я и дома, — сказала она внезапно.

И правда, пятиэтажная громада с пузатыми балконами стояла рядом, словно ее кто-то поднес и поставил перед Митиным носом.

— Слушай, Татка. Давай бросим предрассудки и поедем к нам, — сказал он.

— Куда это?

— А к нам. В Лось.

— Какой ты глупый! — Она поцеловала его в левую бровь. — Да ведь к вам в общежитие вход и днем воспрещен. — Она поцеловала его в правую бровь. — А сейчас ночь.

— Поедем! Я Василисе скажу: ведро унеси.

— Какое ведро?

— А у нас там, понимаешь, щит. Багор, топор, прочие причиндалы для пожара. Скажешь: «Василиса, ведро унеси», она скок-скок на проверку. Пока до угла доскачет, заводи кого хочешь. Поехали!

— И часто это тебе удастся?

— Да это не я выдумал. Это Круглов. В нашей комнате пятеро. Есть у кого учиться. Поехали!

— Подумай, что ты говоришь! Пять парней в комнате, и вдруг я. Да еще в батистовой кофточке.

— А чего такого? Они курить выйдут.

— Подожди. — Она поцеловала его. — В мае мама переедет на дачу, в Малаховку. Она с сестренками уедет, и дома не будет никого. И ты придешь ко мне в гости.

— С ночевкой?

— Какой ты смешной, Митя, — сказала она. — Просто ужасно.

Парадная дверь хлопнула. Он остался один. Осиротевшая улица далеко и ровно светлела свежим снегом.

«А теперь вопрос на сообразительность, — звучали в его ушах последние слова Таты. — Кто самый милый, самый умный, самый красивый?..»

Оставляя на снегу черные отпечатки, он перешел дорогу и сел на каменную ступеньку.

Тата жила на четвертом этаже. Он не помнил, куда выходят ее окна, на улицу или во двор, и все-таки ждал, когда зажжется свет. Словно кто-то шепнул ему, что Татино окно — третье слева. И с новой, еще большей силой, чем в театре, его поразила жутковато-сладкая загадочность жизни: почему Гоша пишет рабочую пьесу, почему вместо Соколовой играет Тарасова, почему военный прытко бежал с бутылкой боржоми? И зачем он, Митя, комсорг передовой шахты, сидит под мокрым снегом на Кропоткинской улице? Ладно бы любил. А то ведь, если честно признаться, и сам не понимает, любит или не любит. А в третье окошко поверил.

Словно лица на горельефе Голубкиной, проступали мелкие происшествия и лики прошедшего дня: свирепые ноздри Фаины Михайловны, лысая голова, брови домиком, загадочная болтовня Гоши, бесконечная цепочка зрителей в антракте, медная табличка. Будто сквозь волшебное стекло, он увидел: двое сидят на Татиных местах в партере. А сзади, за ними, в пятом ряду, тоже возле ложи директора еще двое. Как пришли, так и сели наглухо, в антракте не выходили ни в буфет, ни по прочим надобностям... И наклейка на боржомной бутылке была особенная — лакированная, как картинка в детской книжке.

В третьем окне зажегся свет. Митя вздрогнул. В загадочном мире жить было любопытно и страшновато.

На следующий день Митя не позвонил. Тата слегка обиделась, хотя знала, что в рабочее время добаться до служебного телефона ему не так просто.

Минуло еще два дня. Митя не звонил. На третий день она не пошла в столовку, а с яростным терпением стала пробиваться сквозь сигнал «занято» до

конторы шахты. На вопрос о Платонове мужской голос отрезал:

— Не мешайте работать.— И бросил трубку. А через полминуты телефон 41-бис снова был безнадежно занят.

Пришлось ждать. В подвыходные дни Митя звонил регулярно. На этот раз он не позвонил и в подвыходной. Просидев возле онемевшего телефона после работы полчасика, Тата сказала вслух:

— Ну и пусть.— И отправилась в парикмахерскую. А в этот самый подвыходной Митя пробудился от резкого голоса:

— Вы мне снимки давайте! Это дерьмо я смотреть не буду! Потрудитесь повторить рентген и приготовить нормальные снимки!

Голова Мити была туго забинтована. Он лежал в какой-то больнице. Соседняя койка была загорожена спинами врачей. Женщина монотонно псалтырила:

— Реакция Вассермана отрицательная. Кровотечение из носа и правого уха. Неадекватно смеется... Митя попросил пить.

Женщина наклонилась над ним и читающим взглядом посмотрела в его зрачки.

— Опять проснулся,— сказала она кому-то и подала воду в мензурке.

— Колите еще. Немецким,— велел кто-то.

Митя хотел узнать, что с ним стряслось, но двигать языком не было сил. Его поворачивали на бок, заголяли, и мимо сознания скользили отрывочные фразы:

— Мне, Валя, за тебя опять досталось!

— А что ты думаешь? Брынзу выбросили, а я из очереди побегу?

— Брынзу? По какому талону?

— По ударной карточке. Сколько кубиков?

— Два хватит... А в нашем Церабкоопе ничего не дают. Первое мая на носу, а полки пустые.

— Вся задница исколота... Перекрепляйся к нам. Вчера яичный порошок давали.

— Кто меня перекрепит... Давай в левую...

Строго запахло спиртом. Ловкие руки повернули Митю на спину, набросили одеяло. Ему показалось, будто он спрашивает, что с ним, а ему отвечают: узнаете в очереди за брынзой. Он вышел на улицу, но не мог найти очередь, потому что было темно, хотя солнце поднималось. И чем выше оно поднималось, тем становилось темней...

Когда он проснулся, седоусый старикашка в повязке Гиппократов благодушно смотрел на него с соседней кровати.

— Дед! — шепнул Митя. — Не знаешь, ничего у меня не отрезали? Руки, ноги? А?

— Здесь руки-ноги не режут,— охотно пояснил старикашка и неадекватно засмеялся. — Здесь головы лагают. Меня вот гирькой вдарили, да так ловко, что ни один доктор не может доказать, куда я теперича годный.

— А я давно тут?

— Сам не помнишь?

— Нет.

— Это бывает. Два ли, три ли дня, вот так вот.

— А может, неделю?

— Может, и неделю... С сестрицей бранился. Насос какой-то чинить приказывал...

— Чего шепчете?! — Парень, лежащий за старичком, приподнялся на локте. Голова его была заматаана. Сквозь дыру в бинтах виднелся черный безумный глаз.

— Не про тебя. Спи! — отмахнулся старикашка. И разъяснил, будто того не было: — С парашюта прыгал, убили. Чумовой. Говорит, что ему операцию будут делать под током, пущенным из Германии... Грозился два полка пригнать, порядки наводить... И жена, говорит, у него поддельная. — Старичок обернулся, окликнул: — Слышь, Степа!

— Х-а? — взметнулся парашютист.

— Баба у тебя поддельная?

— Поддельная!

— Какая же она поддельная, когда она тебе куру принесла?

— И кура поддельная.

— Вот ты его и возьми за рупь, за двадцать! — засмеялся старичок.

Днем пришел Товарищ Шахтком. Если бы пословица о том, что молчание — золото, оправдывалась вещественно, на молчание Товарища Шахткома можно было бы заработать горы валюты. Он просидел возле Мити пятнадцать минут, вычеркнул фамилию из блокнота и ушел. И все-таки Мите удалось выведать две вещи: во-первых, с ним произошла производственная травма — на голову ему упал из фурнели мартын. А во-вторых, Лободу сняли с работы.

После ухода Товарища Шахткома Митя накрылся с головой одеялом и впервые за много лет заплакал. Ему было жалко Лободу. Лобода измывался над Митей, бранил за чужую вину, обзывал при людях щенком, оставлял без надобности дежурить, два раза чуть под суд не подвел, спасая свою шкуру, дельные предложения Мити присваивал себе. Сколько раз Митя проклинал втихомолку bestолового руководителя, сколько раз насмехался над ним, а узнал, что его нет, и заплакал. Видно, покинутому сироте и Лободы дороги...

Митя быстро привыкал к людям, к месту. Привык он и к больнице, к ячневой каше, к тому, как однообразно читали над ним при обходах:

— В детстве перенес корь и скарлатину. Окончил семь классов. Отец — рабочий-металлист, двадцатипяти-тисычник. Погиб от руки кулацких элементов. После гибели отца — три года в деревне, затем на рабфаке. В настоящее время — на Метрострое.

Через несколько дней ему разрешили выходить в садик. Он надевал байковый халат, садился на борту сухого фонтана, замусоренного пустыми пачками «Пушки» и «Дели», беседовал с выздоравливающими.

Во время лечения черепных травм некоторые больные заражались манией преследования. Учитель математики из Митиной палаты сошелся с парашютистом на том, что одна смена врачей в больнице советская, а другая — антисоветская. В остальном это был человек здоровымслящий и подробно рассказывал, как его сбил с ног ученик на большой перемене.

Главная тема разговоров состояла в догадках, кого выпишут домой, а кого переправят в психдиспансер для полного и окончательного излечения.

Этот роковой вопрос решал консилиум врачей с участием знаменитого профессора Февральского. Профессор был известен тем, что носил милицкий свисток на шнурочке и заставлял больных вычитать из сотни по семи. Кто два-три раза собьется, того записывали в психи. У профессора были разработаны и другие испытания. Он заставлял, например, перечислять советские республики или подробно рассказывать, по каким улицам и переулкам пройти к Сухаревке. Если больной нервничал, шевелил руками, вспоминая, где право, где лево, в его истории болезни появлялся диагноз: «Нарушено воспроизведение пространственных взаимоотношений».

А самым неприятным испытанием было такое: профессор доставал колоду вырезанных из газеты и наклеенных на картонки фотографий, тасовал их, вытягивал наугад ворсистый от употребления снимок и спрашивал: «Как фамилия?» Тут даже бывалые товарищи пасовали. А в истории болезни заносилось: «Нарушение узнавания известных лиц на портретах».

После разговоров о профессоре Февральском Мите стало все чаще казаться, будто кто-то сзади на него пристально смотрит. Он упорно боролся с безобидным психозом, но однажды во время беседы у фонтана это чувство стало таким противным, что он не выдержал и обернулся.

С улицы сквозь железные копыа ограды на него глядела Чугуева. Она была в своем всегдашнем, не то осеннем, не то зимнем плюшевом пальтишке.

Митя подошел. Бледное, отекающее от подземной жизни лицо ее искажилось похожей на улыбку гримасой. Она попыталась сказать что-то, может быть, поздороваться и издала невнятный придушенный лепет.

— Здорово, ударница, — помог ей Митя. — Гляди не замарайся. Решетка крашеная.

Приближались первомайские торжества. В столи-

це красили что попало: ограды, скамейки, фонари и плевательницы.

Чугуева взидала на него жадно, с восторгом и ужасом, как на воскресшего покойника.

— Чего вылилась? — спросил Митя. — Как насос? Направили?

Она радостно кивнула.

— Сальники?

— Сальники, Митенька, сальники. — Мокрые глаза ее блестели кварцевым блеском. — Живехонький! Матушка-заступница! Надо же! Живехонький!

— Ну вот! Я и говорил, сальники. Ты у писателя бываешь?

Она кивнула.

— Про тебя пишешь?

Она снова кивнула.

— Передай ему, чтобы он сказал девахе с почтамта, где я нахожусь. Ее звать Наташа. Тата. Он знает.

— Ходишь с ней, Митенька?

— Дело не твое. Передай, что сказано.

— Передам, как же... — Она поглядела на его ослепительно белый бинт на голове. — Косточки все целые?

— Кумпол целый. Ключица срастается нормально. Подживает.

— Господи! Ключица!

— Ничего, Васька. На нашем базаре за битого двух небитых дают. А ты что же это, с физкультурной тренировки сбежала?

Под распахнутым пальто Митя заметил застиранную майку, хранившую воспоминание о синем цвете. А на голове Чугуевой была уродливо, до ушей натянутая новая шелковая пилотка.

— Какая уж, Митенька, тренировка. Я без тебя вовсе рухнула. Как увезли тебя на машине, прибегла ночью. Круг больницы бегаю, бегаю, а в сени нипочем не пускают.

— По ночам отдыхать надо, — строго укорил ее Митя. — На что я тебе нужен?

— А ты здогадайся!

Она ухватила обеими руками за решетку и сунула между прутьями лицо. В глазах ее томилось такое страдание, что Митя вместо того, чтобы напомнить о свежей окраске, проговорил растерянно:

— Ну-ну!.. Нечего, нечего!

— Да как же нечего, Митенька. В тебя же мартыны кинули.

— Не кинули, а уронили.

— Нет, не уронили. Сознательно кинули... А кто кинул, здогадался?

Он поглядел на нее внимательно. Лицо ее, жирно прочеркнутое черными полосами краски, было белое, как бумага. Мимо прошел парашютист в малиновом халате.

— Смотри, перемазалась, — сказал Митя. — Краска-то масляная.

— Шут с ней. Здогадался?

— Нет.

— А ты раздумай.

— Нам тут думать не разрешают. А ты знаешь?

— Кабы не знала...

— Так ты что же считаешь, — нахмурился Митя, — вылазка классового врага?

Она засопела.

Снова прошел парашютист, остановился, спросил отрывисто:

— Жена?

— Выше бери, — улыбнулся Митя. — Ударница Метростроя. Газеты надо читать, Степа.

Парашютист оглядел Чугуеву недобрый взглядом и проговорил отчетливо:

— Поддельная.

Она отпрянула, словно ее хлестнули по лицу.

— Чего ты людей пугаешь? — укорил его Митя.

— Не имеет значения, — проговорил парашютист. — И сама поддельная, и пилотка поддельная.

Чугуева попятилась. Прохожие опасливо обходили ее.

— Иди сюда! — крикнул ей Митя. — Не бойся!

Парашютист погрозил ей пальцем. Она ахнула и бросилась бежать в сторону площади.

— Я говорил, поддельная, — сказал парашютист и спокойно отправился дальше.

На другой день Мите внезапно отвели отдельную палату с фикусом и с картиной «Оборона Петрограда». Только он забрался на высокую перину, принесли графин с водой. Только заснул, притащили древтрестовский шкаф, пустой, но с овальным зеркалом. Дежурный врач дал понять, что спущено указание окружить комсорга шахты 41-бис заботой. Сестры, поглядывая на него, стали кокетливо шушукаться, а профессор Февральский распорядился пропустить всех, кого Митя пожелает.

Через два дня Чугуева явилась снова. Халат, не налеший в рукава, косо свешивался с крутых плеч, открывал майку и черные шаровары.

«Опять с тренировки смылась», — понял Митя.

На этот раз она была непривычно нахальная, размашистая.

— Это чего у тебя? Капли? — Она взяла пузырек, понюхала и вылила лекарство в плевательницу. — Брось, не пей. Изведут тебя каплями-то... Во, гляди, я тебе хренцу добыла. Нюхай на зорьке. А капли брось...

— Где хрен-то добыла? — спросил Митя.

— Да я захочу, что хошь достану. Мы, нагорные девчонки, нигде не пропадем. Я к тебе было через все рогатки пробилась... На другой день, как тебя положили. Взяла конверт и пошла.

— Какой такой конверт?

— Какие конверты бывают. Казенный конверт. Напечатала Надька на машинке: «Профессору Февральскому. Срочно. Секретно. Лично в руки». Сургучом залепили, печатку поставили, все честь чество. С этим письмом я до второго этажа пробилась. Пробилась до второго этажа, а там кучерявый, маленький такой хватить меня за подол: это, мол, что за мырма? Куда? Я культурно кажу конверт. Поглядел, туды-сюды, давай сургуч колупать. Я, конечно, возражаю на это. Еще чего! Конверт секретный, а он сургуч нарушает. В общем, посадила я его на пол. Он в свисток свистеть! Набежали тут со всех сторон, стали меня хватать. — Она нервно засмеялась. — А это, кучерявый, сам Февральский и есть. Как шуганули меня оттуда-ва, куды с добром!

— Ну, ты даешь стране угля! — пробормотал Митя. — Чего убегла давеча? Психа испугалась?

— А еще неизвестно, кто тут псих, а кто нет. — Она встала фертом, безуспешно стараясь выгнуться поехидственней. — Этот, настырный-то, меня с первого взгляда раскусил, а ты нет... Сказать, кто на тебя мартыны спустил?

— Постой! Сперва сам попробую догадаться. Проверю чутье. Осип?

— Не туды.

— Мери?

— Да что ты!

— Андрущенко?

— Круглова еще помани!

— Тогда все. Сдаюсь. Кто?

Чугуева сникла, словно воздух из нее выпустили. Несчастная, измученная улыбка затрепетала на ее губах.

— Да я же, Мити-и-инька! — пропела она тоненько, и пение это незаметно перешло в тихий плач.

— Ты?

— А то кто же?

Это признание ошеломило Митю до такой степени, что он внезапно вспомнил, как лежал, оглушенный, в шахте, а Мери кричала: «Глянь! Бригадир выпивши!» Воспоминание блеснуло на мгновение и потухло. Он в упор взглянул на Чугуеву.

— А ну, перечисли республики!

— А чего такого? — На глазах ее еще блестели слезы, а она снова принялась ерничать. — Взяла да и кинула...

— Чего же плохо целила? — передразнил ее Митя.

— А без сноровки не угадать. Не каждый день...

— Перестань! Прекрати трепаться! Говори, кто?

— Я, я, Митенька. Какой мне интерес на себя врать? Помнишь, приказал про Осипа выступить? Я

тогда до белого света не спала. Осипу-то известно, кто я такая.

— А кто ты такая?

— Лишенка беглая! — прокричала она злобно. — Классовый враг я тебе. Вот я кто!

— Ну, загинаешь! — Митя поднялся на локте, посмотрел на нее с любопытством. — И Осипу это известно?

— Известно.

— Из каких источников?..

— Это сказка длинная.

— Обожди. — Митя хитро сощурился. — Осип у нас третий месяц. Чего же он про тебя не сказал?

— А зачем ему губить меня безо времени? На мою ударную карточку пирует да помимо карточки кой-что прихватывает... Как повелел ты мне выступить, побегла к нему: учи, мол, что делать. А он: ступай доказывай. Тогда и мы кой-чего докажем. Все равно, говоришь, тебя надо уничтожить. Рано или поздно. Доказывай, да помни, мы в метре будем кататься, а ты в тайге медведей гонять. Застрашал, спасу нет... У меня, Митя, с того дня волосы лезут... — Она отошла к окну, стала глядеть на улицу.

— Ну? — подбодрил Митя.

— Сейчас... — Она простояла молча полную минуту. — Сейчас, обожди... На душе удавка... На другой день говорит: «Про брошку-то один Платонов знает. Больше никто, дура». И ушел. Ничего не сказал, ни про мартын, ни про чего. Взяла я мартын, жду. Слышу, на механика шумишь: насос, мол, барахлит. Встал под фурнелю и шумишь. Под дырой прямо. Стоишь и стоишь, стоишь и стоишь...

До Мити донеслись конвульсивные лающие звуки.

— Хватит! — Он вскочил с постели, налил воды. — Пей давай! Кому сказано?

Она стала глотать, обливаясь и вздрагивая. Допила до дна, села на табурет и затихла, измученная. Отдышалась, пришла в себя, проговорила буднично: — Время идти. А ты ляжь. Чего на холоду в исподнем.

Митя укрылся одеялом.

— Пообсохну немного и пойду, — сказала Чугуева.

— Сиди. Как на шахте дела?

— Ничего. В управление заведующего по кадрам поставили нового. Фамилия ему Зись. Людской состав проверяет. Сам лично в штольню спускался Салахова ловить.

— Да Салахов же ударник!

— Ударник, а с душком. Отец белый атаман, бают. Это худо?

— Не больно хорошо.

— А если кулак?

— Не лучше.

— Ну вот. Салахов-то, бают, над молодыми измывался. Когда уши в кессоне ломит, велел конфетку сосать. Его в контору вызвали, а он учуял, зачем, не вызывает. Зись лично сам с голым наганом его ловил.

Дежурная сестра возвестила нового посетителя. И красивая, счастливая Тата в крахмальном, проглаженном до рафинадного блеска халатике птичкой зателела в палату.

— Разве так можно, Митя! — защebetала она. — Как в воду канул! А у меня куча потрясающих новостей. Лежи и слушай. «Дни Турбиных» помнишь? Так вот. Вместе с нами спектакль смотрел, знаешь, кто? — Она покосилась на Чугуеву. — Ой, здравствуйте! Вы Васька, я не ошиблась? Не узнать просто невозможно. Гоша описал вас бесконечно талантливо. Я вижу, комсорг и вас заставил волноваться. Ничего, ничего! Его выписывают после праздников. Скоро, Митя, мы с тобой пойдем встречать папу. Его из Узлена на собаках везли! Представляешь? А пока тебе необходимо питаться фосфором и железом. Я кое-что захватила. — Она принялась разворачивать пакетики. — Бакштейн, чердер, тешка осетровая. Как тебя угораздило голову-то разбить?

Митя строго поглядел на Чугуеву и объяснил небрежно:

— Несчастный случай. Я жучил ребят, чтобы не стояли под фурнелями, а сам встал. Вот и получил зачет по технике безопасности.

Чугуева удивленно подалась вперед.

— А тужить, между прочим, нечего, — продолжал Митя, не сводя глаз с ее распухшего от плача лица. — Удар пошел на пользу.

— Что-то незаметно, — вставила Тата.

— На пользу! Мозги перетряслись, приняли законное положение, и в голову стали приходить мудрые мысли насчет чего-нибудь пошамать. Ну-ка, что за тешка? Угощайся, Васька! У тебя тоже с фосфором дефицит... А Тата хренку отведаст.

Чугуева резко поднялась. Халат соскользнул на пол.

— Ты долго... — проговорила она дрожащими губами. — Долго будешь измываться коло меня?

Тата застыла с протянутым бутербродом.

— Хватит, поорудовали! — крикнула Чугуева с таким ожесточением, что сама испугалась своего крика. — Чего насмехаешься? Хоть пострамил бы! Развернулся бы да врезал бы по зубам, послал бы куда подальше! Или на такую жабину оплеухи жалко?

Тата ничего не могла понять. Удивленно всматривалась она в очерствевшее Митино лицо. Брови его сдвигались, взор твердел, как у взрослого. «Таким он станет в старости, в тридцать или сорок лет», — мелькнуло у нее в голове.

— Я считала, что вовсе тебя прекратила, — говорила Чугуева. — Мартын кинула и в буфет встала за ви-негретом. Вот как надо мной поработали. Душу вынули.

Она подняла халат, набросила как попало на плечи и пошла.

— Вернись! — приказал Митя. В ушах у него звенело, голова раскалывалась от боли. Но по-новому, властно звучал его голос. Чугуева встала лбом к двери. — Сядь!

Она села.

— Давайте не пороть чепухи, товарищ Чугуева. Это первое. Второе, я вам не Митенька, а комсорг шахты. И третье, если мы все запишемся в покойники, кто будет копать метро? И последнее, пока ты у меня в бригаде, с физкультурных тренировок сбегать запрещаю. А ну, повтори!

— На стадион ходить, — вяло повторила она.

— Не все!

— И не помирать.

— И про мартын забыть целиком и полностью. Ясно?

— Что же я в милиции скажу, Митенька?

— Тебя милиция вызывала?

— Нет. Я сама...

— Нечего тебе там делать. — Он пристально посмотрел ей в глаза. — Тренировки надо посещать, а не милицию. А то Первого мая на Красной площади вся молодежь подымет руку, а ты — ногу. Очень будет замечательно. Ступай.

Белая дверь за Чугуевой хлопнула.

— Что это значит? — спросила Тата.

— Так, Татка, буза... Надо выписываться. А то они там вовсе мышей перестанут ловить, — шутнул Митя и потерял сознание.

13

Пока Митю лечили, Тата ездила к нему чуть не каждый вечер, и за эти вечера они сблизились крепче, чем за все время знакомства.

Вскоре после майских праздников Митю выписали, а в начале июня Татина мама увезла младших дочерей на дачу. Митя отправился к Тате помогать убирать пустую квартиру.

Он уже бывал здесь. Каждая комната имела свое назначение: кабинет, столовая, спальня, детская. В детской все еще хранилась большущая Татина кукла Алиса, а среди игрушек сидел живой сибирский кот.

До уборки дело не дошло. Тата поставила чайник и кинулась целоваться. Чайник выкипел. Было поздно. Митя остался ночевать.

Время полетело. Разделенные днем, они соединились бессонными ночами. Часы в столовой не успевали отбивать время. Митя удивленно слушал: один

удар, минут через пять — два удара, еще через пять — три удара, а там и рассвет...

Первой попыталась образумиться Тата. Семнадцатого июня она кое-как привела в порядок постели и велела Мите отправляться в Лось. Мама могла явиться с дачи с минуты на минуту: девятнадцатого — исторический день, встреча челюскинцев.

Они попили чай, вышли в коридор, беззвучно обнялись у выхода (против двери жила старушка меншевичка) и вернулись. И Митя снова остался.

Среди ночи он проснулся на полу, на мягкой постели белого медвежья. Под боком бесшумно дышала Тата. Тяжелая штора чуть шевелилась, открывала и закрывала желтеющее утро. Вдали на полу валялся бант, которым Тата затягивала на ночь волосы. Часы пробили три. С улицы доносился мерный могучий храп. Дома Митя давно бы встал да поглядел, что за бронтозавр пожаловал на московскую улицу, а здесь, когда на руке доверчивая Татина головка, ни до чего ему не было дела.

«Татка! Люблю!» — не произнес, а только подумал он. Она приоткрыла глаза, слабо улыбнулась.

— И я.

— Милая! Птица моя!

— А я видела сон, — проговорила она с хрипотцой, — будто мы куда-то с тобой уехали, далеко, где нет никого. Какие-то необитаемые скалы, и мы на медвежьей шкуре. Вдруг является папа и начинает страшно ругаться. А мама ему говорит: «Не сердись. Видеть во сне рыжих — к счастью». Смешно, правда?

— Смешно-то смешно, — сказал Митя, — а придет по правде, не больно смешно будет. — Он обнял ее крепко, поцеловал. — Испугалась? Не бойся. Объясним, что мы муж и жена. Пусть поздравляют.

Тата промолчала. Молчание ее Мите не понравилось.

— Боишься? — спросил он.

— А ты не боишься?

— А я ничего не боюсь. Даже тебя. Васька чуть не уколошила, я и то... — Он прикусил язык.

После встречи с Васькой в лечебнице Тата не раз пыталась подробности. Он, как умел, увиливал. Не настаивала, но обижалась. На этот раз он проговорился, и пришлось рассказать все.

— Какие изверги! — Она прижала его рыжую голову к крепкой, как репка, груди. — Какие звери! Да ее удавить мало! Сегодня же иди к начальству.

— Зачем?

— Как это зачем? Ставь в известность.

— А если ее расстреляют? Ну не расстреляют, дадут десятку. Кому польза?

— Так ей и надо. Это же бандитизм, уголовщина! Покушение на убийство!

— Так ведь не убил.

— Сегодня не убил — завтра убьет. В ней же классовая месть говорит. Я тебя просто не понимаю.

— Послушай, Тата, внимательно, — терпеливо начал Митя. — Васька, если не считать, конечно, Круглова, самый надежный человек в бригаде. Когда меня нет, она остается за бригадиром, и все ребята ее признают и слушаются. Работает она за двоих, за троих и понимает буквально все: и марки цемента, и сортаменты, и взрывчатку, и пергамин. Где она приложила руки, можно не проверять. Сколько ни работала, ни разу не сфальшивила.

— А социальное происхождение?

— Перейдем к социальному происхождению. В политике она круглый нуль, ничего не соображает, не знает ни правых, ни левых. Главное в ней — жадность на работу. Дома, говорит, когда тятенька понукал, тяжелее было. Здесь ей легче и лучше, чем было дома, понимаешь? Зла на раскулачивание она не держит.

— Зла не держит, а голову проломил.

— Это особый разговор. И я рассуждаю так: в гражданскую войну Советская власть использовала царских офицеров, чтобы направить их знание и умение на пользу пролетариату, а чтобы не вредили, к ним были приставлены красные политруки...

— Значит, ты при Ваське политрук? — Тата усмехнулась. — Просто умора. В выходной Гоше расскажу.

— А по сопатке не хочешь?

— Что ты сказал?

— Оглохла? По сопатке, говорю, не хочешь?

Она поднялась, нависла над ним. Лицо у нее было насмешливое и брезгливое.

— Ты пойми, — попытался вразумить ее Митя. — Сколько ей надо было перемучиться, чтобы пойти на такое дело? Она добрая, как телуха... Ну, усадим ее в тюрьму, ну, не досчитаем сотни метров тоннеля... Ну и что? Кому польза?

Тата не стала спорить. Она надела халатик, ушла в спальню и заперлась на крючок. Митя прислушался. На тихой улице, как и час назад, похрапывал неведомый зверь. «Если догадаюсь, что это такое, — загадал Митя, — значит, прав я. Если не догадаюсь, права Татка». В полудреме ему представилось что-то вроде зеленого змия, которым пугают алкашей. Вдоль хребта и по длинному, сплюсненному с боков хвосту пилый торчали наросты болотно-зеленого панциря. В круглых, выступающих биноклем ноздрях росли волосы. Шлангом протянув длинную шею вдоль мостовой, чудиче мерно храпело. И волосы то втягивались в ноздри, то выдувались... Митя проснулся, пошарил рукой и отправился к Тате. Рванул дверь, выдернул крючок. Она спала в халатике, носом к стенке. Он прилег к ней, стал тихонечко растегивать мелкие крючки халата. Верхние подались легко, нижние трудно было нащупать. Не просыпаясь, Тата вытянула ноги, стали отстегиваться и нижние. Он бережно вынул ее из халатика, поднял на руки. Она была легкая, как гитара. Он понес ее в прохладный кабинет, нежно положил на медвежью полость. Она пробормотала, не просыпаясь:

— Никогда, никогда не говори со мной так. Никогда! Ну, подожди... Милый, милый...

В кабинет важно вошел сибирский кот и остолбенело уставился на Митю. Тата открыла глаза.

— Ну чего же ты? Ну?

Митя сконфузился, прошипел «брысь!». Кот нагло смотрел.

— Что с тобой? — удивилась Тата.

Митя нащупал туфлю, прицелился. Тата мягко придала его.

— Успокойся, рыжий, ну, успокойся. А меня прости... Это правда, что любовь делает человека лучше. Только с тобой я стала понимать это.

— Дело не во мне, — возразил Митя, проклиная кота. — Дело в практике.

— Не хулигань! Послушай, что я скажу. Ведь ты не меня любишь. Вернее, меня, но не такую, какая я на самом деле. Не торговку почтовыми марками. Ты меня сочинил и это сочинение свое, мимолетное видение любишь... Не спорь, это во всех стихах описано. И интересно вот что: я почему-то точно знаю, какой ты меня воображаешь. Даже внешний вид. И против воли тянусь, стараюсь хоть немного походить на твое мимолетное видение. Знаю, не дотянусь, а тянусь, стараюсь. И результаты налицо. Гоша отметил, что у меня глаза стали красивее. При тебе я вроде шекспировской Джульетты — умнею от любви. Вероятно, женщине важно не то, как ее любят, а то, какой ее воображают. И потому... Ну, подожди же... Подожди... Нет, разговаривать с тобой лежа совершенно невозможно.

В коридоре прозвенел звонок.

— Телефон? — спросил Митя.

— Нет. Кто-то пришел.

— Мама?

— Четыре утра, что ты! Одевайся! Не зажигай свет!

Позвонили еще раз, длинно. Жилица пошла открывать. Митина одежда была раскидана по двум комнатам — и в спальне, и в кабинете — и перепутана с Татиной. Без света разобраться было трудно.

Стеклянная фрамуга осветилась. Послышались голоса.

— Отец? — спросил Митя, застывши с брюками, как журавль, на одной ноге.

— Я тебе тысячу раз говорила, отец приезжает девятнадцатого специальным поездом.

Вошедшие топтали так, что казалось, их человек

двадцать. Они подошли к Татиной двери, стали советовать. Раздался вежливый стук.

— Пойди в детскую, спрячься, — прошептала Тата.

— Зачем?

— Спрячься.

Митя обиделся, но пошел.

— Тама, тама, — сказал незнакомый голос. — Вот тебе и тама. Нету никого.

— Господи, как я испугалась! — причитала жилища. — Думала, опять что-нибудь ужасное. Стучите сильней. Она дома. Она спит, как камень.

«Вот язва, — подумал Митя. — Жиличка-меньшевичка».

Тата впустила незваных гостей в столовую. Стало шумно. Говорили вместе, уронили стул, извинялись. Среди женских голосов Митя различил виолончельный голос Чугуевой.

— Или не признала? — спрашивала она. — Вспомни больницу, то, как я была возле него. Хренку ему еще приносила. Ну? Ноне нас по тревоге подняли. За три вокзала кудай-то бросают. На аврал. А комсорга нету нигде.

— Странно, — возразила Тата несмело. — А я тут при чем?

— Всю Лось перевернули, нету, — продолжала Чугуева. — Едем, а я и думаю, попадет ему теперича. Начальник-то новый, не Лобода! Покруче! Едем, едем, да мой писатель-то, вот они, мне и припомнились...

— Я тут ни сном, ни духом, — затараторил Гоша. — Стучат кулаками, кричат: «Метрострой!» Велят показать твою квартиру.

— А ты не серчай, — говорила Чугуева Тате. — Мы без его хотели управиться. Понадеялись на свои дурные головы. Ни спецовки не взяли, ни инструмента. А у них там аврал, на котловане-то. Такая суматоха, не до нас, в общем. Бригаду я, конечно, сгрузила и давай назад на дистанционном «газике», в сорок первую, за сапогами да за инструментом... Едем-едем, да вот писатель мне и припомнились...

— Да в чем дело? — раздраженно спросила Тата.

— В том и дело, — сказала Чугуева. — Комсорга ищем.

— Облава на рыжих, короче говоря, — пояснил Круглов.

— Да я-то при чем? — повторила Тата уверенней.

— Как же при чем? — Чугуева дружелюбно толкнула ее в плечо. — Ты с ним ходишь?

— Вы что, с ума сошли? — Тата искренне возмутилась. — Поднимать среди ночи людей!..

— Значит, его нет у вас? — поставил вопрос ребром шофер.

— Конечно, нет. Как вам не стыдно?

— Здесь! — громко прогудела Чугуева.

— Да вы что, в самом деле! — Тата стукнула каблучком.

— Не шуми. Здесь. Вон евовная рулетка на полу. Ну и что? — Тата не терпелась. — Рулетку он подарил мне на день рождения.

Чугуева сразу поверила.

— Ах, горе-то горькое, куда же он сам подевался?..

Митя не вытерпел, поглядел в шелку. Тата сидела, оскорбленно отвернувшись к окну. Пришедшие стояли возле нее полукругом. «Вот он где, Художественный театр», — подумал Митя.

— Я пошла, Таточка. — Жиличка вздохнула. — А вы непременно накинйте крючок. Непременно.

— Ну вот, — рассердился шофер. — А молотит: здесь да здесь. Бензин задарма жжем.

— Ах, горе горькое, — сокрушалась Чугуева. — Так ведь он с тобой ходит?

— Чего такого? — подытожил Круглов. — С одной ходит, а с другой спит. Разделение труда. Пошли. Все стихло. Часы в столовой отщелкивали секунды. Тата победно распахнула дверь.

— Досыпай! Все в порядке!

Он посмотрел на белеющее в сумерках тело.

— Какое там досыпать, — грустно проговорил он. — Я знаю этот котлован. Надо ехать.

— С ними?

— Не бойся.

На улице с третьего раза завелся «газик». Машина развернулась. Шум ее стал удаляться.

Как ни благоразумен был обман Таты, в нем обнаружилось что-то, что она тщательно скрывала от Митя, а может быть, и от себя.

— Холодно. — Она накинула халатик. — Значит, уходишь?

— Ухожу.

— Не забудь рулетку.

— Не забуду.

— Поцелуй хоть.

Она сдула с лица волосы, подняла к нему виноватые глаза. Он принудил себя поцеловать ее в губы.

С площадки было слышно, как Тата запирала дверь на крюк. Хладнокровно-деловые железные звуки неприятно отзывались в его душе.

Он вышел на улицу. Дворничиха в белом фартуке мела тротуар. Поскребывание новой метлы по асфальту походило на могучий храп. Действительность, как всегда, оказалась смешнее и убедительней сонных фантазий.

«Джультетта, — усмехнулся Митя. — Надо же! Джультетта!» — и посмотрел в обе стороны. Трамвай еще не ходили. Улица была бесконечно пустынна. Первые утренние лучи скользили по мостовой, булыжны торчали выпукло, как черепа. Поежившись от холода, он зашагал к трем вокзалам, и смутная печаль, не отставая, двигалась рядом длинной черной тенью.

14

Шофер боялся заснуть за рулем и велел Чугуевой разговаривать. А ей было не до разговоров. С тяжким сердцем ехала она на котлован. Спецовки для бригады пришлось вырывать с боем. И не обломилось бы ей ничего, если бы не наврала, что машину прислал лично комсорг Платонов. И по ее милости Платонову придется отчитываться за каждую пуговицу.

Выйдя из больницы, Митя вел себя так, будто признание Чугуевой забыл начисто. Что это значило, она не понимала, да и не пыталась понять. Одна оставалась у нее отрада — хоть немного заглянуть свой незамолимый грех трудом, хоть чем-нибудь угодить Мите. Ей не везло. Ну какой бес дернул ее среди ночи врываться в Таткину квартиру? И Митю опубликовала, и девчонку под вопрос поставила. Очень прекрасно!

Утро было ненадежное, серое. Раннее солнышко поблескивало на татарском шатре и шпиле Казанского вокзала, а за кокошником Ярославского небрежно репетировал гром. Дежурная с железной занозой у трамвайной стрелки распустила брезентовый зонт.

Бригада встретила Чугуеву криками «ура!», вмиг расхватала спецовки. На дне котлована ждал заросший седоватой бородой сменный инженер Гусаров.

Здороваясь с ним, Чугуева сошла с дощатого хода наземь и будто ступила на живую крысу, неглубоко закопанную. Крыса дышала под подошвой, норвила вернуться.

«Плывун, зараза», — поняла Чугуева. А инженер уже ставил задачу: немедленно чинить опалубку, срочно крепить котлован бетонной стенкой. К бетону приступать нельзя, поскольку опалубка разохлась, щели в палец.

Постановку задачи пришлось прервать. Беременная комсомолка в железнодорожной форме принесла инженеру завтрак.

— А зонтик зачем, Гусарова? — спросил инженер.

— Гроза идет, Гусаров.

— Это кто же тебе доложил?

— Ванька-мокрый слезой пошел.

— Это кто же такой Ванька-мокрый? Профессор Шмидт? А? Не слышать. — Он дурашливо отогнул ухо ладошкой.

— Все ты позабыл, Гусаров. Адрес не позабыл? Домой зайдешь когда-нибудь?

— Ванька-мокрый! Суеверием занимаешься, Гусарова. Наука дождей не объявляла.

— Жуй быстрее. Опаздываю.

— Как Люсик?

— Легче. Горлышко чистое. Хоть бы белее пришел сменить.

— Ступай. А зонтик напрасно таскаешь. Наука дождей не объявляла.

Постепенно стало понятно, что Гусарову не больше тридцати пяти от роду. И еще поняла Чугуева, что он смертельно боится дождя.

— Теперь техника безопасности, — продолжал инженер, дождейвая французскую булку. — За провода не хвататься. На изоляцию не надеяться. Возле зумпфа земля замыкает. Кувалды проверить, чтобы с черенков не соскакивали. Висишь с топором, смотри, чтобы внизу не ползали. Вопросы есть? А? Не слышать...

«Не-е... — подумала Чугуева. — У нас, на сорок первый бис, гостей не так приветчают...»

Она не обижалась, просто засекала факт. Легче всего судить о положении дел на стройке по внешнему виду начальства. А здесь и без начальства было ясно, что огромный котлован держится на честном слове. Распорные стенки дышали. Не только ливня, а доброго грома хватит, чтобы они обрушились. Балки и подкосы ставились без ума, под диктовку страха. Где затрещит, туда и тыкали. К подпоркам были подвешены телефонные кабели, бетонные трубы водопровода, угрожающие при малейшей оплошности потоком, смертоносные подземные кабели высокого напряжения. Сквозь обмазку гончарных труб сочилась жижа и несло нужником.

А на самой кромке, над пятнадцатиметровым обрывом котлована, стоял трехэтажный полукирпичный-полубревенчатый домик, украшенный жестяным орнаментом страхового общества «Саламандра». Фундамент, весьма скверно уложенный, цинготно обнажился, бутовый камень при малейшем движении рикошетил вниз по швеллерам и подмостям. Жилищное товарищество запретило в доме танцы. Но люди жили. На окне второго этажа висела клетка со щеглом.

«Хоть бы птичку выпустили», — подумала Чугуева, не без опаски спускаясь вниз, в чащобу швеллеров, бревен, проводов и шлангов. Первый, на кого она наткнулась, был паренек в спецовке с загнутыми рукавами и в сапогах с загнутыми голенищами, румяный, хорошенький, как конфетный фантик. Паренек грулил щебень совковой лопатой. Руки его были затянуты в лайковые перчатки, в женские лайковые перчатки цвета топленого масла.

— Гляди, обновку порвешь! — улыбнулась Чугуева.

— Ничего! — Он улыбнулся и заговорил охотно: — Брезент натирает мозоли. А эти рассчитаны на один бал. — Он напрягся, зачерпнул три-четыре камушка. — У нас таких перчаток — полная картонка.

Чугуева подала ему вилы. Он поглядел недоверчиво. Его здесь часто разыгрывали.

— Не бойся, — подбодрила она. — Спробуй.

Он впился в черенок маленькими, как у мартышки, ручонками и подцепил ствол, что едва поднял.

— Чудесно! — обрадовался он. — Мерси! Благодарю вас!

Трудился он на опасном месте. Как раз над ним нависал дом с оголенным фундаментом.

— Кто тебя сюда определил? — спросила Чугуева.

— Видите ли, во ВТУЗ принимают только с трудовым стажем, — ответил он дружелюбно. — Какой из меня выйдет инженер, если я не знаю, что щебень удобней грузить вилами.

— Я не про то. Кто тебя поставил на это место?

— Десятник. Никто почему-то не желает здесь работать. Боятся, что дом на них упадет, чудачки.

— А ты не боишься?

Он что-то ответил, но она не расслышала. Ее окликнул Митя.

— Батюшки! — обрадовалась она. — А я тебя искалась!

— Кого не надо, ищешь, а кого надо, нет. — Митя сощурился. — Где Осип?

— Кто его знает. Сейчас тут был.

— Найди его. Пусть квач наматает и доски смазывает. Погоним опалубку и бетон потоком. Покажем темпы.

Работа закипела. Незаметно подошел обед. Длинная очередь напористой столовой говорила о погоде. Большинство склонялось к тому, что гроза пройдет стороной. А за окнами тревожно трепетали липы, и лоточник торопливо прибирал журналы, и кусок бумаги кроликом скакал по дороге. Гусаров внес предложение: паникерские настроения прекратить и разговоры о грозе считать недействительными.

Ребята с 41-бис обязаны были отработать у Гусарова до шести вечера. А около четырех моргнула молния и вдоль неба щеголеватого щелканул гром.

— Хочешь — верь, хочешь — не верь, а грозы не миновать, — шепнула Мите Чугуева.

Он не очень поверил, а все-таки отправился разведать, куда отводить водяные потоки. У настила, под которым отмерили участок ребятам 41-бис, было самое низкое место. К этому «блюдечку» круто сбегали Зоковые улицы — Верхняя и Нижняя.

Чугуева была права. Гроза надвигалась. Над столовой хлопал кумачовый лозунг. Со стороны вокзалов медленно и низко, как бомбовозы на параде, ползли черно-лиловые тучи. Митя заспешил обратно.

В котловане было сумрачно. Работали только насосы. Метростроевцы, местные и приезжие с 41-бис, сгрудились под настилом.

Завод имени товарища Петровского, — бормотал Гусаров, — обязался выдать двести пятьдесят тонн проката, паровозостроители — два трактора сверх плана... Композитор Василенко создаст симфоническую поэму на тему челюскинской эпопеи, художник Бродский готовится отразить подвиг на полотне. Писатель Федин глубоко взволнован...

— Что это? — спросил Митя Чугуева.

— Беседа, — отвечала она. — Начальник приезжал. Шумел, что слаба политическая заправка. Собери, говорит, людей. Подыми, байт, кузькина мать, настроение. Николай Николаевич никогда не ждал, что это не позволил.

Говорят, существуют люди, которые могут спать стоя, есть такие, что научились спать на ходу. Инженера Гусарова эти достижения ничуть бы не удивили. Он ухитрялся спать, разговаривая и даже читая вслух. Этим он и развлекал рабочих. А по настилу застучало сперва укладкой, потом уверенней и нахальней. Гусаров прислушался и продолжал:

— А наша почетная задача — встретить героев успехами в вопросе опалубки и в вопросе бетона...

— В вопросе бетона ничего не выйдет, — сказала Чугуева тихо.

— Кто базарит? — вяло спросил Гусаров. — А? Не слышать.

— Я базарю, — откликнулась она. — В дождь бетонить не стану.

Гусаров замолчал. Всем показалось, что инженер заснул окончательно.

— Вот, полюбуйте, товарищи, — наконец проговорил он, — вся страна приветствует челюскинцев встречными обязательствами, а она базарит.

— Челюскинцев спасли, чего их поминать, — возразила Чугуева. — Котлован спасать надо. Тебя же завалят, хоть ты инженер. А у тебя баба с пузом.

Гусаров посмотрел на спорщицу клюквенно-красными от хронического недосыпа глазами.

— Это чья? — спросил он.

— Моя, — ответил Митя.

«Опять Митьку подвела», — вздохнула Чугуева.

— Она дело говорит, — продолжал Митя. — Гроза идет, а вы обедни читаете. Какой может быть бетон, когда у вас опалубка рассохлась.

— Рассохлась? — Гусаров шутовски развел руками. — Да что вы?! Первый раз слышу!

Ах, как захотелось ему рассказать, почему рассохлась опалубка.

Он рассказал бы, что копать котлован начали еще год назад и работали по всем правилам: оградили площадку, выселили жильцов из трехэтажного дома, повесили доску показателей и ежедневно давали 120—130 процентов нормы. Его, Гусарова, за отличную организацию работ отметили Почетной грамотой и премией. Работы продолжались. На глубине пяти метров врезались в плывун, и с этого момента нача-

лись неожиданности. Не помогли ни водопонижение, ни замораживание, ни двойной шпунт. Песчаный кистель лез через все щели. Выработка снизилась катастрофически — до 20 процентов. Ему, Гусарову, вlepили строгий выговор за развал работ и понизили в должности. А высшие руководители взялись за то, за что берутся любые руководители в щекотливых ситуациях: сели заседать. Заседали они без малого полгода, и, пока спорили, проводили консультации с немецкими, американскими и датскими специалистами, выискивали пораженцев и саботажников, ограждение котлована завалилось, а жильцы трехэтажного дома самовольно вернулись в свои покинутые квартиры. Выселять их второй раз Гусаров не решился, чтобы не прослыть маловером. Подошел январь. И оказалось, что крутые рождественские холода, как это не раз случалось, пособили больше, чем консультанты и командиры. Комсомольцы-молотобойцы продолжили крепчайший, как скала, грунт кирками, ломами, кайлами, клиньями и пробивались до нижней отметки. Выходы плывуна были прижаты булыжной отсыпкой и подпорными стенками, опалубка и тепляки были возведены досрочно. Гусарову дали путевку на курорт и назначили начальником дистанции. Оставалось «закрепить» котлован, соорудить внутри него надежный железобетонный ящик и ехать в Сочи.

Бригады были наделены на круглосуточную работу. Бетонирование должно быть окончено безоговорочно, пока не пришло лето и не размок грунт.

— Иначе, — предупреждали агитаторы, — оживет плывун и котлован превратится в братскую могилу.

Бригады поняли важность задачи, взяли повышенные обязательства, укрепили партийное ядро, установили бетоньерки, заплели арматуру, возвели опалубку.

И все бы кончилось благополучно, если бы был цемент. А цемента не было. Почему-то весной 1934 года на Метрострое цемента не оказалось.

На слезные просьбы Гусарова метроснаб отвечал:

— На складах ни одного килограмма.

А высшие руководители советовали:

— Выпутывайтесь как-нибудь.

Как-то бессонной ночью Гусаров вспомнил, что Первый Прораб обещал ему: «Все дадим, что попросите. Меда надо — меда дадим!» И рано утром через головы многоэтажного начальства, на свой страх и риск, он добрался до телефона. Энергичный баритон дал конкретный ответ:

— Цемент у нас нет. Мы вас обеспечили прекрасным человеческим материалом. Потрудитесь руководить так, чтобы работы шли возрастающим темпом. Мы вам доверяем.

А солнышко грело, опалубка рассыхалась, плывун ломал переборки, изможденные насосы выходили из строя.

Вконец издерганный Гусаров бросился в Моссовет и предложил одну из своих двух комнат в обмен на вагон цемента. Одицавшего прораба пожурили за паникерство, комнату, конечно, не взяли, но и цемента не дали. А в случае срыва плана вежливо пообещали оргвыводы.

Лето шло, а котлован каким-то чудом стоял, хотя и вел себя мистически. На днях, например, после небольшого грибного дождика геодезисты обнаружили, что все его 100 метров длины, 30 метров ширины и 15 глубины, словом, весь котлован целиком аккуратно сдвинулся на шесть сантиметров в сторону от оси трассы, сдвинулся вместе со сваями, лебедками и паровыми котлами, с доской показателей и со сменным инженером Гусаровым.

Наконец в июне месяце прибыла баржа с вольским цементом. Поступило срочное распоряжение: вести бетонные работы широким фронтом. Распоряжение было правильное, но невыполнимое: за месяцы бесплодного ожидания специалисты-бетонщики разобрались, а опалубка пришла в полную негодность. Поэтому и пришлось вызывать бригаду Мити Платонова, известную по всему радиусу под названием «беда и выручка».

Все это промелькнуло в мыслях Гусарова за одну

секунду, но он ничего не сказал. Спросил только Чугуеву: а все-таки как ваша фамилия?

Ответить она не успела. Несколько голосов одновременно закричали, что садится бровка, и Гусаров взлетел наверх.

Несчастье случилось неподалеку от настила, с той стороны, где висел над котлованом застрахованный в «Саламандре» от всех невзгод старомодный домик. Отягченный водой грунт прорвался на волю.

Отвесные кручи котлована охранялись от обвала заборными стенками. Толстые доски, привезенные специальными эшелонами из архангельских лесов, уложенные ребро к ребру одна на другую и прижатые снаружи стальными сваями, выглядели внушительно. Сваи были забиты часто, а все-таки горное давление брало верх. Упоры гнулись, дюймовые болты срезались в стальных косынках.

Разбухшие дождем подземные силы пришли в движение, доска примерно на середине высоты котлована треснула, и серая жижа сотнями змей поползла вниз.

— Ну, Васька, — сказал Митя. — Теперь нам тут до утра карасей ловить. Пошли к начальству.

Гусаров стоял под дождем и пытался что-то записать. В размытую брешь ребята таскали мешки с песком. А ливень набирал силу. Дальняя сторона опустевшей улицы едва виднелась за белесым водяным дымом. Минуты через три с небес полилось что-то сплошное, свистящее, белое, словно разбавленное молоком. На остановке встал переполненный трамвай. Ни один пассажир не вышел. Высовывались — и обратно. Простояв около минуты, трамвай двинулся дальше. Вокруг инженера, накрывшись пиджаками и куртками, словно всадники без головы, гарцевали техники и десятники.

Шел торопливый спор. Гусаров предлагал извлечь сломанную доску, а остальные, верхние, осаживать по очереди. Ему возражали.

Митя вызвался спуститься сверху в ушковой бадье, как маляр в люльке, и, не теряя времени, поставить новую доску. По его наметкам, на всю операцию уйдет не больше часа. Единственно, что надо сделать, передвинуть кран-укосину так, чтобы он находился над аварийным местом.

Пока начальство советовалось, он собрал верных помощников, и под бурные аплодисменты ливня ребята начали перетаскивать укосину.

Чугуева кинулась за инструментом. Она разыскала Осипа в технике у слесарей, шумнула ему:

— Вставай, подымайся! Отмерь двухдюймовку на два двадцать. Платонов приказал!

— А доска где? — прогундосил Осип. Он показывал фокус: засовывал спичку в нос и вынимал изо рта.

— Любый ход пили. Время не терпит.

— А пила где?

— Вот она, ножовка.

— Ножовкой не возьмешь. Пилу надо. Лес сырой.

— Я привезла пилу. Где она?

— Утопла.

Чугуева выволокла своего постылого ухажера на волю, раскрутила на два оборота и выпустила. Он перекувырнулся через насосную кишку и плюхнулся в грязь. Пока он очумело хлопал глазами и, растопырившись, ждал, когда с него сцедится вода, пока хромал, выискивая в лужах лохматую кепку, Чугуева отмерила тесину и побегла наверх.

Там все было готово.

Митя велел Круглову направлять укосину, Чугуеву поставил к лебедке, а сам залез в бадью и закачался над головокружительной пропастью котлована. Как только он опустился до места, обнаружили неполадки, неизбежные в любом торопливо снаряженном деле. Началось с того, что грузная бадья ни с того ни с сего пожелала вальсировать. Митя кричал что есть силы, чтобы догадаться, веревку спустили, зацепился бы за что-нибудь. Но в потоке его не было слышно, гремел гром, свистел белый ливень, насадно выли центробежные насосы. Сверху кричат, учат чему-то, а чему, не разберешь. Никогда еще Митя не попадал в такое дурацкое положение: и рабочее место крутится, и вокруг все крутится каруселью, и голова кру-

жится — ночью-то он не спит, глядел. Отчаявшись, он просунул дом в ушко бадьи, дождался, пока подъехала свая, и со второй попытки посчастливилось ему угадать концом ломика в дыру стальной косынки.

Обливаясь грунтовыми и небесными водами, он вытаскивал по частям разломанную доску и стал заводить за стальные ребра котлована новую. Оказалось, сантиметра два надо стесывать. А в бадье воды по колено. Пришлось нырять за топором в зеленую цементную похлебку. Темнело. Ладно еще, молния подсвечивает. Стесал, стал ставить на место. Без лома работа подавалась туго. Да и неловко. Митя махнул рукой: подай, мол, бадью вниз. Круглов лежит ничком (к краю ребята подползали, как к полынье, на брюхе), не может угадать, в чем заминка. Хорошо, Васька подошла к самому обрыву (ей все нипочем, она не ползает), потрясла в руке ломом. Митя обругал себя на чем свет стоит, плюнул даже — хорош бригадир, комсорг, ломом-то он заstopорился, заперся, ровно задвижкой. Теперь его троим не вытащить.

И снова сообразила Васька. Побегла к лебедке, стала помалу майнить да вить, и Митя постепенно, рывков за пятьдесят, выдернул лом.

Крепкую доску он заводил в темноте. Заколотил, выкидывая топор на полный взмах. Надо бы получше закрепить, да, пока канитель тянулася, вода в бадье поднялась по пояс, и нырять на дно за гвоздями не было охоты. Махнул рукой — поднимай! Подняли. Страшная гроза хлестала по глазам. С Верхней улицы неслася кипящая пена, а на Нижней вода сбросила чугунный люк со смотрового колодца. На той стороне, над нарпитом, билась пустая черная лента кумача. Все буквы смыло.

Ни Гусарова, ни десятника не было.

Пока толковали, что делать, пловун снова выбил доску, и все пришлось начинать сначала. На этот раз ошибки учли, о сигналах условились, стопорный ломик добыли, в бадье пробили дыру, чтобы сливалась вода, на тресе укрепили автомобильную фару. Чугуева посоветовала, прежде чем ставить доску, забить пустоты сеном. Сена пловун боится. И, когда Митя сказал «умница», потеплела ее душа и веселее стало работать.

Деготь, фураж и прочее грабарское добро было свалено во дворе дома, застрахованного в «Саламандре». Попадали во двор кружным путем, через переулочек — парадные подходы были перерезаны котлованом. А до переулка путь один — бродом по Нижней. И Чугуева пошла по кипящему потоку, цепляясь за телеграфные столбы, за стволы истерзанных ливнем деревьев, за борта грузовиков, пережидаящих грозу с зажженными фарами. Раза два гроза сбивала ее с ног, один раз она чуть не угодила в смотровой люк, а все-таки дошла.

Во дворе стоял гвалт, плакали дети. Жильцы тащили из квартир чемоданы, перины, зеркала, керосинки, школьные глобусы, сундуки, штабеля Большой Советской Энциклопедии, клетку со щеглом. Гусаров пытался умирить панику словами, за которые его смело можно было штрафовать на двургивенный.

Случилось то, чего все ждали. Нижний, кирпичный этаж застрахованного дома дал трещину.

Чугуева обошла суматоху стороной, сгребла копейку сена, обняла ее, стала приминать, да так и не сошла с собой, пала в колючую, таинственно шуршащую мякоть. Родной аромат сена одурманил ее. И не сеном пахла прелая копейка, а сенями родной избы, подойником, сладким чадом самоварной лучины, тепленькой от уюта мамкиной кофтой...

Она пролежала ничком целую минуту. Поднялась, туго утерла глаза, накатила увязанную вожжами копейку сперва на помойный ларь, а оттуда на спину. Протопала шагов пять — в животе дернуло. Тяжело. Не только до котлована, до ворот не донести. Перемогая боль, она пошла к сараю, уронила берема на поленицу, убавила немного. Гроза унялась, ветер ослабел, а шагала Чугуева трудно, как стреноженная. В крошечной тьме светилась техника камеронщиков. До нее было метров триста. «До техники дойти бы, — ободряла она себя. — А там рукой подать». Она не раз приваливалась к ноющим телеграфным столбам,

силы покидали ее, но мысль бросить сено в воду не приходила в ее крестьянскую голову. «Дойду до технички, — мечтала она. — Там ящик. Копешку на ящик — сама передохну».

Техничка — грузовой «газик» с фанерной будкой и верстаком — была ярко освещена. Ящик, о котором мечтала Чугуева, служил ступенькой. И когда глыба сена медвежьей тушей застряла в вырезе двери, ребята-слесари перетрухнули. Они не поверили, что такую ношу притащил один человек, да к тому же девчонка. При свете лампочки-переноски увидели, как тяжело всем своим грузным телом дышит Чугуева. Подивились, разделили сено на три охапки и понесли Мите.

А Чугуева дышала, открывши рот, как рыба, собиравшаяся встать, да сил не было.

Ее окликнули.

В машине, в фанерной будке слесарей, пригреблись еще двое, Осип и парнишка, мечтавший о ВТУЗе.

— Эх ты, зенки бесстыжие, — попрекнула она. — Ребята вкалывают, а он копчик греет.

— А кто меня из строя вывел? — Осип усмехнулся половиной губы. — Ты мне травму нанесла, ты за меня и отработывай.

— погоди! Увидит Митька!

— Не найдет.

— Я скажу. Он тебя перелопатит.

— Скажи. Мы ему тоже кой-чего скажем.

Он сунул руку за ворот брезентовой спецовки и из внутреннего кармана тельняшки, который сама Чугуева пришивала ему, вытянул склеенный из газеты конверт.

К письмам Чугуева привыкла. Как только появился Гошин очерк, ей писали со всех сторон. Красноармейцы, студенты, моряки и кубанские казаки объяснялись в любви, девчата допытывались, что такое счастье. Одно письмо пришло на английском языке из города Вашингтона. Письма валялись сперва в управлении на Ильинке, потом в конторе 41-бис, под ненадежным надзором секретарши Нади. Поначалу Чугуева читала их, потом и звать не стала.

Это письмо было особое. Только отец, и больше никто, умел клеить из газеты такие квадратные конверты, только отец, и больше никто, писал «о» так же, как произносил, колесиком.

— Отдай, а? — прогудела она жалобно.

— Митьке скажешь?

— Не скажу. Отдай.

Он сунул конверт под тельняшку.

— Ишь ты, какая быстрая! Травму нанесла, а я ейные письма доставляю.

— Отдай! — гудела Чугуева жалобно. — Я тебе что хощу...

— А чего с тебя взять? Чего у тебя осталось? — Он обернулся к парнишке. — Думает, мне ее интерес нужен... Не нужен мне от тебя никакой интерес, и сама ты мне не нужна, сучка. Письмо я тебе, конечно, отдам, поскольку его никто не купит. Только прежде исполни номер...

— Какой?

— Обыкновенно какой. Письмо пришло, пляши. По закону бы за все твои письма тебе полные сутки плясать надо. А я ладно. Полчаса хватит.

— Да ты что!

— Как хощь... — Он застегнулся на все пуговицы.

— Ладно, ладно! — Она полезла в техничку.

— Э-э, нет! На настиле мы и без писем спляшем.

На воле давай!

— Тут склизко... И дождь.

— Как хощь.

Чугуева уперлась одной рукой в бок, другую изогнула над головой дужкой, принялась переступать тяжелыми метроходами и поворачиваться. Тяжело ей было до слез. Глина приваривала к земле подошвы, ноги вынимались из сапог. Повернулась разок и поняла, да какой степени устала. Колени дрожали. Повернулась еще через силу, упала в грязь. Прогворила, не поднимаясь:

— Не могу боле. Ноги не стоят. Отдай.

— Не-е, халтура. Какой это пляс! Пой давай «курку»! Дело лучше пойдет.

— Ей-богу, не могу... лучше я тебе пайку отдам.
— Как хошь.

Она собрала последние силы, принялась топтаться на месте, заголосила по-старушечьи:

Эх, курка бычка родила,
Поросенок яичко снес...

Поскользнулась, снова плюхнулась в грязь и услышала, как взвизгнул парнишка:

— Вы не смеее! Я Гусарову доложу!

Она увидела маленькие кулачки, сказала обреченно:

— Шел бы ты отсюда, пацан. Нечего тебе тут глядеть... Наглядишься еще!

— Это издевательство! — Парнишка ломал пальцы. — Это же... Это же в конце концов не по-комсомольски!

— Кому касается! — протянул Осип ржавым голосом. — Сматывайся отсюда!

Послышались быстрые голоса. Чумазый, как черт, слесарь влетел в техничку.

— Кепка! — завопил он. — Поддай домкрат! Укосину завалило!

Все-таки не зря дали Гусарову высшее образование, не зря читали ему лекции про угол естественного откоса. Он знал, что кран-укосина без надежной опоры долго не выдержит. Поэтому и не дал разрешения ставить подъемный механизм на проседающей бровке. Но и не запретил, поскольку не желал лишний раз прослыть маловером.

Укосина стала накреняться, когда Митя запикивал в промоину последние пучки сена. Работа подавалась быстро. Он был увлечен и не замечал ни новой грозы, ни грохотавшего грома, ни того, что бадья стала валиться на борт. Только потухшая фара ослепила его. Он понял, что трос сорвало с блока. Если бы не стопорный ломик, загремела бы бадья на дно, а вместе с бадьей и он бы загремел. Да и загремит скоро. Ломик не долго выдержит.

Первым сориентировался Круглов. Он осторожно выбрал на лебедку трос. Непосильная часть веса была снята с ломика. Что делать дальше, никто не знал. Митя висел в бездонной ночной темноте. Под ливнем метались электрические лампочки. Подъехали пожарники, умножая тревогу колоколами и сиренами. Сколько ни звони, аварийную лестницу не подвести ни снизу, ни сверху.

Митя заставил себя загонять на место последнюю доску заборки — работа глушила страх. Метрах в двух под ним тянулся швеллер, один из сотни швеллеров, распирающих стальные сваи. Спрыгнуть бы на него и попытаться дойти до стремянка. Швеллер был двадцать четвертый номер, горизонтальная полка двенадцать сантиметров шириной. На земле Митя не только прошел бы, а пробежал по такой полке с закрытыми глазами. Мальчишкой по рельсу бегал, не срывался. А вот когда швеллер не на земле, а на высоте, другое дело. Если точно не угадаешь или угадаешь, да не удержишь баланса, придется лететь с трехэтажной высоты без передышки.

Хорошо бы перед началом работы настлать две-три доски, одним концом на швеллер, другим на обвязку. Тогда бы можно было спокойно прыгать...

Взорвался гром. И в небе, а в самом котловане сверкнула зеленая молния. И в это мгновение Митя увидел парящего в воздухе человека.

Ему не почудилось. Человек, конечно, не висел в воздухе, а шел по швеллеру. Это была Чугуева. Под мышкой она несла доску. Как только слесарь крикнул про укосину, она бросилась в котлован. Еще в пути она придумала то же, о чем только что думал Митя: выбрала двухдьюмовку понадежнее и пошла. От усталости она забыла бояться высоты и шла вроде бы в забытии. За спиной в суматохе ливня мерещились ей призрачные голоса — то голос матери, то брата, то еще чей-то умоляющий: «Пожалуйста, побыстрей... Побыстрей, пожалуйста...»

Идти по швеллеру надо было метров шесть. Когда она прошла половину пути, потух свет. Кто-то вскрикнул дурным криком, и света в котловане не стало.

И застыла Чугуева, как столпник, над черной бездной. Стоять на высоте оказалось во сто крат трудней, чем двигаться. По спине и по бокам наотмашь хлестал ливень, выдергивал из рук распухшую от воды доску.

— Монтера! — заорала Чугуева.

И внизу закричали:

— Монтера! Монтера!

Дождаться света было нестерпимо. Чугуева стала тихонечко скользить подошвой: одна нога вперед сантиметра на три, другая вперед сантиметра на три. Двигалась, двигалась, а конца не было. И ей вдруг подумалось, что рискованный переход этот, и мука ожидания конца, и мука оттяжки его до смешного напоминают ее нелепую, страшную жизнь.

— Ты далеко хоть? — спросила она, не надеясь на ответ.

— Ку-ку! — раздалось над головой совсем рядом. — Не спеши, Васяка!

Свет наладили. Чугуева стояла у самой дощатой заборки. Митя выглядывал из бадьи, как мокрый скворец из гнездышка. Рыжие лохмы его можно было тронуть доской. Чугуева подмокнула и пригрозила, как мать несмышленишу:

— Сиди, не рыпайся. Сейчас мост настелю.

А перед ней уже качалась в воздухе еще одна двухдьюмовка. Это Круглов догадался, стал спускать материал на веревке. Чугуева испытала настил своим весом, сказала:

— Хоть пляши. — И разрешила прыгать.

А внизу кучками собирались люди. За Чугуевой, оказывається, кинулся паренек, пробежал сгорая два метра, а на третьем сорвался. Это он и молил: «По-быстрее, пожалуйста». И свет потух оттого, что он, падая, порвал провода. Ударился оземь так, что один сапог нашли в трех метрах от него, другой — в пяти.

В нем еще сбереглось на несколько минут жизни. Когда его укладывали на носилки, он прошептал: — Мерси...

Вынесли его из котлована поспешно, не дожидаясь ни врачей, ни «скорой помощи». Гибель в котловане была бы чрезвычайным происшествием. И пункт соревнования не выполнили бы. А наверху Метрострой ни при чем.

Часам к шести утра подошла смена: отоспавшиеся бригады дистанции и мобилизованные управленцы. Отработавшие ребята толпами бродили по улице, стреляли у прохожих сухую папироску. Гусаров бормотал: за провода не хвататься... на изоляции не надеяться... кувалды проверить... А бухгалтеры и технические rasterяно поглядывали на мокрую кучу. Куча эта, сданная Митей под расписку, представляла собой двадцать один комплект брезентовой спецовки.

Гроза кончилась, но под настилом еще капало. Из окон треснувшего дома звучал бодрый голос диктора: «Колхозники колхоза имени Шевченко хотят послушать вальс Штрауса «Сказки Венского леса». На втором этаже качался щегол в клетке. Пробиравшись сквозь тучи, в Каланчевскую площадь косо вонзился библейский солнечный луч.

Чугуева соскребла лопатой глину с сапог, вымыла голенища и пошла выискивать сухое местечко — пригнуться поспать.

15

Будто в бок толкнули Чугуеву. Она вздрогнула и проснулась с тревожным чувством опоздания. Сенная подстилка дурно пахла. Косари махали где попало, нарезали дурмана и багульника, вот и голова чумная.

Никто не подумал ни искать ее, ни будить. «Кабы на работу, растолкали бы», — вздохнула она беззлбно. Вспомнила Осипа, отцово письмо, окончательно проснулась и, как была, в мятом бумажном платишке, выскочила во двор.

На дворе стоял праздничный полдень.

Гусаров лепил «маяки» на треснувшей стене. Он сказал, что ребята с 41-бис собираются смотреть corte героев Арктики на Пушкинской площади. Отскивать Осипа было почти безнадежно, и все-таки Чугуева отправилась на площадь. Телевизоров тогда еще

не было, и Москва, бросив дела, толпами двигалась к центру. Трамваи стояли. На подходе к центральной магистрали тротуаров уже не хватало. Чтобы не мараковать москвичей, Чугуева сошла на мостовую. Неровная булыга подворачивала ноги. Она разулась, пошла босиком.

У площади, где висел круглый запрещающий знак с лошадиной головой, ее остановили. Она объяснила, что отбилась от бригады метростроевцев. Милиционер обратился к старшему. Старший велел надеть туфли и пропустил.

Течение толпы занесло ее к Дому интернациональной книги и стало прибывать к Гнезниковскому. На выступе витрины коммерческого гастронома приютился парень со значком ГТО. Забралась и Чугуева. Стало видно, как с горки, фасады домов, разряженные флагами и лозунгами, пустую в обе стороны, промытую и подметенную дорогу, ненужные трамвайные рельсы, сконфуженно вжавшиеся в асфальт. Стрелка четырехгранного светофора выжидательно стояла на зеленом секторе. На коне ехал милиционер с шашкой. Белый конь косо гарцевал, словно носимый ветром. Вдоль домов густо шевелились кепки, тюбетейки, фуражки, косынки, береты. Чугуева заметила кирпично-красные мохры комсорга и белокурую головку Таты. Может быть, и Осип торчал поблизости, да высматривать его было трудно. Все внимание уходило на то, чтобы устоять. Покатый подоконник был забит до отказа, а зрители все лезли и тискались. Особенно донимала сладко надушенная толстуха: цеплялась, вертелась, примащивалась. И все-таки она не удержалась, килограммы перевесили, и на ее месте оказалась входившая в моду артистка кинематографа.

— Костик, Костик! — Артистка старалась, чтобы ее увидели все. — Смотри, вот где я! Подойди ко мне! Да не сюда, а сюда! Какой ты немобильный, Костик! Иди, я за тебя буду держаться!

Кавалер ее отодвинул плечом похожую на евнуха старуху и встал, где велено.

Старуха упрекнула с достоинством:

— Нельзя ли повежливее, товарищ? Хотя бы в такой день.

— Ничего, ничего, — бормотал застенчивый Костик. На нем были фиолетовый костюм и красный галстук.

Время шло. Челюскинцы не ехали. Красноармеец выжал с подоконника значкиста, артистку придавило к Чугуевой. Артистка с испугом взглянула на заляпанное черной глиной платье, на замшевое от цементной пыли лицо и соскочила на тротуар.

— Костик, Костик! — паниковала она. — Испачкалась, да? Мазут? Да?

— Ничего, ничего...

— Что значит — ничего?! Английский креп-жоржет! С тобой пойдешь, всегда что-нибудь.

— Не переживай, — примирительно загудела Чугуева. — Грязь — не сало. Потер — отстало.

На нее не взглянула, будто ее не было.

— Гляди, и меня перемазала, — ахнула толстуха. — И откудова они берутся, рвань некультурная!

— Нехорошо, гражданка, — попробовал пристыдить ее значкист. — Они в Москву не от пряников едут. Может, ей надеть нечего.

— Все у них есть, — перевел разговор на множественное число старичок общественник. — Все имеется. Они нарочно рядятся под люмпенов. С целью.

— Будет тебе, дед, — не утерпела Чугуева. — Я с работы. Две смены, почитай, кантовались.

И на этот раз ей не возразили. Ее обсуждали, словно глухонемую.

— Голословно! — заявил значкист. — Зачем гражданке сознательно мараковать? Из каких соображений?

— Известно, зачем. Манифестация временных недочетов. Вот зачем.

Подшел милиционер, козырнул белой перчаткой, предложил Чугуевой сойти на тротуар. Заодно было велено очистить подоконник всем остальным. Красноармеец выразил недовольство. Милиционер схватился было за свисток, но вспомнил, что сегодня приказано проявлять особую вежливость.

— Героям Арктики не докладывали, что вы с работы, — обратился он к Чугуевой. — Что подумает товарищ Кренкель, когда поглядит на ваш внешний вид?

— А чего на меня глядеть? — удивилась Чугуева. — На что я ему?

— Станный вопрос. Крикнете приветствие, и поглядит.

— Больно надо.

— Как вы сказали?

— Нужны ему мои приветия! Да и он мне ни к чему. Я слово скорпиона ишу.

— Вот вам, пожалуйста, — вставил старичок общественник.

— Кого, кого? — не понял милиционер.

— Ухажера своего. Он у меня письмо уворовал, зараза такая...

— В такой день, товарищи! — сокрушалась старуха. — В такой день!

Чугуева собралась объяснить подробнее, кто такой Осип и как он выглядит, да не успела. На другой стороне маячила лохматая кепка. И, позавыв обо всем, кроме письма, она ринулась через дорогу. Со всех сторон заверещали свистки. Схватили ее у трамвайных путей.

На помощь милиционерам подбежали два осодмловца, умело приняли Чугуеву под руки.

— Да вы что, — удивилась она, — ребята? Меня в газете сымали... Чего вы?

— Пройдемте, пройдемте, — мирно советовал тот, который повыше.

— Пустите. Я не убежу. Замараешься.

— Спокойно, гражданка.

Так в первый раз за все время столичной жизни сподобилась Чугуева прогуляться по улице Горького под ручку с двумя кавалерами. Они прошли к бульвару, свернули налево, а когда пробились за памятник Пушкину, послышался голос:

— Полундра! Ваську замели!

И через несколько секунд встала перед ней футбольной стенкой вся комсомольская бригада проходчиков 41-бис: и первая лопата — Круглов, и запальщик Андрущенко, и комсорг Митя Платонов.

Красные повязки на руках осодмловцев не смущали избалованных почетом метростроевцев. Они сами часто носили красные повязки и считали себя хозяевами столицы. В толпе, как всегда, оказались защитники милиции и защитники трудящихся от милиции. Назревал конфликт. Мите заломили руку. Чугуева осторожно, стараясь, чтобы окончательно не лопнуло дырявое платьишко, стряхивала с себя блюстителей порядка.

Трудно сказать: чем бы все это кончилось, если бы не Тата. Она бросилась в водоворот скандала, предъявила номерной билет в Кремль. Симпатичная дочка челюскинца возмущалась, что с ее друзьями обращаются, как с уголовниками, и была готова биться за них до победного конца.

Пока милиционер припоминал подходящие инструкции, над Триумфальными воротами замелькали листовки и возник радостный слитный гул, такой мощный, будто Федотов забил гол в ворота турок и стадион «Динамо», переполненный болельщиками, двинулся к центру.

Птичий базар листовок кипел от неба до земли. С каждой минутой их становилось больше. Они мелькали, как блики солнца на море, и не понять было, белые ли квадратики играют в воздухе или сама улица распалась на пестрые красно-серые клочки и резвится под веселую музыку.

Сквозь бумажную толочку медленно пробивались сверкающие «линкольны». Роскошные автомобили, декорированные розами и дубовыми ветками, осторожно продвигались вдоль улицы, и с обеих сторон впритирку к толпе белыми лебедями плыли конные милиционеры. Улица до самых крыш была налита мощным радостным воплем. Смущенные челюскинцы беззвучно кричали что-то.

Чугуева забыла и про письмо, и про Осипа. Мимо нее двигалась победа, ради которой до срока померла мама, ради которой мокнет в сибирских болотах ра-



ботающий отец, ради которой сама она копаются под московскими домами. Солнечное, ни с чем не сравнимое чувство счастья и гордости затопило ее.

Машины двигались бесконечным стройным потоком. Только одна, как будто нарочно, чтобы подчеркнуть порядок и стройность колонны, ехала сбоку. На ней возвышался помост, а на помосте сердитый человек крутил ручку кинематографического ящика. «И чего он сердчает, господа? Чего сердчает?» — засмеялась Чугуева.

Машины удалялись. Проехала и последняя ненарядная машина с курдюком — запаской.

Подошли Митя и Тата.

— Ну и устроила ты сабантуй! — весело заругался Митя. — Другой раз вырядишься американской безработной, вlepим выговор! Себя не уважаешь, рабочий класс уважай!

— Так я же с работы, — оправдывалась Чугуева. — У меня дома юбка, ни разу не надеванная... Пуговицы стеклянные. Шеснадцать пуговиц. Куды с добром!

— Тата, постой тут, — хмыкнул Митя. — Разберись, на что ей шеснадцать пуговиц. Боюсь, Круглов с осодмильцами в пивнуху наострился. Надо положить это дело.

И побежал по аллейке.

— Не дает ваша бригада комсorgh покоя, — сказала Тата.

— Он сроду такой моторный, — возразила Чугуева.

— Не моторный, а необыкновенный.

— Твоя правда. У нас на 41-бис двое таких. Он да еще прораб Утургаури.

— Прораба не знаю, а Митя действительно необыкновенный, — продолжала Тата, задумчиво глядя на то место, где он стоял. — Передовое, боевое мировоззрение плюс младенческое простодушие. В итоге — не характер, а гремячая смесь. Ты не обидишься, Васька, если я задам тебе вопрос? Строго между нами?

— Про мартын? — спокойно поинтересовалась Чугуева.

Тата кивнула.

— Он тебе сказал, что я мартын бросила?

Тата снова кивнула.

— Вишь, необыкновенный! — Чугуева грустно улыбнулась. — Мне доказывал, что не я, а тебе — что я.

— Говоря честно, я не могу поверить, что ты способна покушаться на убийство.

— Я и сама не верю. Видно, и правда, тогда это не я была. Морда, может, моя, комбинезон мой, а в общем и целом не я. Ужаснулась я тогда... Да тебе не понять. Смеяться станешь. Никому не понять, кто не ужасался.

— Тем более. Не надо было упрямитесь, если была не в себе. Митя тебе втолковывал, а ты упиралась: «Нет, я, нет, я». Что ты хотела доказать?

— Ничего. Хотела, чтобы взяли меня. Не век же таиться.

— Может быть. Но зачем козырять кулацким происхождением?

Чугуева нахмурилась.

— Он тебе и про лишенку сказал?

— Между нами давно нет секретов, Васька.

— Я ему одному призналась.

— А это с твоей стороны эгоизм. Жестокый эгоизм.

— Как это?

— А вот как. Предположим, мой отец — троцкист или еще что-нибудь, еще более мерзкое. Если бы я была до конца принципиальна, я должна выйти на трибуну и публично разоблачить его. И вот я думаю, хватило бы у меня духа? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Скорей всего тащила бы свой позор тайком... Мне еще закалять и закалять характер. В одном только я могу покаяться: я бы не поделилась своей поганой тайной ни с кем. По какому праву я должна заставлять мучаться еще кого-то?

Чугуева смотрела на белую от листовок мостовую. По-прежнему гремела ликующая музыка. По-прежнему пестрели флаги и лозунги, а ощущение легкости и счастья стало удаляться, блекнуть.

Дорога была завалена мятными листовками и давленными цветами. Люди, которые только что кричали,

махали шапками, пробивались вперед, бесцельно и как будто разочарованно брели в разные стороны. Увозили тележки мороженщики. Прикладывали рублевку к рублевке торговцы разноцветными шарами. Чугуевой стало неуютно. Слово баптистка забрела в православный храм да еще «ура!» кричала, кошка приبلудная.

— Я Митьке покаялась, чтобы взяли меня, — повторила она мрачно.

— Не верю, — возразила Тата.

— От челюскинца народилась, вот и не веришь. А я вот не сдогадалась от челюскинца...

— Не говори глупостей. Желала бы признаться, пошла бы в открытую с повинной. А ты только Митя призналась, ему одному, и никому больше, и не в открытую, а по секрету. А почему? Потому что понимала, что он не станет тебя губить. Ношу на него перевалила, вот дело в чем. Поняла?

— Чего не понять. — Чугуева вздохнула. — Вроде попу исповедовалась. Грехи скинула... Мудровата ты, девка...

— Ну вот и дотолковались. Это и называется эгоизм. Не разумный эгоизм Чернышевского, а эгоизм хитрый, пережиточный. Подумай, в какое положение ты поставила Митю. Ему известно уголовное преступление, известен преступник, а он вынужден молчать. Долг комсorgh — разоблачить чуждый элемент, а советливость и, если хочешь, ложное благородство не позволяют. Это же суметь надо: пострадавшего от твоей руки сделать сообщником, соучастником своего преступления. Парадокс какой-то. Как бы все упростилось, если бы ты была примитивная прощелыга.

— Ты бы доказала?

— Разве в этом дело: доказала — не доказала? — поморщилась Тата. — В конце концов дело не во мне. Предположим, я довела до сведения. Что получится? Вызовут Митю и спросят: почему скрыл? Неужели тебе не понятно, в какое опасное положение ты поставила Митю? Если сопоставить факты в объективном разрезе, Митя с тобой в кулацком заговоре.

— Ну да уж!

— Конечно. Ты говоришь верно, все тайное становится явным. Как я могу соединить свою судьбу с Митей, если знаю, что его в любую минуту...

— Что же делать-то? — спросила Чугуева растерянно. Она устала слушать и понимать. Предобморочное отчаяние, которое мучило ее, когда она бросала на Митю мартын, подступало и теперь. На той стороне улицы засмеялись.

— Скажи, пожалуйста, — услышала она, словно в телефонной трубке, — знает кто-нибудь, кроме нас троих — кроме тебя, Мити и меня, — знает еще кто-нибудь про твое прошлое?

Чугуева поспешила и сказала, глядя в сторону:

— Нет.

— Никто, никто? — Тата уставилась на нее красивыми глазами.

— Нет.

— Тогда вот что. Держи язык за зубами. И трудись. Трудись еще лучше, чем раньше.

— Простя? — встрепелась Чугуева.

— Может быть. Любые грехи искупаются трудом. Ударным, честным трудом, и только.

— Так ведь я и писателя подвожу, — проговорила Чугуева упавшим голосом. — Нет, девка, я, видать, сроду заразная. К кому ни прислонюсь, замараю. Я и тебе sluкавила.

— Так я и чувствовала!

— Еще один дурачок про меня знает. Все как есть.

— Боже мой! Он где? Здесь? В Москве?

— В Москве.

— Кто?

— Этого я тебе не скажу. — Она поглядела на Тату тяжелым взглядом. — А за Митьку выходи. Ничего ему не будет, потому что...

Чугуева не успела закончить. Явился Митя. Посмотрел подозрительно на обеих, спросил:

— Про меня трепались? Ты ее не больно слушай, Васька! Она тебе накатает сорок бочек арестантов. Подавай в комсомол, пока меня в начальники шахты не поставили.

— Какой комсомол! — вздохнула Чугуева. — Я верующая.

— Ну и что? В нашу веру переходи. У вас хлопот много: и в бога верить, и в Миколу осеннего, и в Егория вешнего. А у нас проще — каждый день масленица.

— То и беда, что у вас масленица, — вздохнула Чугуева и пошла к Триумфальным воротам.

Трудилась она в метро около года, а Москвы, по правде сказать, не видала. Единственным ее маршрутом было: Лось — Казанский вокзал — штольня — и обратно. Да однажды дурной случай занес ее в ресторан «Метрополь». Вот и все, что она видела в столице.

И прежде, чем кончить с фальшивой жизнью, прежде, чем отдаться властям, потянуло ее проститься с Москвой и поглядеть, что за чудо Триумфальные ворота. Уж больно название прекрасное. Рассказывали, что через арку этих ворот проезжали из Петербурга кареты с царями и царицами, что по бокам и сейчас стоят, как живые, чугунные богатыри с копьями, а на самом верку чугунные жеребцы, дыбком. Интересно поглядеть, как они теперь, эти ворота, замкнуты или отворены для простого народа.

16

Комсомольская организация Метростроя проводила политдочку. В политической зрелости соревновались две шахты. Организация мероприятия, приуроченного к возвращению челюскинцев, была поручена Мите Платонову. По его просьбе секретарша Надя печатала на аккуратных листочках контрольные вопросы (совершенно секретно!), его трудами и уговорами сколачивали оркестр из мандолин, балалаек и деревянных ложек. По его инициативе библиотекаршу заставили притащить два мешка книг, чтобы желающие украсить выступление цитатой имели под рукой первоисточник. Лично от себя Митя Платонов послал приглашение летчику Молокову принять участие в жюри и бился на спор, что полярный герой не посмеет отказаться, поскольку полигудочка проводилась на тему исторического, вошедшего в сокровищницу доклада. Молоков почему-то не приехал. Зато все остальное было обеспечено, и явка составила 99,5 процента.

Сцена была перегорожена ширмой из трех байковых одеял. За ширмой скрывалось жюри: агитаторы шахт, молчаливый Товарищ Шахтком с блокнотом, заведующий по кадрам Зись и, конечно, комсорг славной 41-бис Митя Платонов.

Со стороны зрителей перед ширмой стояла белая табуретка, а рядом этажерка, алеющая переплетами. В углу жался сборный оркестр.

Проверка знаний совершалась просто. По радио называлась фамилия. Вызванный поднимался на сцену, садился на табуретку и забрасывал удочку за ширму. Платонов прикреплял на крючок бумажку с вопросом и кричал: «Клюет!» Бумажка выуживалась, вопрос прочитывался вслух. На обдумывание полагалось три минуты. Сборный оркестр тихонько играл задумчивую музыку. В заключение нужно было снова закинуть удочку и выудить премию: коробку папирос, брошюру о роли профсоюзных, флакон духов, а то и соску-пустышку — намек на крайнюю политическую беспомощность.

Сцена была ярко освещена. Длинный зал женского общежития был полон. Метростроевцы посещали спектакли политдочек охотней, чем футбол.

Мероприятие пошло, как по рельсам. Ребята 41-бис побивали соседей по всем показателям (это неудивительно: секретарша 41-бис Надя, воспитанная в духе взаимопомощи, совершенно секретно заранее раздала желающим копии вопросов). Митя пребывал в состоянии азартного восторга. Так же, как и все остальные, он не ведал, какая мощная мина готовится погубить гладкое начатое состязание. Он выкинул по радио фамилии, выискивая вопросы, подмигивал оркестру, помогал Наде выбирать подарки. А бикфордов шнур уже тлел, огонь подбирался к запалу, и

приближалась минута, когда должен был ахнуть взрыв.

Мина эта, не чуя ни рук, ни ног, притаилась в семнадцатом ряду. Звали ее Чугуева.

Разговор с Татой ножом врезался ей в душу. Она поняла — подошел срок кончать фальшивую жизнь. Всю ночь она писала заявление, а утром встала в очередь к судье.

К ее удивлению, судьей оказался не мужчина, а больная курящая женщина. Женщина устало спросила, что у нее.

— Жалоба, — сказала Чугуева.

И протянула графленные бланки нарядов, на которых были изложены ее преступления и проступки. Женщина спросила, на кого жалоба.

— На меня, — сказала Чугуева.

— На вас?

— А то на кого? На меня самую. Вы зачитайте.

— А кто писал?

— Сама. А то кто же.

Женщина прикурила папироску от папироски и спросила:

— На что жалуетесь?

— А я Митьку Платонова убила.

Женщина устало осмотрела ее.

— Вы что же... с повинной явились?

— Да, да... — Слова «с повинной» пришлись Чугуевой по душе. — С повинной, с повинной, — закивала она и засопела радостно.

— А кто этот Митька?

— Комсорг 41-бис. Гнедой такой из себя.

— Метростроевец? Когда это произошло?

— Давно уж. Вы зачитайте. Перед Первым маем.

Женщина положила папиросу на пепельницу и накрыла глаза рукой.

— Не верите, самого спросите, — сказала Чугуева.

— Кого?

— Да Платонова. Он на 41-бис нонича. Комсоргом.

— Вы сказали, что убили его.

— Ну да. Я убила, а он оклемался.

— Почему же он не подает на вас в суд?

— Да он говорит, не я убивала. У меня все написано. Зачитайте.

— Мне некогда, гражданка. Пойдите к секретарю, сдайте ваши бумаги, оставьте адрес. Разберемся и вызовем. Следующий.

Чугуева думала, что ее сразу возьмут под стражу. Она и пришла с узелком, в котором было все необходимое для тюремной жизни. Оказывается, и тут волокита. Ей очень хотелось, чтобы судья сама прочитала жалобу. Белобрыса секретарша была ненадежная, молоденькая, вроде Нади. И, когда вошел следующий проситель, заплаканный мужчина, Чугуева все еще топталась у письменного стола.

— Вам не понятно, гражданка? — спросила судья.

— А ежели я лишенка беглая? — спросила Чугуева.

— Ну и что?

— Тогда, может, сами зачитаете?

— Пройдите к секретарю, сдайте бумаги и оставьте адрес. Разберемся и вызовем. Все.

Чугуева прошла мимо секретарши на волю. Не послушалась Мити, струсила, вот бог и наказывает. Напакостила в одном месте, а каяться норовила в другом. Нет, девка, где пакостила, там и кайся.

И вдруг будто кто-то ей на ухо шепнул: двадцать третьего политдочка. Выйди на сцену и казись на людях, признайся, какая ты мастерица-ударница. Чего проще.

Собирала себя Чугуева на первую и последнюю свою публичную речь, как покойницу: надела чистое белье, лицеванный пиджачок, юбку на шестнадцать пуговицах, прикрасила губной помадой щеки. Посмотрела в зеркало-трюмо, на нее глядела угрюмая, надутая матрешка с красными щеками. Она разбудила Машу-лаборантку, застенчиво поспела и попросила постричь ее по-городскому. Маша была бывшая парикмахерша. Причесывать подруг она любила. Не теряя времени, она бросила на примус щипцы, отхватила Чугуевой косу и принялась накручивать русые колечки перед ушами. Ее тоже назначили

соревноваться на политуточке, и, ловко орудуя щипцами, она повторяла наизусть пять причин затажного кризиса капитализма, четыре военных плана буржуазных политиков и два факта, отражающих успех мирной политики СССР. Окорачивая волосы на затылке, она перечисляла пять общественно-экономических укладов, десять недостатков в работе промышленности и одиннадцать условий ликвидации этих недостатков, две линии в сельском хозяйстве — одну неправильную, а вторую единственно верную, шесть задач в области идейно-политической работы и три задачи в области работы организационной. Сооружение прически кончилось тем, что Маша воткнула гребень не на затылок, а спереди, со лба. Чугуева глянула в зеркало. Волосы стояли дыбом.

— Смеяться не станут? — спросила она.

Маша успокоила: прическа выполнена в точности под фасон для круглого лица, утвержденный народным комиссаром легкой промышленности.

И вот разукрашенная Чугуева сидела в семнадцатом ряду. Сперва вызовут Мери, после Мери кого-то из соседней шахты, а потом ее. Она слушала смех, шутливые подсазки, гремучий стук бубна, и на рылом лице ее не отражалось никаких чувств.

Мери отечала легко, кокетливо, и, если бы «картели», «монополии» и «деградации» реже срывались с ее резвого язычка, можно было подумать, что она тараторит с очередным ухажером.

— Во чешет! — громко проговорил Круглов.

— Видать, итээрровка, — определил изолировщик соседней шахты.

— По ночам, — уточнил Круглов.

Мери дошла до четвертой причины, а ей уже хлопали, чтобы закруглялась. Она сделала шутливый реверанс и закинула удочку.

— Шоколадину заработала, — предположил изолировщик.

— Пузырек духов, — сказал Круглов. — У ней в жюри рука.

Оркестр заиграл «яблочко», и зрители разразились смехом. На крючке моталось мокрое яблоко. Мери не сразу догадалась, что гнилой плод служит символом недоброкачественного ответа, а когда сообразила, запустила яблоко за ширму. Выскочил Платонов с мокрым пятном на пиджаке. А за ним мерной поступью вышел заведующий по кадрам товарищ Зись.

Сперва отсклаки барабаны, бубен и позже всех мандолина.

— Где находишься? — накинулся на Мери Платонов. — Везобразие!

— А тебе что права давал насмехаться? — заносчиво возразила Мери.

— Надо отвечать как положено, — вступил товарищ Зись.

— Я и отвечаю!

— А не разводить вредную отсебятину, — продолжал товарищ Зись.

— Я и не разводила...

— Не разводить отсебятину, что буржуазия была революционным классом. Буржуазия не способна быть революционным классом.

— Это вы, наверное, не способный! А Маркс-Энгельс сказал — может!

— Не может быть революционным классом, — развивал мысль товарищ Зись, — поскольку буржуазный класс состоит из буржуазии, из эксплуататоров и капиталистов.

— Сами вы состоите из эксплуататоров, — дерзила Мери.

— Эксплуататоров и капиталистов. И на корячки приседать нечего. Здесь вам не оперетка «Сильва», а пролетарский клуб.

— Ах, простите! — Мери сделала глубокий реверанс.

Ребята смеялись.

— Она правильно формулирует, — слышался голос.

Товарищ Зись шагнул к рампе.

— Кто крикнул реплику? — спросил он.

Зал смолк. Чугуева оглянулась. В проходе среди опоздавших жался Гоша. Сутулая фигура его изобра-

жала пугливое изумление. Вступился и тут же струсил.

— Кто подал реплику про формулировку? — повторил товарищ Зись.

Все молчало. И Гоша молчал в проходе.

— Вот до чего доводят непродуманные ответы, — подытожил товарищ Зись. — Ваша фамилия Золотилова? С 41-бис? Садитесь пока.

Чугуева засопела. Сейчас выйдет кто-то чужой, а за ним выкликнут ее.

Запальщику соседней шахты предлагалось разъяснить: «Кто такие Дон Кихоты?» Неподкованного товарища этот научный вопрос мог бы довести до колик. Но запальщик был агитатором и сам задавал такой вопрос десятки раз.

— Это люди, — отчеканил он, — лишенные элементарного чутья жизни, далекие от марксизма, как небо от земли. Они не понимают, что деньги являются тем инструментом буржуазной экономики, который взяла Советская власть и приспособила к интересам социализма.

Запальщика наградили коробкой «Дели». Грянул туш. Под бурю аплодисментов щедрый победитель заложил за ухо каждому музыканту по толстой папиресе. Он закурил и сам и тогда только отправился на место. Дежурный пожарник поднял шум, но что было дальше, Чугуева не слышала. Ее вызвали, и она пошла на эшафот.

В проходе она невзначай натолкнулась на Гошу. Он обернулся. Был повод помедлить несколько секундочек, и эти секундочки показались Чугуевой несказанно сладостными.

— Здравствуйте, — сказала она тихонько.

Гоша безмолвно смотрел на нее.

— Здравствуйте, — повторила она. — Или не узнаете?

— Васька? — проговорил он испуганно. — Что у тебя за прическа?

Ее вызвали второй раз.

— Ступайте, садитесь. Мое место ослобонилось. Я не вернусь.

Машинально поднялась она по скрипучему ступенчатому ящику, придвинутому к сцене, машинально взяла удочку и повернулась к темному залу.

Ей приказали:

— Закидывай удочку!

В сумерках проступили стены с занавешенными окнами, лица, прищуренные глаза портретов, меловые буквы призывов.

— Закидывай удочку, зараза! — сказали за ее спиной.

— Дорогие!.. — начала Чугуева и осеклась. Не так начала. — Товарищи... — попробовала она продолжать. Опять не так. Какие они ей, лишенке, товарищи?

Гоша сидел на ее месте, вытянув длинную, как рука, кадыкастую шею. Как он рвался на политуточку! Как верил в Чугуеву, как расписал ее в повести! Она и недоумила его приехать, когда он пожаловался, что пьесе не хватает политического звучания. Здесь, мол, звучания на десяток пьес хватит: исторический доклад, молодежь из двух шахт да летчик Молоков в придачу — куда с добром! Приехал, а вместо Молокова скандалистка Мери да гнилое яблоко.

Чугуева отвела глаза и заметила бледное лицо Бори. Крепильщик Боря вкалывал с первого дня строительства, тайком харкал кровью и спрашивал: «Вы, часом, не с Одессы?» И на работе, и во сне тоскует он по теплему югу, по теплему морю. И Чугуеву мучит его тоска...

А вот в конце зала веселый парень, сорви-голова, Круглов со своей братвой. Как всегда на собраниях, немного под мухारे. Разве забыть, как он вызволял ее от осодмилцев, как ручался за нее головой?!

А вот из первого ряда оглядывает ее прораб Утургаури. Если бы этот вечно злоющий, вечно небритый инженер знал, как она обожает его!.. Что бы с ним было, если бы узнал он, что самое заветное воспоминание ее связано не с маменькой, не с тятенькой, а с ним, с прорабом Утургаури...

Однажды он погрузил ее в кузов полуторки и по-

гнал машину за гвоздями. Пока доехали до базы, гвозди кончились. Утургаури, по обыкновению, залился нескладным матом, залез в кузов и на обратном пути требовал, чтобы Чугуева ответила: могли бы выкопать метро ребятишки из детского сада? Чугуева молчала, ошалев от ужаса и восторга. А Утургаури кричал, что выкопали бы, и выкопали бы досрочно, но чего бы это стоило народу и государству! Внезапно он остановил машину и повел Чугуеву в ресторан. В зале высоко бил фонтан и блестели накрытые столики. Себе Утургаури заказал графин очищенной, а Чугуеву бутылку вина. После первой рюмки он заговорил по-грузински. Он выпил графин, потом бутылку вина и непрерывно доказывал что-то на грузинском языке. А потом Чугуева повезла его домой. В такси он то лежал трупом, то кричал, что его не туда везут. Эта короткая, минут на десять, поездка и осталась ее единственным любовным приключением...

Вспоминая впоследствии свое состояние, она поражалась четкости мгновенных видений, словно тень ласточки, пересекавших память. За эти пять — десять секунд она поняла: пока в зале Боря, Маша, Круглов, Утургаури, ни одного слова вымолвить ей не суждено. Кабы чужие сидели, сказала бы, не сморгнув, кабы начальство, тоже сказала бы. Не устранилась бы ни суда, ни тюрьмы, не испугалась бы и высшей меры. Но у нее не хватало жестокости мारать своей скверной, позорной правдой доверявших ей девчат и мальчишек. В душе ее бушевала буря, а привыкшее к послушанию тело совершало, что веле-но. Рука забросила удочку за ширму, глаза прочитали вопрос: «Почему плохо думать, что в нашей партии уклонов больше не будет?» Она не поняла ни слова и тупо глянула в зал. (В этот момент она заметила Борю.) Оркестр затянул «Песню без слов». Зрители хихикали. Что-то спросил Платонов. Она что-то ответила. Он дал вопрос полегче: «Кто является основоположником марксизма?» (В это время Чугуева увидела Утургаури.)

Платонов ждал, зал шумел, а она стояла, как маечка в витрине.

Чугуевой было ясно, что она дошла до крайней черты. Признавайся не признавайся, назад хода нет. И все-таки заставить себя говорить она не могла.

— Ослобони, Митя,— проговорила она с трудом.

Он вытащил самый элементарный вопрос, что-то вроде: «В каком месяце разразилась Февральская революция?» Она и не поглядела. Сошла со сцены и отправилась на свое место, и насмешливый шум сопровождал ее до семнадцатого ряда.

Гоша произнес что-то утешающее.

— Заткнись! — Она глянула на него с ненавистью.

А на сцене неловко управлялся с удочкой Осип. Вопрос ему достался каверзный.

— «Какой. Уклон. Опасней. Правый. Или. Левый?» — прочитал он, ответил, что левый, и закинул удочку. На крючке болталась коробка «Дели».

Осип был порядочный жадюга. Однако на людях он решил пофорсить и по примеру Круглова надумал угостить музыкантов. Коробка оказалась пустой. Зал смеялся. Оркестр играл «Полным-полна корбушка». Подошел Платонов, попросил закурить. Лицо Осипа заострилось. Он наконец понял, в чем дело...

— Погоди! — удержал его Митя. — Кто желает исправить ответ предыдущего оратора?

Чугуеву точно током дернуло.

— Я жалею! — воскликнула она пронзительно, словно кликуша. И не заметила, как очутилась на сцене. Митя смотрел на нее с опаской.

— Хуже всего уклон, против которого прекращают бороться! — прокричала она. — А прекращать борьбу никак невозможно, поскольку чужаки просачиваются, ровно пловун, изо всех дыр.

Митя захолопал. Вслед за ним захолопал и зал.

— А ты куда собрался? — крикнула она Осипу. — Погоди, послушай, чего скажу. Знаешь чего?

— Чего? — Осип остановился.

— Тебе левый чужак опасней, а мне такой, как ты. Чего моргаешь? Поясни, как с покойницы брошку сымал. Моргаешь? Ну так я сама разьясню. На стан-

ции «Гаврикова улица» покойницу откопали, а он с нее брошку снял. Снял да на меня нацепил. Ей-богу, правда... Вон какой распрекрасный кавалер! Любовь затеял! — Зал засмеялся. Осип выпучился на Чугуеву. — Подает брошку: цепляй, мол. Сам из шахты не понес, боялся, общипут. А меня сроду не обыскивали. Вот он и нацепил на меня. Его, лапушку мово, попробуй послушайся. У него финка с пружиной. Вон в этом кармане. — Она ткнула Осипа по карману. — Только вышли из шахты, сорвал брошку и в Торгсин... Намедни в котловане своей финкой вон этакий кусок брезента отмахнул. Куды ты его дел-то? Али новой зазнобушке гостинец?.. Эх ты, дурачок! В котловане аварийная обстановка, а он хоть бы один гвоздь забил! Я за ним, как за наркомом каким, инструмент таскаю, а он фокусы кажет — спички из носа тягает!..

— Придерживайся регламента! — Осип угрожающе закрыл глаза.

— Ага, припекло маленько! — обрадовалась Чугуева, притянула его к себе и проговорила, словно по секрету: — Уж не знаю там, правый ты или левый, а что лодырь ты и первый вор на шахте, это мне известно. Мы же с тобой — с одних саней оглобли...

— Долго еще? — спросил Осип ржавым голосом.

— Да все, зазнобушка моя, — улыбнулась она жалостливо. — Пропекло, и хватит. Пушай все знают, лодырь ты и вор, на чужих спинах в рай норовишь. А коли чего недосказала, напомню... — И крикнула в зал: — Вы его не пускайте садиться. Пушай об себе сообщит. И обо мне, если желает... Я не против...

Ну вот. Сейчас кончатся ее муки и воротится судьба на предначертанные пути... Ей было точно известно, как начнет сейчас Осип. «А знаете, кто она такая сама-то, премированная ударница Чугуева?»

Осип заговорил тихо. Она прислушалась и не поверила своим ушам.

— Недочеты в работе признаю целиком и полностью, — бормотал Осип. — Постараюсь улучшить с помощью коллектива...

Говорил он и еще что-то, но это было неважно. Важно, что победу на политудочке присудили шахте 41-бис; особо была отмечена товарищ Чугуева, умело увязавшая вопросы теории с отдельными недочетами, иногда имеющими место среди одной части трудящихся на некоторых участках в практической деятельности шахты.

17

Подошел срок объявить, что такое Осип Недоносов, и разъяснить его дурное поведение.

По анкете, родился Осип Недоносов в глухой деревне. Отец его был коренным бедняком, знал кое-какие ремесла, а когда жевать было нечего, нанимался в смолокуры. Но ему не везло. Махнул он на все рукой, стал жить как попало, и жену взял, какая попала.

Явился Осип на божий свет не то в 1910-м, не то в 1911 году — в документах писано по-разному.

Усталая природа мастерит иногда бракованный товар: сросшихся близнецов, шестипалых уродцев, младенцев без небной перегородки, двурушников, наушников, гермафродитов и добровольных стукачей. Над Осипом она подшутила иначе: начисто лишила присущего нормальному человеку мучительного дара — совести.

Передовая наука считает, что существуют совесть буржуазная и совесть пролетарская. Как показала резня в Хиосе, имеется совесть христианская и магометанская. Есть совесть хозяина и совесть холопа. У Осипа не было совести никакой — ни пролетарской, ни буржуазной, ни магометанской, ни христианской. Понятие совести было для него таким же пустым, как понятие солнца для слепца от рождения.

Взамен совести природа одарила его опасным талантом: он быстро и безошибочно угадывал слабинку в человеческом характере.

Первой почувала беду мать. Как ни корила она себя, а будто ей кто-то из-за плеча шептал, что понесла она от нечистой силы. Семи лет мальчишка середь гостей голышом ходил и не стыдился. И покой-

грядки не боялись. В гражданскую много их было. Никит на убиенного и ухмыляется половиной губы.

А полностью убедилась мать, что произвела на свет антихриста, в 1919 году. Жили они тогда в распадке, верстах в двадцати от таежной станции. На восток, к Тихому океану, шли эшелоны белых. В сумерки поезда останавливались среди поля. Стояли до рассвета — боялись партизан. И все же вагоны валились под откос, а одно крушение случилось возле распадка. Осип туда бегал. Ребятишки видали, как он шарил по карманам офицера, придавленного скатом пудмановского вагона.

В голодной, забытой богом деревне красных партизан сроду не водилось, а таежные бабы в толк не могли взять, кто они сами-то такие, красные или белые. Знали одно: сошел поезд с рельсов — жди кары. И правда, на другой день пришло войско. Лихие клсчаковцы выхлестали нагайками из чуланов да с печей всех до одного, отыскали улики: там костыль в стенке, там старая полковничья папаха. Тонконогий поручик, ловкий, видать, танцор-падеспанчик, прочитал бумагу, и на глазах жен и ребятишек расстреляли каждого десятого. Баб, которые помоложе, пороли.

Бедолага смолокур в десятые не попал, но его все равно расстреляли. Расстреляли за пистолет системы Вальтер, который снял с убитого офицера и притащил домой Осип. Оружие нашел за образами поручика.

Маленький Осип в момент учуял слабину поручика: его можно улестить трусливой угодливостью. И когда мужиков согнали закапывать трупы, так ловко стаскивал с расстрелянных сапоги, что поручик одарил его куском рафинада, а мать избавил от порки. Осип начал стараться еще пуще. Мужики отступились, а он вскопал на бугор, под которым лежал теплый еще отец, и стал притоптывать землю ножонками. Так и перебирает, так и приплясывает и на поручика косится.

Мать, молча, как околдованная, простоявшая все страсти, крикнула дико и побегла сломя голову. Нашли ее в тайге. Отпостились она сорок ден и угасла. А Осип пошел по миру.

Иногда кажется, что существует какая-то сила, указующая ползучему хмелю путь к ближайшему колу или стволу. Та же неведомая сила потянула и Осипа и завлекла его в пшеничный Минусинский уезд, к богатому мужику Самсонову. Мужик был набожен и грозен. Домашние величали его не иначе как «сам» и боялись пуще огня. Не только от самого, от пимов его шарахались. В начале нэпа на Самсонова трудилась вся родня — и близкая, и дальняя. Кроме прочего, у него были кожевенная мастерская и лавка, записанная на бессловесного дедушку Филарета. Осипа Самсонов взял на харчи, не сморгнувши.

Сперва Осип обрадовался, но скоро небо ему показало с овчинку. Он быстро понял: подавляющей страстью хозяина было выжимать денгу любым способом. Самсонов словно забыл, что мальчонке двенадцатый год от роду: понуждал и пить, и скобы ковать, и рамы вязать, и кожи мочить, и глину топтать наравне с большими.

Осип из сил выбивался, ждал, что благодетель хозяин поставит его в лавку, на место старого Филарета. Дочка как-то пожалелась: у мальчонки, мол, рука во сне дергается. «Полно! — отмахнулся Самсонов. — Приснилось, будто пилит. Чего такого?» Совсем был дошел паренек до нуля, если бы не дедушка Филарет. Бывало, уложит Осипа в телегу, накроет шубейкой, а сам пилит вместо него.

Обо всем этом появилась заметка в газете «Батрак». В заметке отмечалось, что Самсонов за обедом в шутку поет передовицы из «Батрака» в гул, на мотив «Боже, царя храни». И подпись была — Селькор.

Самсонов собрал родню, допытывался, кто писал. Дознаться не мог. А ночью проник к хозяину Осип и шепнул, что селькор — дедушка Филарет.

— Ты чего это, оборотень? — Самсонов вроде даже растерялся. — Своих топишь?

На другой день позвал Филарета, посадил против себя, медленно сатанея, стал проверять долговую

книгу, да вдруг притянул за оба уха, поцеловал крепко да как вдарит с полного замаха. Дедушка свалился набок вместе со стулом.

После кончины дедушки Филарета работники Самсонова решили Осипа извести. Он почуял опасность, убежал в город и поселился при школе. Там учился и жил как бы за сторожа.

Кроме Осипа, в каменном доме школы проживала учительница по родной литературе, старая дева Вера Семеновна.

Слабость ее заключалась в застенчивости. Она и замуж не вышла, наверное, от застенчивости. Оглядевшись на новом месте, Осип повадился к ней, угадывая ко времени, когда она пила чай, забеленный молоком. В просторной ее комнате осталась память отца, бывшего директора этой самой школы, — четыре шведских шкафа, забитых книгами.

Вера Семеновна жалела Осипа и за то, что он сирота, и за то, что левша, и за то, что плохо учится.

Однажды, смущаясь и краснея, она спросила, не брал ли он случайно шестнадцатый том энциклопедии Гранат. Осип усмехнулся половиной рта, допил чай, сказал: «Вон их сколько еще стоит Гранатов», — и вышел. Книги продолжали исчезать. Положение становилось мучительным. Запирать комнату Вера Семеновна считала непедагогичным. Мальчик мог обидеться. А напрямик обозвать сына красного партизана вором она была не в силах.

Наконец ей показалось, что выход найден.

— Осип, — сказала она торжественно. — Ты уже вырос, подкован. Пора подумать о комсомоле.

Рождение нового члена Коммунистического союза молодежи Вера Семеновна отпраздновала с цветами и с бутылкой «Абрау-Дюрсо». Подняв старинный бокал, она сказала:

— Я верю, Осип, что отныне ты будешь достойно нести на груди комсомольский значок и не запятнаешь его дурными поступками, — и покраснела до ушей.

На другой день пропали еще две книги.

Вечером, когда Вера Семеновна проверяла тетради, к ней постучался незнакомый молодой человек в красных штблетках. Он показал удостоверение, которое Вера Семеновна из деликатности не стала читать, достал из портфеля третий том монографии Шильдера об Александре Первом и спросил:

— Ваша?

Вера Семеновна бросилась к шкафу. Третьего тома не доставало. В глубине души она обрадовалась: очевидно, Осипа поймали на базаре и теперь будет хоть какая-нибудь точка.

— Вредная у вас литература, — пояснил молодой человек.

Она открыла рот, чтобы объясниться, но молодой человек повысил голос:

— И еще, гражданка, довольно совестно педагогу гонять учеников на толкучку. Если вам не хватает полочки, подайте заявление на взаимопомощь.

На другой день Вера Семеновна вызвала Осипа с урока и спросила, ломая пальцы:

— Как у тебя повернулся язык вводить в заблуждение представителя власти? Зачем ты сказал, что я посылаю тебя продавать книги?

Он ухмыльнулся.

— А как же... Не скажешь — из комсомола прут.

Через неделю в клубе железнодорожников состоялся доклад о загнивании интеллигенции. Среди прочих фактов было упомянуто, что некоторые педагоги зазывают учащихся на выпивки и понуждают спекулировать нежелательной литературой.

После доклада Вера Семеновна собрала вещички и уехала куда-то. И никто о ней не вспоминал с той поры...

Дальнейшая жизнь Осипа отмечена событием, которое посторонним казалось непонятным и необъяснимым. В него влюбились. Да, да. В него влюбилась набожная тихоня двадцати трех лет — школьная уборщица Манефа. Добро бы, не знала его. А то ведь знала, со всех боков знала, и про воровство не могла не знать. А дело было в том, что судьбу Манефы ло-

мала неизбывная жалостливость. Осип учуял это, стал сетовать на свою несчастную долю и своими рассказами доводил до слез не только Манефу, но и ее мамашу.

А вскоре он уже забирался на полаты к Манефе, и Анисье Пахомовне пришлось признавать зятя. Пригревшись возле тощего жениного бока, Осип ворчал про беспорядок в доме, про постные щи, про нищету. Сперва Манефа отмалчивалась, а в конце концов открылась. Отец ее, Фома Игнатьевич, во времена давние служил дьяконом. И, как только Манефа пошла в школу, ребята стали травить ее, дразнить «гнилой просвиркой». Сердце обливало кровью у Фомы Игнатьевича, когда маленькая дочурка, в которой он души не чаял, отправлялась на уроки. Думал, думал, что делать, и порешил сложить сан. Кстати, подоспел декрет об изъятии церковных ценностей, и бывший дьякон стал содействовать властям в этом щекотливом деле, навлекая на себя лютую ненависть клира и прихожан.

Фоме Игнатьевичу дали должность в музее, а жить все-таки стало голодно. Музейного жалованья едва хватало на нутряное сало, необходимое для лечения Анисьи Пахомовны. Фома Игнатьевич скрепя сердце снес в дар государству серебряную ладанницу. При этом произнес подобающую речь про Минина и Пожарского и вызвал трудящихся следовать его примеру. Ладанницу приняли с благодарностью, Фому Игнатьевича отметили в местной газете в отделе «Обо всем понемногу», а через некоторое время посадили. Рассуждали логично: поскольку у бывшего священнослужителя завалилось церковное серебро, постольку у него, возможно, завалилось и золото. И вот, пока Фома Игнатьевич за казенными стенами второй год вспоминал, нет ли у него где-нибудь золотишка, в его личном деревянном домике отдирали половые доски, разбирали печи, лазили на чердак. Про все это, заливаясь слезами, и поведала Манефа. Сперва она латала жилище после непрошенных гостей, потом махнула рукой, перешла с матерью на кухню, а горницу замкнула на ключ — до нового стука.

Воротившись домой после церковного венчания, Анисья Пахомовна подала дочери наперстный крест алого акаутуйского золота, пала на колени и молвила:

— Дар тебе от батюшки твоего, многострадального Фомы Игнатьевича. Повелел вручить тебе лично в руки, когда сочтешься законным браком.

«Эге-ге! — подумал Осип. — А тянул-то дьякон по-крупному».

Двое суток перепрыгивала Манефа тяжелый, будто водой налитый крест из одного угла в другой, а Осип раскидывал умишком, как надежнее перекантовать червонное золото на бумажные червонцы, имеющие хождение наравне с прочими ценными бумагами. Ночью, страшно блестя черными глазами, Манефа сказала:

— За этот крест будем тятенку из темницы выкупать..

Осип не спал ночь. Утром спросил:

— А если обыск?

— Пускай ищут.

— Не найдут?

— Нет. Далеко схоронила.

— И я не найду?

— Куда тебе! Змее, и той не найти!

Осип ухмыльнулся и показал крест издали. Манефа кинулась на него, пиджак порвала, щеку разлиновала ногтями. Осип никак не ожидал такой силы от малокровной супружницы.

— Сегодня отчет на бюро, а ты морду корябашь, — попрекнул он, промокая кровь полой пиджака. — Запомни, папаня мне дороже золота. Завтра снесу крест. Меня богородица вразумила, матушка.

— Ничего она не петрит, твоя богородица, — возразил Осип, — подумай сама: он второй год не раскалывается, на его, может, рукой махнули, выпускают собралась, а ты выкуп тащишь. За серебро посадили, дочка золото доставила. Еще посидит, глядишь, камушек адаман притащит...

Манефа прислушалась.

— Вы с богородицей как хотите, мое дело десятое.

А есть у меня надежный кореш. Он для меня кого хошь засадит и вызволит. Окажи уважение, он твоего родителя без всякого шума ослобонит.

Господь вразумил Манефу послушаться. Осип снес куда-то крест, сказал, что дело сложено, а на другой день исчез. Вернулся он голодный, как волк, зашивевший и злющий. Манефа от радости голову потеряла.

— Матушка, царица небесная! — причитала она. — А я, дура, искушалась, совсем убегаю. Да куда тебе бежать, кому ты нужен! — то смеялась она, то плакала. — Кому ты нужен, уродушка ты мой.

— Ладно тебе, — огрызнулся Осип. — Пожрать собери!

— Ах ты, матушка-заступница! — смеялась и плакала Манефа. — Радость я тебе припасла, дурачок сладостный. Дите у нас будет. Гадала — мальчик...

— Ложку подай!.. Мальчик, мальчик.

— Чего же ты, уродушка, делаешь со мной, хоть бы написал, что да как. Едва не рехнулась! В милицию десять раз бегала. Нету и нету.

Он осекся, глянул на жену подозрительно. Если она в милицию дорогу проторила, худо дело. Надо получать зарплату, командировочные да северные и тикать в теплые края. На все это Осип положил дней пять, но, послушав Манефу, решил не медлить.

— А схожу-ка я в баню, — сказал он.

Очумевшая от радости Манефа не поглядела, чем он набивал баул. А он вместо бани пошел на станцию, сдал баул на хранение и купил самый скорый билет. Ехать ему выпало в два часа тридцать пять минут ночи.

Пришел домой, пригрелся на полатах, заснул. Проснулся, глядит, Манефа стоит возле пиджака, а в руках у нее билет с плакатной.

— Бежать собрался? — спросила она шепотом.

Врать Осипу было лень.

— В командировку, — сказал он вяло.

— Так я и чуяла... — Она прикрыла рот рукой, чтобы не разбудить мать. — Так и чуяла... Ну, ладно... Обожди... Обожди, антихрист.

Она заматалась, кинула на голову платок, стала совать руки в пальтишко.

Осип спустился с полатей.

— Куда понесло? — спросил он.

— В милицию. Вот куда.

— Ступай, ступай!.. Только гляди, про крест болтать не советую...

Она застыла на пороге.

— Да, да. Пикнешь про золото, сядешь совместно с родительницей. Кто золото прятал?

— А-а!.. — Манефа кинулась на Осипа и легла, скорчившись от удара.

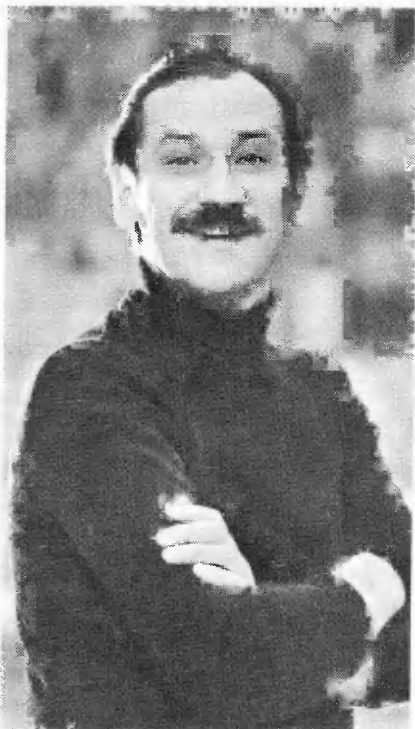
Посадили Осипа примерно через полгода на других местах и по другому делу. Сел он на десять лет, за посягательство на жизнь работника милиции. Чуть не год мотался он по этапам и пересылкам. В тюрьме втерся в доверие к бакенщику, досиживающему срок за браконьерство. Бакенщик был золотушный, с большими ушами. Главная мечта его была — тревога за семью, за любимую дочку, за любимую внучку. Он почти не спал, сторожил, когда вызовут с вещами.

Осип вошел в доверие к бакенщику, порвал нижнюю рубашку на бинты, сделал ему тугую повязку на уши, успокаивал, внимательно слушал фамилии, которые выкликают на выход, и ждал. Когда вызвали тугухого бакенщика, отозвался «Я!» и выскочил на волю, хотя был лет на десять моложе и на теле его не было наколок.

Не знаю, родную ли он носил фамилию Недоносов или по документам бакенщика. Что же касается Чугуевой — Осип увидел ее впервые у шахты Метростроя. А увидев — учуял, что она чего-то опасается, даже страшится.

Дальше все пошло как по маслу. Он стал пугать ее намекающими взглядами, а она сделалась его бессловесной рабой.

(Окончание следует.)



Леонид ФИЛАТОВ

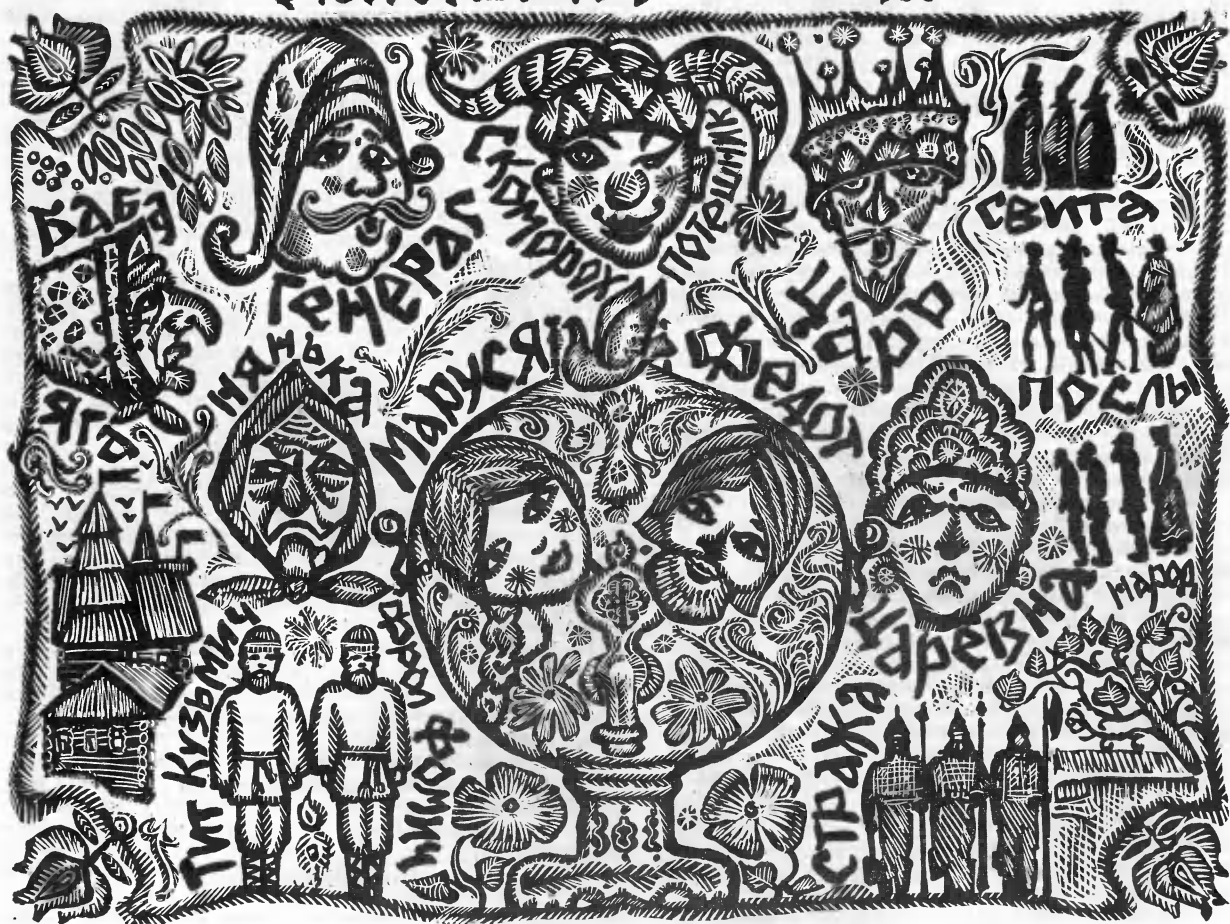
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА

СКАЗКА ДЛЯ ТЕАТРА

(По мотивам русского фольклора)

Сегодня в «Юности» дебютирует известный актер театра и кино Леонид Филатов. Его сказка исполнена в старинной фольклорной традиции, где шутка идет вслед за прибауткой, озорство соседствует с мудростью, где вновь звучат нестареющие голоса с детства знакомых персонажей. И — что особенно любезно человеческой душе — добро, как и во всякой сказке, торжествует.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА



Оформление Р. Клочкова



ПОТЕШНИК

Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, уда-лой молодец. Был Федот ни кра-савец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Служба у Федота — рыбалка да охота. Царю — дичь да рыба, Федоту — спасибо. Гостей во дворце — как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Гре-ции, третий с Гавай — и всем жрать подавай! Одному — ома-ров, другому — кальмаров, тре-тьему — сардин, а добытчик один! Как-то раз дают ему при-каз — чуть свет поутру явить-ся ко двору. Царь на вид смор-чок, башка с кулачок, а злобно-сти в ём — агромадный объем. Смотрит на Федьку, как язвен-ник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в вис-ках застучало, в пузе заурчало, тут, как говорится, и сказке на-чало...

ЦАРЬ

К нам на утренний рассол
Прибыл аглицкий посол,
А у нас в дому закуски —
Полгорбушки да мосол.
Снаряжайся, братец, в путь
Да съестного нам добудь —
Глухаря аль куропатку.
Аль ишо кого-нибудь.
Не сможешь — кого винить? —
Я должен тебя казнить.
Государственное дело,
Ты улавливаешь нить?..

ФЕДОТ

Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю что к чему.
Получается, на мне
Вся политика в стране:
Не добуду куропатку —
Беспременно быть войне.
Чтобы аглицкий посол
С голодухи не был зол,
Головы не пожалею,
Обеспечу разносол!..



ПОТЕШНИК

Слово царя тверже сухаря.
Пошлет на медведя — пойдешь
на медведя, а куды деваться —
надо, Федя! Или дичь и рыба —
или меч и дыба. Обошел Федот
сто лесов, сто болот, да всё зря —
ни куропатки, ни глухаря! Ус-
тал, нет мочи, да и дело к ночи.
Хоть с пустой сумой, а пора до-
мой. Вдруг видит — птица, лес-
ная голубица, сидит, не таится,
ружья не боится...

ФЕДОТ

Вот несчастье, вот беда,
Дичи нету и следа.
Подстрелю-ка голубицу,
Хоть какая да еда!

ГОЛУБИЦА

Ты, Федот, меня не трожь,
Пользы в этом ни на грош —
И кастрюлю не наполнишь,
И подушку не набьешь.

ФЕДОТ

То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?

ГОЛУБИЦА

Не твори, Федот, разбой,
А возьми меня с собой.
Как внесешь меня в светелку —
Стану я твоей судьбой.

ФЕДОТ

Что за притча — не пойму?..
Ладно, лезь ко мне в суму!..
Там на месте разберемся,
Кто куды и что к чему!



ПОТЕШНИК

Принес Федот горлинку к се-
бе, значит, в горенку. Сидит не-
весел, головушку повесил. И
есть для кручины сурьезные
причины. Не сладилась охота у
нашего Федота. А царь шутить
не любит — враз башку отру-
бит. Сидит Федот, печалится, с
белым светом прощается. Вспом-
нил про птицу, лесную голуби-
цу. Глядь, а середь горенки, за-
место той горлинки, стоит крас-
на девица, стройная, как дерев-
це!..

МАРУСЯ

Здравствуй, Федя!.. Ты да я —
Мы теперь одна семья.
Я жена твоя, Маруся,
Я супружница твоя.

ФЕДОТ

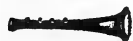
На тебя, моя душа,
Век глядел бы, не дыша,
Только стать твоим супругом
Мне не светит ни шиша!..
Был я ноне — чуть заря —
На приеме у царя,
Ну, и дал мне царь заданье
В смысле, значит, глухаря.
Хоть на дичь и не сезон —
Спорить с властью не резон:
Ладно, думаю, добуду,
Чай, глухарь, а не бизон.
Проходил я цельный день,
А удачи — хоть бы тень:
Ни одной сурьезной птицы,
Все сплошная дребедень!..
И теперь мне, мил-дружку,
Не до плясок на лужку —
Завтра царь за энто дело
Мне оттяпает башку.

МАРУСЯ

Не кручинься и не хнычь!
Будет стол и будет дичь!
Ну-ко станьте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!
(Маруся хлопает в ладоши —
появляются два дюжих молодца)
Коли поняли приказ —
Выполняйте сей же час!

МОЛОДЦЫ

Не извольте сумлеваться,
Чай, оно не в первый раз!..



ПОТЕШНИК

А царь с послом уж сидят за
столом. Рядом — ты глянь-
ка! — царевна да нянька. И все
ждут от Феди обещанной снеди.
Какая ж беседа без сытного обе-
да? А на столе пусто: морковь
да капуста, укроп да петруш-
ка — вот и вся пирушка. Гость
скачает, ботфортой качает, дыр-
ки на скатерти изучает. Вдруг,
как с неба, — каравай хлеба, ик-
ры бадейка, тушеная индейка,
стерляжья уха, телячьи потро-
ха, — и такой вот пищи назван-
ный до тыщи! При эдакой снеди
как не быть беседе!..

ЦАРЬ

Вызывает антирес
Ваш технический прогресс:
Как у вас там сеют брюкву —
С кожурою али без?..

ПОСОЛ

Йес!

ЦАРЬ

Вызывает антирес
Ваш питательный процесс:
Как у вас там пьют какаву —
С сахаринном али без?..

ПОСОЛ

Йес!

ЦАРЬ

Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы —
В панталонах али без?..

ПОСОЛ

Йес!

НЯНЬКА

Постеснялся хоть посла б!..
Аль совсем башкой ослаб?..
Где бы что ни говорили —
Все одно сведет на баб!..

ЦАРЬ

Ты опять в свою дуду?
Сдам в тюрьму, имей в виду!
Я ж не просто балабоню,
Я ж политику веду!
Девка эвон подросла,
А тоща, как полвесла!
Вот и мысло, как бы выдать
Нашу кралю за посла!
Только надо пользы для
Завлекать его, не зля —
Делать тонкие намеки
Невсурьез и издала.

НЯНЬКА

Да за энтго пошла
Даже я бы не пошла,—
Так и зыркает, подлюка,
Что бы стирить со стола!
Он тебе — все «йес» да «йес»,
А меж тем все ест да ест.
Отвернись — так он полцарства
Заглотнет в один присест!

ЦАРЬ

Али рот себе зашей,
Али выгоню взащей!
Ты и так мне распужала
Всех заморских атташей!
Даве был гешпанский гранд,
Уж и щеголь, уж и франт!
В каждом ухе по брильянту —
Чем тебе не вариант?
Ты ж подстроила, чтоб гость
Ненароком сел на гвоздь,
А отседова у гостя —
Политическая злость!..

НЯНЬКА

Как же, помню!.. Энтот гранд
Был пожарть большою талант:
С головою влез в тарелку,
Аж заляпал жиром бант!
Что у гранда ни спроси —
Он, как попка, «си» да «си»,
Ну а сам все налегает
На селедку иваси!

ЦАРЬ

Я за линию твою
На корню тебя сгною!
Я с тобою не шуткую,
Я серьезно говорю!
Из Германии барон
Был хорош со всех сторон,
Дак и тут не утерпела —
Нанесла ему урон.
Кто ему на дно ковша
Бросил дохлого мыша?
Ты же форменный вредитель,
Окаянная душа!..

НЯНЬКА

Да уж энтон твой барон
Был потрескать недурен,
Сунь его в воронью стаю —
Отберет и у ворон.
С виду гордый — «я-а» да «я-а»,
А прожорлив, как свинья,
Дай солому — съест солому,
Чай, чужая — не своя!..

ЦАРЬ

Ну, шпиёнка, дай-то срок —
Упеку тебя в острог!
Так-то я мужик не злобный,
Но с вредителями строг.
Вот ответь мне —

слов не трать! —

Где царевне мужа брать?
Чай, сама, дурында, видишь —
Женихов у ей не рать!
Кабы здесь толпился полк —
В пререканьях был бы толк,
Ну а нет — хватай любого,
Будь он даже брянский волк!..

ЦАРЕВНА

Коли ты в Расее власть,
Дак и правь Расеей всласть,
А в мою судьбу не суйся.
И в любовь мою не влазь!
В доме энтих атташе
По сту штук на этаже,

Мне от их одеколону
Аж не дышитсь уже!..

ЦАРЬ

Коль любовь и вправду зла,
Дак полюбишь и посла.
А попутно мне поправишь
И торговые дела.
Я под энтот антифрес
Сплавлю им пеньку и лес.
Вся общественность согласна,
Только ты идешь вразрез!..

ЦАРЕВНА

Сколь бы ты ни супил бровь —
Повторяю вновь и вновь:
Индивид имеет право
На свободную любовь!
Может, дело наконец
И дошло бы до колец,—
Кабы вдруг меня сосватал
Твой Федотушко-стрелец!..

ЦАРЬ

Цыц, дуреха!.. Замолчи!..
Тесту место у печи!
Ну-ко, марш к себе в светлицу
И сольфеджию учи!
А проклятого стрельца,
Наглеца и подлеца,
Я плетью да батогами
Враз отважу от дворца!..



ПОТЕШНИК

Был у царя генерал, он сведен-
ья собирал. Спрячет рожу в бо-
роду — и шасть по городу. Вы-
нюхивает, собака, думающих
инако. Подслушивает разгово-
рики — а вдруг в стране заго-
воришки? Где чаво услышит —
в книжечку запишет. А в семь в
аккурат — к царю на доклад.

ЦАРЬ

Что невесел, генерал?
Али корью захворал,
Али брагою опился,
Али в карты проиграл?
Али служба не мила,
Али армия мала,
Али в пушке обнаружил
Повреждению стволу?
Докладай без всяких врак,
Почему на сердце мрак —
Я желаю знать подробно,
Кто, куды, чаво и как!..

ГЕНЕРАЛ

Был я даве у стрельца,
У Федота-удальца,
Как узрел его супругу —
Так и брякнулся с крыльца.
Третий день — ей-ей, не вру! —
Саблю в руки не беру,
И мечтательность такая.
Что, того гляди, помру!
А наемни был грешок —
Чуть не выдумал стишок,
Доктора перепугались,
Говорят — любовный шок!..

ЦАРЬ

Обошел меня стрелец!..
А ведь знал, что я вдовец!..
Ну-ко мигом энту краю
Мне доставить во дворец!
А коварного стрельца
Сей же час стереть с лица,

Чтобы он не отирался
Возле нашего крыльца!..

ГЕНЕРАЛ

Умыкнуть ее — не труд,
Да народец больно крут:
Как прознают, чья затея —
В порошок тебя сотрут!
Дерзкий нынче стал народ.
Не клади им пальца в рот,—
Мы не жалуем Федота,
А народ — наоборот!

ЦАРЬ

Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
Нешто я должен министру
Объяснять любой пустяк?
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазя,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
Ну, а я уж, тут как тут,
Напражу тебя за труд:
Кузнецам дано задание —
Орден к завтраму скупют!..



ПОТЕШНИК

Цельный день генерал ум в ку-
лак собирал. Все кумекал в по-
те лица, как избавиться от
стрельца. Да в башке мысли от
напряга скисли. Вспомнил на
досуге о старой подруге, Бабе
Яге Костяной ноге: «Схожу-ко к
ней, она поумней!.. А та середь
дубравы собирает травы, варит
всяческие отравы. Как увидела
генерала — все гербарии расте-
рала. Соскучилась в глуши без
родственной души!..

ЯГА

Ты чавой-то сам не свой,
Нерумяный, неживой!..
Али швед под Петербургом,
Али турок под Москвой?..
Съешь осинової коры —
И взбодрись до поры:
Чай, не химия какая,
Чай, природные дары!
В ейном соке, генерал,
Есть полезный минерал,—
От него из генералов
Ни один не помирал!..

ГЕНЕРАЛ

Полно, бабка!.. Я не хвор!..
Отойдем-ко за бугор!..
Распугай ежей и белок,
Есть серьезный разговор.
Тут у нас один стрелец —
Шибко грамотный, стерец!..
Вот и вышло мне задание
Извести его вконец!
Только как? Башку срубить —
Дак молва начнет трубить!..
Не сможешь ли советом,
Как хитрей его сгубить?..

ЯГА

Колдуй, баба, колдуй, дед,
Трое сбоку — ваших нет,
Туз бубновый, гроб сосновый,
Про стрельца мне дай ответ!
Коль он так ретив и скор,
Что с царем вступает в спор,—

Пусть он к завтраму добудет
Шитый золотом ковер.
Чтоб на ём была видна,
Как на карте, вся страна.
Ну, а коли не добудет,—
То добытчика вина!..

ГЕНЕРАЛ

Ай да бабка! Ай да спец!
Вот и хлопотам конец!
Хоть вынай тебя из ступы —
Да министром во дворец!
Ноне с немцем нелады,
Далеко ли до беды,
А с тобою я готовый
Хоть в разведку, хоть куды!
За добро плачу добром:
Хошь — кунницей, хошь —
бобром,
А не хошь — могу монетой.
Златом али серебром!..

ЯГА

Полно, голубь, не грешни,
Убери свои гроши,—
Я ведь энто не для денег,
Я ведь энто для души.
Буде новая беда —
Прямиком спеши сюда.
Чай, и мы в лесу не звери,
Чай, поможем завсегда!..



ПОТЕШНИК

*Зовет царь стрельца, удалого
молодца. Ишо не дал задание, а
уж сердит заранее. Руками су-
чит, ногами стучит, очами вра-
щает, в обчем, страшает. Уж так
ему охота извести Федота, что
ажно прямо в костях ломота!..*

ЦАРЬ

Раздобудь к утру ковер —
Шитый золотом узор!..
Государственное дело,—
Расшибись, а будь добёр!
Чтоб на ём была видна,
Как на карте, вся страна,
Потому как мне с балкону
Нет обзору ни хрена!
Не найдешь чаво хочу —
На башку укорочу,
Передам тебя с рассветом
Прямо в лапы палачу!



ПОТЕШНИК

*Пришел Федот домой, от горя
немой. Сел в уголок, глядит в
потолок, ясные очи слезой заво-
лок. Маня есть кличет, а он шено
бычит, ничаво не хочет, супитя
да хнычет...*

МАРУСЯ

Ты чаво сердит, как ёж?
Ты чаво не ешь — не пьешь?
Али каша подгорела,
Али студень нехорош?

ФЕДОТ

Да какая там еда!
Царь лютует — прям беда!

Нет на энтого злодея
Ни управы, ни суда!
Раздобудь, кричит, ковер —
Шитый золотом узор —
Шириной во всю Расею
В сто лесов и в сто озер!..

МАРУСЯ

Не кручинься и не хнычь!
Пусть лютует старый хрыч!
Ну-ко, встаньте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!..
(Маруся хлопает в ладоши —
появляются два дюжих молодца)
Коли поняли приказ —
Выполняйте сей же час!

МОЛОДЦЫ

Не извольте сумлеваться,
Чай, оно не в первый раз!



ПОТЕШНИК

*Наутро Федот — у царевых
ворот. Пришел на прием, и ко-
вер при ём. Стоит улыбается,
стражи не пугается. Царь уди-
вился, аж икрой подавился. Зло-
ба его точит, а показать не хо-
чет. Делает взгляд, что вроде бы
рад!..*

ФЕДОТ

Ты вчера просил ковер,—
Ну дак я его припёр.
Все согласно договору —
И рисунок, и колёр.
Вся Расеюшка сполна
На ковре отражена.
Сей ковер тебе в подарок
Соткала моя жена!..

ЦАРЬ

Ай да ухарь! Ай да хват!
На сколькох же ты женат?
Али ты свсватал сразу
Цельный ткацкий комбинат?
У тебя, Федот, жена,
Хоть умна, да все же одна!
А соткать такое за ночь —
Их дивизия нужна!..

ФЕДОТ

Аль ковер не тешит взор?
Аль не тот в ковре узор?
Ну дак я его под мышку —
Да и кончен разговор.

ЦАРЬ

Мне б огреть тебя плетью,
Четырьмя али пятьми,
Чтобы ты не изгалялся
Над сурьезными людьми!
Но поскольку я спокоен
Чту порядок и закон,—
Вот тебе пятак на водку
И пошел отседа вон!..



ПОТЕШНИК

*Зовет царь генерала, штырь
ему в забрало! У царя рожа на
свеклу похожа, а когда он крас-
ный — он на руку опасный!
Бьет, зараза, не больше раза,
но попадает не мимо глаза. Эн-*

*то генерал на себе проверял: с
начала сказки ходит в повязке!..*

ЦАРЬ

Ну, браток, каков итог?
Обмишулился чуток?
Только сей чуток потянет
Лет примерно на пяток!
Ты у нас широк в плечах,
А башкой совсем зачак.
Вот умишко и поправишь
На казенных-то харчах!..

ГЕНЕРАЛ

Упеки меня в острог
На какой угоднo срок —
Все одно сия наука
Не пойдет мне, дурню, впрок!
Мне бы саблю да коня —
Да на линию огня!
А дворцовые интрижки —
Энто все не про меня!

ЦАРЬ

Ты мне, вашеблагородь,
Брось горячку-то пороть!
Ты придумай, как без сабли
Нам Федота побороть!
Ну, а будешь дураком —
Не ищи вины ни в ком:
Я тебе начищу рыло
Лично энтим кулаком!..



ПОТЕШНИК

*Зря генерал руки потирал: не
вышло с налета погубить Федо-
та. Опять у бедняги башка в на-
пряге. А в башке — слышь-
ка! — ну хоть бы мыслишка!
Думал-думал, ничаво не надумал.
Как ни крутись, без Яги не
обойтись! Поперся опять в дуб-
раву — искать на Федьку управу!..*

ЯГА

Ты чаво опять смурной?
Что причиной, кто виной?
Аль гешпанец гоношится,
Аль храницуз пошел войной?..
Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей — и враз забудешь
Про мирскую карусель!
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будешь к завтраму здоровый,
Если только не помрешь!..

ГЕНЕРАЛ

Я опять насчет стрельца!
Нет беде моей конца!
Оттого я и хвораю,
Оттого и спал с лица.
До чего ж, подлец, хитер —
Всем вокруг носы утер!
Сколько ты тут ни колдовала,
А добыл он тот ковер!
Хоть на вид он и простак,
А башкой варить мастак,
Так что впредь колдуй
сурьезней,
С чувством, так твою растак!

ЯГА

Колдуй, баба, колдуй, дед,
Трое сбоку — ваших нет,

Туз бубновый, гроб сосновый,
Про стрельца мне дай ответ!
Так!.. Эге!.. Угу!.. Ага!..
Вот что вызнала Яга:
Пусть он сыщёт вам оленья,
Чтоб из золота рога!..
Обыщи весь белый свет —
Таковых в природе нет!
Энто я тебе, голуба,
Говорю, как краевед!..



ПОТЕШНИК

*Зовёт царь стрельца, удалого
молодца. Не успел наш Федот
утереть с рожи пот, а у царя-
злодея новая идея. Царь бурлит
от затей, а Федька потей! В об-
щем, жисть у Федьки — хуже
горькой редьки!..*

ЦАРЬ

Ну-ко, сбрось хандру и лень
И — в дорогу сей же день!
Государственное дело —
Позарез нужен олень!
Коли ты царю слуга —
Подь за горы, за луга
И сыщи мне там оленья,
Чтоб из золота рога.
Не гунди и не перечь,
А поди и обеспечи,
А не то в момент узнаешь,
Как башка слетает с плеч!..



ПОТЕШНИК

*Пришел Федот домой, соп-
ли — бахромой! Сел перед лу-
чиной в обнимку с кручиной.
Жена-красавица на шею броса-
ет, а он к жене и не прикасает-
ся! Сидит, плачет — горюет,
значит!..*

МАРУСЯ

Ты чаво глядишь сычом?
Аль кручинишься об чем?
Аль в солянке мало соли,
Аль бифштекс недоперчен?

ФЕДОТ

Да какой уж там обед!
Царь замучил — спасу нет!
Поутру опять придется
Перед ним держать ответ!
Энтот царь лютей врага —
Снова шлет меня в бега:
Отыщи, кричит, оленья,
Чтоб из золота рога!..

МАРУСЯ

Не кручинься и не хнычь!
Есть печали и опричь!
Ну-ко встаньте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!
(Маруся хлопает в ладоши —
появляются два дюжих молодца)
Коли поняли приказ —
Выполняйте сей же час!

МОЛОДЦЫ

Не извольте сумлеваться —
Чай, оно не в первый раз!..



ПОТЕШНИК

*Чуть свет Федот — у царевых
ворот. Пришел на прием, и олень
при ём. У царя от знева заколо-
ло слева. Раздавил бы гниду,
но не кажет виду. Сидит, зева-
ет — злобу скрывает!..*

ФЕДОТ

Чай, заждался? Добрый день!
Глянь в окно, когда не лень!
Ты заказывал оленья —
Ну дак вот тебе олень!
И — заметь! — рога на нем
Так и пыхают огнем,
От него без всякой лампы
По ночам светло, как днем!..

ЦАРЬ

Тех оленей — ты не ври! —
Нет ни в Туле, ни в Твери.
Что в Твери — в самом Багдаде
Их от силы штуки три!
А теперь прикинь, солдат, —
Где Москва, а где Багдад!
Али ты смотался за ночь
До Багдаду и назад?..

ФЕДОТ

Ну, даешь, ядрена вошь!
И олень тебе не гож?
А вчерась мытарил душу:
Вынь оленья да положи!..
Коли ты и так богат, —
Я верну его в Багдад.
Кто там нонича у власти? —
То-то парень будет рад!..

ЦАРЬ

Ты мне, Федька, энто брось,
Иль с башкою будешь врозь!
Я твои намеки вижу
Исключительно наскрозь!
Ну да ладно, за престиж
Разве чёрта не простишь!
Вот тебе пятак на водку
И катись куды хотишь!..



ПОТЕШНИК

*Вызывает царь генерала —
ажно прям из-под одеяла. Генера-
л в панике, ищет подштанни-
ки, понимает — зовут не на
пряники! Царь на троне си-
дит — на весь мир сердит. Чер-
ный от злости, как ворон на по-
госте!..*

ЦАРЬ

Сколь ни бился ты, милоч, —
Не попал Федот в силок!
Об тебе уже составлен
Фициальный некролог.
Только надобно решить,
Как верней тебя решить:
Оглушить канделябром
Аль подушкой задушить?..

ГЕНЕРАЛ

Оплошал я, государь!
Вот те сабля, хочешь — вдарь!
Только больше тем Федотом
Мне мозги не скипидарь!

Что дурак — не обессудь!
У меня иная суть!
Мне б куды-нибудь в атаку..
Аль на штурм куды-нибудь!..

ЦАРЬ

Ты с мечом-то боевой,
Только вот чаво усвой:
Побеждать Федота надо
Не мечом, а головой!
Ну, а будешь так же скор,
Как ты был до энтих пор, —
Я тебя, коровья морда,
Сам пристрою под топор!..



ПОТЕШНИК

*Наш дурак снова ум напряг.
А и было того ума — невеликие
закрома. Думал, думал, думал,
ничаво не надумал. Свистнул
псов ораву — и к Яге в дубраву.
Увидала та генерала — сиганула
аж до Урала. Да опомнилась и
вернулась: как бы хуже не обер-
нулось!..*

ЯГА

Ты чавой-то не в себе!
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..
Спробуй заячий помет!
Он — ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают —
Те до старости живут!..

ГЕНЕРАЛ

Ты мне, бабка, не крути!
Ты изыскивай пути!
Ты придумай, как Федота
До могилы довести!
Сколь ни билась ты, Яга,
А не вышло ни фига!
Раздобыл Федот оленья —
Драгоценные рога!
Ты башку себе продуй
Да потщательней колдуй.
Наш стрелец, как оказалось,
Не такой уж обалдуй!..

ЯГА

Вообще-то я хитра
В смысле подлости нутра,
Но чавой-то мне севодня
Не колдуется с утра!..
Всё и колет, и болит,
И в груди огнем палит!..
Я давно подозреваю
У себя энцефалит!..
Ой, чавой-то худо мне!
Слышь, как хрумкает в спине?
Словом, раз такое дело —
Я вобче на бюлютне!

ГЕНЕРАЛ

Захворала — не беда!
Съешь лягушку из пруда!
Нет надежней медицины,
Чем природная среда!
Ты морочить мне мозги
Даже думать не моги!
Лучше всю свою подлючесть
На работу напряги!

ЯГА

Колдуй, баба, колдуй, дед.
Трое сбоку — ваших нет,
Туз бубновый, гроб сосновый,
Про стрельца мне дай ответ!
Пусть Федот проявит прыть,
Пусть сумеет вам добыть
То — Чаво — На белом свете —
Вообще — Не может быть!
Ну, Федот, теперь держись!
Дело верное, кажись!
Вот уж этого заданья
Ты не исполнишь ни в жисть!..



ПОТЕШНИК

*Зовет царь стрельца, удалого
молодца. Опять поручение госу-
дарственного значения. Да ког-
да же окончится это мучение!
А меж тем сказке — далеко до
развязки!..*

ЦАРЬ

Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не может быть!
Запиши себе название,
Чтобы в спешке не забыть!
А не исполнишь к утру —
В порошок тебя сотру,
Потому как твой карахтер
Мне давно не по нутру!
Так что неча губы дуть,
А давай скорее в путь!
Государственное дело —
Ты ухватываешь суть?



ПОТЕШНИК

*Пришел Федот домой — жутче
смерти самой! Бел, как мел, ли-
цом занемел. Сел у окна — в гла-
зах пелена. Кинулась Маня, а
он — ноль вниманья!.. Будешь в
печали, коли смерть за плеча-
ми!..*

МАРУСЯ

Ну-ко душу мне излей,
Отчаво ты черта злей?
Аль в салате по-милански
Не хватает трюфелей?..

ФЕДОТ

Я твоё, Марусь, меню
Исключительно ценю,
Только жисть мою, Маруся,
Загубили на корню!
Что мне делать? Как мне быть?..
Как беду мою избить?
Приказал мне царь доставить
То-Чаво-Не может быть!..

МАРУСЯ

Не печалься и не хнычи!
Стоит только кинуть клич!
Ну-ко, встаньте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!
(Маруся хлопает в ладоши —
появляются два дюжих молодца)
Если поняли приказ —
Выполняйте сей же час!

(Пауза)

МОЛОДЦЫ

Извиняемся, хозяйка,
Энто дело не про нас!
Кабы схемку аль чертеж —
Мы б затеяли вертеж.
Ну, а так — ищи, сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
Где искать и как добыть
То-Чаво-Не может быть?
Ведь его ж на свете нету,
Сколько землю ни копыты!..

МАРУСЯ

Не взыщи, мил-друг Федот,
Невелик с меня доход!
Знать, судьба тебе, любимый,
Самому идти в поход!
За границей не блуди,
В чистоте себя блюди.
В разговоры не мешайся
И знакомств не заводи!

ФЕДОТ

Ты, Марусь, того, не трусь!
Образуется, Марусь!
Сполно царское заданье
И целехоньким вернусь!
Ну, а сунется такой,
Кто нарушит твой покой,—
Мне тебя учить не надо:
Сковородка под рукой!..



ПОТЕШНИК

*Ушел Федот в заморский по-
ход. Узнал про то генерал — по-
следний ум потерял. Бежит наш
хитрец к царю во дворец доло-
жить, что стрельцу конец. Уж и
дырку для ордена просверлил,
толстомордина!..*

ЦАРЬ

Хороша ль, плоха ли весть,—
Докладай мне все как есть!
Лучше горькая, но правда,
Чем приятная, но лесть!
Только если энта весть
Снова будет — не бог весть,
Ты за эдакую правду
Лет на десять можешь сесть!..

ГЕНЕРАЛ

Докладаю: чуть заря
Федька поднял якоря!
Слава богу, отвязались
От него, от упыря!

ЦАРЬ

Ну-ко, нянька, подь скуды,
Принимайся за труды —
Рви из темечка волосья
Те, которые седы.
А какие не седы,—
Те расчесывай в ряды.
Да полегче гребешком-то,
У меня там не сады!..

НЯНЬКА

Что ж, чесать-то, старый черт,
Коли лысину печет?!
У тебя ж тут важный волос
Надо ставить на учет!..
И на кой тебе нужна
В энтот возрасте жена?
Ведь тебе же, как мужчине,
Извиняюсь, грош цена!..

ЦАРЬ

Хоть волосев я лишен,
А жениться я должен!
Шах персидский тоже лысый,
А имеет сорок жен!
Я ж хочу всего одну
Завести себе жену!
Нешто я в интимном смысле
И одну не потяну?..

НЯНЬКА

Ты, дружок, из тех мужей,
Что безвреднее ужей —
Егозят, а не кусают,
Не сказать ишо хуже!
Чтоб чужую бабу скрасть,
Надо пыл иметь и страсть!
А твоя сейчас задача —
На кладбище не попасть!..

ЦАРЬ

(Генералу)

Ну, а ты чаво молчишь
Да медальками бренчишь?
Аль не видишь, как поганют
Государственный престиж?
Нянька гнет меня в дугу,
А министр — ни гу-гу!
Ты у нас по обороне,
Вот и дай отпор врагу!..

ГЕНЕРАЛ

Да ведь бабы-то суды
Про мужчин всегда худы!
Ты в себе не сумлевайся,
Ты любовник хоть куды!
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины — дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..

ЦАРЬ

(Няньке)

Вот министр мне не враг,
Все как есть сказал без врак,
А ведь он мужик не глупый,
Не гляди, что он дурак.
От тебя ж — один бедлам,
Стыд царю, конфуз послам!
Я давно антиресуюсь,
Ты не засланная к нам?..
Не шпионь и не вреди,
А осмелишься — гляди:
Разговор у нас с тобою
Будет крупный впереди!..



ПОТЕШНИК

*Едет царь к Мане — оказывать
вниманье. Сам в карете сидит,
деколоном смердит, за царем сви-
та — напудрена, завита, за сви-
тою сундук — козинаки и фун-
дук. Все честь по чести — едет
царь к невесте!..*

ЦАРЬ

По заданию царя
Федька отбыл за моря!
В общем, я его отседа
Сплавил, проще говоря!
Чтоб не бедствовать одной —
Становись моей женой!
А чаво?.. Мужик я видный
И на ласку заводной!..

МАРУСЯ

Не успел ишо Федот
Шагу сделать от ворот,

А уж вороны слетелись
На Федотов огород!..

ЦАРЬ

Ты мне, девка, не дури!
Предлагают — дак бери!
Чай, к тебе не каждый вечер
Ходют вдовы цари!..
Сей же час, я говорю,
Собирайся к алтарю!
Очумела от восторга,
Дак нюхни нашатырю!

МАРУСЯ

Хоть секи меня бичом,
Хоть руби меня мечом,—
Все одно твоей супругой
Я не стану нилоцем!

ЦАРЬ

Ты, Марусь, меня не зли
И конфликт со мной не дли!
Мне наемни из Парижу
Гильотину привезли!
В свете сказанного мной —
Лучше будь моей женой!
У меня ведь тоже нервы,
Я ведь тоже не стальной!

МАРУСЯ

Уходи, постылый, прочь,
И в мужья себя не прочь!
Не уйдешь — дак я могу и
Сковородкою помочь!

ЦАРЬ

Ну-ко те, что у дверей,—
В кандалы ее скорей!
Энто что ишо за мода —
Сковородками в царей!
Вот помаешься в тюрьме —
И поправишься в уме!
Сколь ты, девка, ни кобенясь,
А поженимся к зиме!..

МАРУСЯ

Изловить меня, балда,
Много надобно труда!
До свиданья, друг мой ситный,
Может, свидимся когда!..
(Маруся превращается в голубицу и улетает)



ПОТЕШНИК

Пропадал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму — а свое держал в уму! Чудес в мире — как мух в сортире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот — время-то идет! Решил без истерики: съезжу до Америки! Плывет Федот средь бескрайних вод, впереди — закат, позади — восход. Вдруг середь похода спортилась погода. Не было напасти — и на тебе, здрасьте, корабль — хрясь! — и распался на части!.. Стихла гроза — открыл Федот глаза: лежит на волне, невредимый вполне. Видит, островок торчит, как поплавок. Добрался до берега, думал — Америка. Вынул карту, сверил — ан нет, не Америка!

Остров Буян, будь он окаян,— может, в карте какой изгян? Си-

дит Федот, икает, в обстановку вникает...

ФЕДОТ

Сколь по прихоти царя
Я ни плавал за моря,—
Не видал паршивей места,
Откровенно говоря!
Ну и остров — прям тоска! —
Сплошь из камня и песка,
И доколь хватает глазу —
Ни речушки, ни леска!..
Да оно бы не беда,
Кабы здесь была еда,—
Окажись тут лебеда бы,
Дак сошла б и лебеда!..

ГОЛОС

Кто охочий до еды —
Пусть пожалует сюды:
У меня еды навалом,
У меня ее пуды!
Вот, к примеру, получи
Прям из печки калачи,
Вот жаркое из индейки,
Вот компот из алычи!
Вот колбасы, вот сыры,
Вот полцентнера икры,
Вот карибские омары,
Вот донские осетры!..
(Появляются столы с яствами)

ФЕДОТ

Энто что за чудеса?
Энто что за голоса?
Тут и спрятаться-то негде —
Окиян да небеса!
Окажи, хозяин, честь,
Покажись, каков ты есть!
Неприлично как-то гостю
В одиночку пить да есть!
Чай, на острове твоём
Веселей скучать вдвоем —
Где картишки раскидаем,
Где по чарочке нальем!..

ГОЛОС

Я бы рад, да мой портрет —
Для меня и то секрет!
Сам порою сумлеваюсь,
То ли есть я, то ли нет!..
У меня забот не счесть:
Есть еда, да нечем есть,
Есть табак, да нечем нюхать,
Есть скамья, да нечем сесть!
Так устал за тыщу лет,
Что не в радость белый свет!
Думал было удавиться,
Дак опять же, шеи нет!

ФЕДОТ

Ай да встреча!.. Стало быть,
Я сумел тебя добыть,—
То-Чаво-На белом свете
Вообще-Не может быть!
Чем, тоскуя да хандря,
Жисть расходовать зря,
Может, сплаваешь со мною
До расейского царя?..
Прогуляйся, освежись,
С белым светом подружись!
Что за жисть без приключений,
Просто ужас, а не жисть!..

ГОЛОС

Я полезных перспектив
Никогда не супротив!
Я готов хоть к пчелам в улей,
Лишь бы только в колектив!
Дай приказ — и хоть куды,
Хоть на добычу руды!

Буду вкалывать задаром,
Без питья и без еды!
Я к любому делу гождь,
Я в любые двери вхождь,
Я тебе что хошь достану,
Хоть подкованную вошь!..

ФЕДОТ

Вошь, оно, конечно, что ж?
Вошь, оно неплохо тождь!
Но на энтой насекомой
Далеко не уплывешь!
Раздобудь мне лучше флот —
Али лодку, али плот,
Раз уж ты такой искусный
В энтом деле полиглот!
Нам к утру, часам к пяти,
Надо быть уже в пути,
Потому как нас в Расее
Заждались уже, поди!..



ПОТЕШНИК

Год прошел, другой идет — воротился домой Федот. А дома-то и нет, торчит один скелет, балки да стропила, да кругом крапива. А под карнизом комочком сизым свернулась птица, лесная голубица...

ФЕДОТ

Ну-ко, женушка, давай
Стол для мужа накрывай!
Доставай мне из духовки
Порумяньше каравай!
Наливай ядреных шей
Пожирней да погуще,
Я кощья стал тощее
От заморских овощей!
В цельном доме никого,
Кроме ветра одного!
Подозрительное дело,
Не случилось ли чаво?..
(Голубица превращается в Марусю)

МАРУСЯ

С возвращением, Федот!
Долго ж длился твой поход!
Аль забыл свою Марусю,
Что не ехал цельный год?
За границей-то, поди,
Развлечений — пруд пруди!
Приглядел, небось, подружку
Да пригрелся на груди!..

ФЕДОТ

Повидал я белый свет,
Жозефин и Генриетт,
Но, таких, как ты, красавиц
Среди них, Маруся, нет!
А ходил я за моря
Хоть и долго, да не зря —
Сполнил всё ж таки заданье
Хитроумного царя!..

МАРУСЯ

Кабы ведал ты, Федот,
На кого ты тратишь пот,
Дак и шагу бы не сделал
От родимых-то ворот!
Ты уехал — он, срамной,
Стал ухаживать за мной,
Уговаривал, охальник,
Стать евойною женой!

ФЕДОТ

Да неужто?.. Ах, злодей!..
Вот и верь теперь в людей,

Вот и стой за честь мундира,
Вот за службу и радей!..
Ну да ладно, я ему
Растолкую, что к чему!
Я его до самых пяток
Распишу под хохлому!..
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперь неча,
Кроме собственных оков!



ПОТЕШНИК

Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседи пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Изнат взял ухват. И все за Федотом — к царевым воротам.

Навстречу им генерал, черт бы его подрал! Подскочил бочком, посверкал зрчком, произвел доклад — и к царю на доклад!

ГЕНЕРАЛ

Там собрался у ворот
Энтот... как его... народ!
В общем, дело принимает
Социальный оборот!
А всему виной Федот,
Энто он мутит народ,
Подбивает население
Учинить переворот!..

ЦАРЬ

Ну, а ты у нас на кой,
С вострой саблею такой?
Мы ж за то тебя и держим,
Чтоб берег царев покой!
Опосля дождя в четверг
Дам ищо медальку сверх,
Только ты уж постарайся,
Чтоб народ меня не сверг!..

ГЕНЕРАЛ

Ишь, медали!.. Большая честь!..
У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине — и то их шесть!..
Охранять тебя от бед
Мне теперь резону нет!
Ты за собственную подлость
Сам должен держать ответ!..



ПОТЕШНИК

Дурило из дурил, а как заговорил! Хоть и злитя царь — а попробуй вдарь! Не такое время, чтобы бить в темя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу — вся Расея налицо!

ЦАРЬ

Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!
Кто хотит на Колыму —
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму!

ФЕДОТ

Что касается ума,
Он светлехонек весьма:
Слава богу, отличаем
Незабудку от дерьма!
Ты пошто меня скорей
Отослал за сто морей?
Не затем ли, чтоб жениться
На супружнице моей?..

ЦАРЬ

Энто где же ты, злодей,
Набрался таких идей,
Чтоб клепать чаво попало
На порядочных людей!
Да к лицу ли это мне —
Приставать к твоей жене?..
Вот и шли вас, обормотов,
В заграничные турне!..

ФЕДОТ

Ты не больно-то серчай, —
Мы к тебе, чай, не на чай!
Ну, а будешь гоношиться, —
Съезжу в рыло невзначай!
О тебе, о подлеце,
Слава аж в Череповце!
Ты всему народу в душу
Наплевал в моем лице!..

ЦАРЬ

Зря ты, Федя!.. Для меня
Мой народ — моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не лется в рот!
А виновник — генерал,
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда,
Честь цареву обмарал!
Пусть он выйдет!.. Где он там?..
Я сейчас ему задам!..
Я сорву с него медальку,
Да медалькой по мордам!..

ГЕНЕРАЛ

Что вы, братцы!.. Я ж за вас
Потерял в атаке глаз!..
Нешто я когда посмею
Супротив народных масс!..
Оправдаю. Отслужу.
Отстрадаю. Отсижу.
К угнетающей верхушке
Больше не принадлежу!..
А виновница — Яга!
Нет опаснее врага!
Перед ней и сам Горыныч —
Так, не змей, а мелюзга!
Ну-ко, где ты, егоза?
Погляди людям в глаза!
Лично я не удержуся —
Врежу саблей два раза!..

ЯГА

Я — фольклорный элемент,
У меня есть документ.
Я вобще могу отседа
Улететь в любой момент!
За жару ли, за пургу
Все бранят меня, каргу,
А во мне вреда не больше,
Чем в ромашке на лугу!
Ну, случайно, ну, шутя,
Сбилась с верного пути!
Дак ведь я — дитя природы,
Пусть дурное, но — дитя!

Коль судить — дак тех двоих,
Соучастников моих.
Энто я по виду нечисть,
А по сути чище их!..

ФЕДОТ

Ну и ушлый вы народ,
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
Хоть вобще расейский люд
На расправу и не лют,
Но придется мне, робята,
Учинить над вами суд.
Мы посадим вас в бадью,
Кинем в море и — адью!
Обойдетесь и бадью,
Не давать же вам ладью!
И неси вас окиян
Прям на остров на Буян!
Ну, а чтоб не одичали,
Вот вам личный мой баян.
Правда, он — моя вина! —
Не играет ни рожна,
Но какая-никакая,
А культура вам нужна!
А теперь, честной народ,
Вынь-ка рожки из бород!
Чай, у нас не панихида,
А совсем наоборот!
Нам теперь не слезы лить, —
Песни петь да меды пить!..
Ну-ко, встань передо мною,
То-Чаво-Не может быть!..

ГОЛОС

Я давно уж тут стою,
У крылечка на краю,
Жду, покамест ты закончишь
Совещанию свою!..

ФЕДОТ

Угости честной народ
От заморских-то щедрот!
Чай, они таковой пищи
Отродясь не брали в рот!
Предложи им наяву
Самаркандскую халву,
И турецкую фисташку,
И персидскую айву!
Ставь на скатерть все подряд —
Шоколад и мармелад,
И голландскую грудинку,
И чухонский сервиз!
Не забудь швейцарский сыр!
Тот, который весь из дыр!
Закати нам пир на славу,
Каковых не видел мир!
Ну, а коль попросит кто
Бражки граммов эдак сто —
Так и быть!.. Севодня можно!..
Слава богу, есть за что!..



ПОТЕШНИК

Был и я на том пиру, ел зернистую икру. Пров ел плов. Филат ел салат. Устин ел галантин. А Федот-стрелец ел соленый огурец. А как сел он огурец — тут и сказке конец! А что сказка дурна — то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак — ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!..

20-я КОМНАТА

Тревожные проблемы
с точки зрения молодежи

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Почему практика становится для студента
временем безделья?

Почему в магазинах нет модной молодежной
одежды и обуви?

Что предпринимается, чтобы грампластинки
не выпускались с десятилетним опозданием?

Монолог бывшей пионервожатой, которая
не захотела лицемерить.

Рисунки М. Златковского



«20-я комната» представляет автора, «критические отзывы о котором в прессе во много раз по объему превышают количество опубликованного» («Литературная газета», 1985 г.), «книгу которого вот уже несколько лет ждет молодой читатель» («Литературная учеба», 1984 г.), «стихи которого никак не могут найти дорогу к читателю» («Вопросы литературы», 1986 г.), стихи которого принадлежат к той поэзии, которую «ругают даже не читая, по традиции, по инерции» («Юность», 1986 г.).

Речь идет о московском поэте Александре ЕРЕМЕНКО. Итак, ему слово:

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ В ЛИТЕРАТУРЕ

В 1974 году, получив вызов на экзамены в Литературный институт, я купил учебник немецкого языка и свел с правой руки флотскую татуировку.

Первое впоследствии оказалось проблематичным, а второе... забавным. Забавным потому, что ситуация в то время в Москве походила на ситуацию «СПАСАЙСЯ — КТО — КАК — МОЖЕТ!». Бурное литературное море кишело разбегающимися по всевозможным шхерам спасательными средствами. Флагман моего воображения, трехпалубный фрегат с гордым названием «СИНТЕЗ ПОЭЗИИ, ФИЛОСОФИИ И НАУКИ» на моих глазах стремительно погружался в пучину основного противоречия социализма: планирование производства и стихия рыночного спроса.

И печально наполнилась душа моя.

Как ни грустно сознавать, выражение «поэзия должна быть» возведено у нас в методологический принцип. Его можно услышать и от молодого автора, и от маститого литературоведа. В разговорах о стихах мы сплошь и рядом пользуемся этим выражением. Вроде бы пустяк. Но некорректность посылки влечет за собой лавину недоразумений. Оказывается, поэзия нам уже что-то должна.

Все время должна, должна... Пока мы не привыкнем говорить «поэзия может быть» такой-то и такой-то (может быть зловещей, а может и не быть), и не просто говорить, а понимать как методологический принцип, литературоведческая дубина будет вдребезги разносить любые попытки обновления поэтического языка. А регулировщики от критики будут уверенно загонять по шхерам и фиордам «снующие джонки» поэтических образов. И насколько поэтический образ (как «дао, выраженное словами, не есть постоянное дао») неуловим по своей сути, настолько он развязывает критику руки для любого вулгарного толкования. Зависимость здесь четкая. И планка уровня, на каком говорят о стихах, с каждой пятилеткой опускается все ниже. Как только не определили мои стихи: «научные», «металлические», «модернизм», «абсурдизм», «гротеск», просто «ерничество»!

Ни здесь, ни дальше не назову ни фамилий, ни издательств. Не из боязни нажить врагов. Из боязни свести общую беду нашу к частному случаю. В котором очень легко найти виноватого стрелочника, расправиться с ним и успокоиться: корень зла найден и вырван. «Идеология и психология застоя», о которых на январском Пленуме сказал М. С. Горбачев, «казенщина и формализм», в результате которых снизились критерии в оценках художественного твор-

чества», — явление повсеместное. Это он, Редактор, заявлял моему другу, когда тот принес в издательство стихи в моем переводе: «Мы вас никогда не будем печатать, потому что вы с Еременко модернисты». Ничего себе конструкция? Просто с точки зрения формальной логики?

Разумеется, какие-то ориентиры нужны. Но откуда их взять, если у нас в один день забыли старое доброе понятие «школы»? Ведь при единстве творческого метода должно какими-то понятиями обеспечиваться в литературоведении и критике многообразие творческих индивидуальностей? В других искусствах понятие «школы» осталось и работает. А наши многострадальные критики вынуждены до сих пор изъясняться на жаргоне. Я чуть под трамвай не попал, когда вычитал в газете словечко «мастеровитый» писатель. Вроде еще не «мастер», но уже «деловитый», да? А раз нет терминологии, нет понятия школ и направлений, которые разграничивали бы поиски по стилистическим признакам, молодая поэзия отдается на откуп разного рода спекулянтам от критики, каждый из которых волен безнаказанно обвинить кого угодно и в чем угодно: в пессимизме, в отсутствии корней, в элитарности... Даже в бесчеловечности. Один известный поэт обвинил на Московском совещании молодых писателей члена своего семинара в бесчеловечности. Это удобно делать, предлагая представителю одной школы платить по счетам другой. «Шура, заплатите за кефир!» И Шура платит. Или годами молчания, или псевдогражданскими стишками. Только у нас могла сложиться такая головокружительная ситуация: отставание языка описания поэзии прогнозирует отставание самой поэзии. Печатной, разумеется. Потому мы до сих пор не знаем ни поэзии концептуалистов, ни поэзии примитивистско-смирновского направления. Для них ящик еще не сколотили.

Но это пока, как говорят в Одессе, разговор «мимо денег». Ведь мы пока говорили о тактике неприятия и подавления опубликованных стихов. Этой тактикой уверенно пользуются хранители своих нор и шхер. А кому они вообще нужны, их норы? «С нищих, что с них сжухить?» Никто уже давно не претендует ни на их, если можно так сказать, духовный багаж, ни на их нашивки вахтеров. А они все трясутся над этим багажом, опасаясь, одни, наверное, налепчиков от НТР, другие — классических погромщиков. Причем буквально. Один такой «любитель белозубых стишков» заявил, что я со своими метафорами способен совершить отцеубийство. Вот логика профессионального молодого редактора. На таком уровне приходится общаться. Они ревностно охраняют свою кудую духовность от НТР-реалий. Раньше-то они ее приветствовали, НТР, потому что понимали ее как дешевое нашествие пластмассовых ложек и телевизоров. Но — «не так страшен черт, как к нему влечет»!

Да. И опечалилась душа моя. Потому, что сейчас придется говорить о самом печальном. Конечно, многие оригинальные ощущения испытывает автор не тогда, когда удастся напечататься. Напечататься — это полбеды! Самые потрясающие сцены разыгрываются на подступах. И здесь открываются такой театр, такой разгул цинизма и безнаказанности, такие типы, такое сочетание невежества и коварства, такие бездны человеческого падения, что дать полную картину под силу только перу гениального писателя. Может быть, я не прав? Категорично высказываюсь? Тогда пусть в меня первым бросит камень тот, кто ни разу не покривил душой, не пошел на поводу у издателя или не закрыл глаза на явную подлость. «Театральный роман» — идиллия по сравнению с тем, что творится в нашей редакционно-издательской практике. А здесь творится, я не боюсь этого утверждения, самое страшное — растение начинающего автора, еще не твердо стоящего на ногах и впервые сталкивающегося со сферой жизни, который он решил посвятить себя. Но он не подозревает, что законы существования в этой жизни специфические и некоторые ее моменты тщательнейшим образом скрываются от него. Более того, он может достичь определенных успехов, стать известным, но и сходя в гроб, остаться в неведении относительно того,

какие тайные пружины движут аппарат, с которым он пришел в соприкосновение. Во всяком случае, видимая его часть примитивна. Но зато надежна. Автор молод, чист и безгрешен. Аппарат опытен, давно отлажен, проверен на сотнях таких авторов и, хоть покрыт грязно-бурым налетом, работает безотказно, а грехи его столь велики, что он уже фатально не может работать по-другому, перестроиться, как говорят сейчас.

Автор, кладущий дрожащей рукой рукописи на столы редакторов, думает еще по наивности о том, насколько талантливы его стихи, и напечататься для него — утвердиться в своих надеждах. Аппарат (это так, молодой автор, это так!) видит за версту, не зная еще твоих стихов, талантлив ты или нет. И вопрос твоего печатания для него — вопрос двинуть или не двинуть пешку в той сложной игре, не на жизнь, а на смерть, какую он ведет. Автор талантлив — аппарат бездарен. Автор наивен — аппарат циничен. Автор циничен — аппарат наивен. Автор образован — аппарат безграмотен. Автор безграмотен — аппарат образован. Он отрегулирован безошибочно. Есть такая серая точка на шкале, где автор и аппарат уравнены. Но в этом случае никто ни от кого ничего не получает. Конфликта нет. Но чем талантливее автор, тем мощнее отталкивает его аппарат. И наоборот, чем посредственнее, тем аппарат сильнее притягивает. Гения аппарат не принимает вовсе, поскольку не принимает всерьез. То есть просто не замечает, он для него не существует. Так же, как аппарат не существует для гения. Он его тоже не замечает. Аппарат и гений не нуждаются друг в друге (просто гений создает новые структуры: Ломоносов — Университет, Пушкин — «Современник», Высоцкий — магнитофонную культуру).

С тех пор как редакционно-издательская деятельность оказалась у нас перевернутой с ног на голову (автор для издательства, а не наоборот), инициатива оказалась в руках издателя. Литература всегда проигрывала в этом противостоянии. А бюрократический аппарат, «застаиваясь» (а я скажу — «сплачиваясь»), обнаружил тенденцию слить в одной инстанции три ипостаси: Автора, Редактора, Издателя (в лице рецензента поступающей рукописи). И вот, удачно «застоявшись», он начинает противостоять всему живому в литературе. Известно, что у нас не готовят в достаточном количестве специалистов по редактированию. Еще немало редакторов, плохо подготовленных профессионально. 99 процентов рецензий пишутся очень приблизительно («Дорогая Ира, Ваша муза слишком робка. С приветом, такой-то»). Эти люди, неуверенные в своей компетентности, становятся перестраховщиками. И не надо много говорить о какой-то мифической «цензуре». Зло не так привлекательно, как, может быть, кому-то хотелось бы. Годами работая по принципу «как бы чего не вышло», они объективно поставили мощный заслон молодой литературе. Это факт, что об этот бетон разбилось предшествующее нам поэтическое поколение. Десятилетия бюрократический аппарат, кивая головой наверх: «Там не пропустят...»,вольно или невольно добился своего. Во-первых, он развратил большую часть нашего поколения (30—35-летних). Она разложилась тогда, когда изобрела эзоповский язык, явление безобразное тем более, что развилось его поколение, пришедшее за «шестидесятниками». Эти поэты так научились шифровать свое отношение к негативным явлениям, что «второе дно» исчезло, догадываться стало не о чем. Во-вторых, он наплодил массу безнравственных авторов (в одной руке ура-патриотические лозунги, в другой — ернические басни). В-третьих, он объективно спровоцировал «самиздат», который не только погубил многие головы, но и расколол молодежь на этой почве. В-четвертых, он же, демонстрируя внутри литературного процесса во всем блеске коррумпирование общества, породил полудиссидентские настроения, отбивая чувство гражданской активности. Не отважившись и в шестидесятых хлебнуть крутого кипятка, до сих пор дуют на воду.

У них (критиков и издателей в одном лице) еще хватало цинизма 10—15 лет рассуждать глубокомысленно, есть молодая поэзия или нет! Стихи моих зна-

комых годами лежали в редакциях — поэзии не было. Недавно опубликовали подборки и книжки — три года не могут остановиться в дискуссиях, какая это поэзия, черная или белая, правая или левая. Сейчас будут пять лет перебирать 10—15 имен и — проспят (или загубят?) еще одну волну. Пора остановиться в говорильне хотя бы тем, к кому мы еще прислушиваемся, и просто помочь нам расчистить, не в статьях, а конкретно, как дворник с лопатой, все, что мешает тем, кто действительно молод. Кому сейчас по 18—20 лет! Они любят рассуждать о «серой» поэзии, которая «хлынула». Эстет! Серой поэзии они испугались. Всегда была «серая» литература! И будет. Это признак того, что общество на достаточном уровне культурного развития и демократии. Бог с ней, с «серой», печатайте настоящую. А на деле они боятся вещей куда более привлекательных для их карьеры и зарплат. Один поэт сказал на редколлегии, что нельзя печатать предлагаемую подборку авторов: это, мол, заметят на Западе. Запада он испугался. Да ни черта он не боится, ни Запада, ни Востока, ни Севера, ни Юга... Он боится, что просвещенная публика перестанет слушать его байки о том, как он пил водку с классиками советской поэзии. Почему они вовремя не испугались комсомольского классника, убившего подругу, чтобы сохранить свою карьеру? Не они ли развратили его ура-комсомольскими стишками, лакирующей литературой? За государственный счет. То Запада они боятся. То снежного человека боятся. А друг друга они не боятся, когда публично заявляют, что рок-музыка — это проявление «сатанизма»?

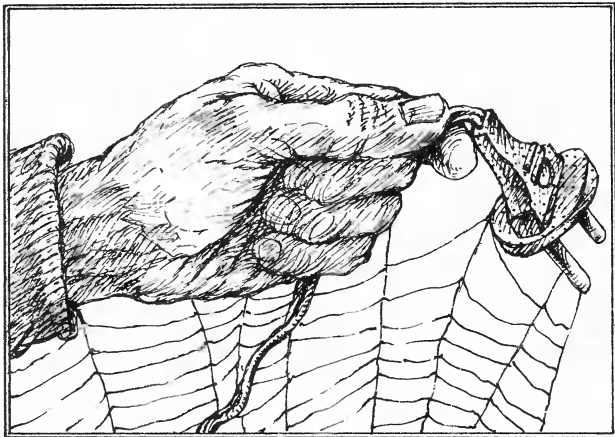
Сами воспитанные в обстановке редакторского произвола, они и молодежь приучили говорить с издателями «на пальцах», все делать по знакомству. Вот и ходит автор вокруг редакции годами, заводит знакомства с метрами и влиятельными собутыльниками. Заскидывает. Автор стесняется, побаивается. Потому у нас и не находит достойного художественного воплощения эта тема. Может быть, в фильме «Голубые горы» что-то намечено... Ведь аппарат по сравнению с автором обладает большей «степенью свободы»: волен отдать рукопись «на заруб», волен поставить в план, волен выбросить книгу из плана. И сколь бы ни вопили со страниц газет и журналов о «серой» поэзии, сколько бы ни мудрствовали, приходится согласиться с тем потрясающим фактом, что литературный процесс зависит не от литераторов и просвещенных критиков, а от конкретных маленьких людей, от бюрократической машины. Эти конкретные люди определяют и прогнозируют уровень и тенденции в литературе. Дикость — но факт. Это мы знаем, отвечаю мне, ухмыляясь, просвещенные критики. И знаем многое другое. Так в таком случае прекратите, отвечу я, тот стриптиз, который вы развели в прессе по поводу молодой поэзии. Молчите по крайней мере. Ведь это не мы разглагольствуем о «тенденциях», о поколениях, которые «нашли» или не «нашли себя», «отразили» или «не отразили». Да я сейчас могу назвать десяток имен, которые украсят любую, повторяю, любую литературу (например, недавно заявившие о себе Н. Искренко, П. Смирнов, Ю. Арабов, А. Волохов...).

Принято говорить, что молодой литературе оказывается «неустанное внимание». Не надо «неустанного», просто обратите внимание! Ведь ясно же, что все эти Совещания, Семинары, Комиссии не служат главному: выявлению талантов. Даже недавний Форум творческой молодежи в Москве некоторые его организаторы попытались заорганизовать, влить в старое бюрократическое болото. То же самое делается с Клубом поэзии. Если там и будут найдены новые формы работы с молодежью, то только через полное отъединение от редакционно-издательской бюрократии. В том виде, в котором этот аппарат сейчас существует, он или требует полного подчинения или провоцирует на бойкот. Приходится признать, что у Союза писателей нет опыта работы с молодежью. Факты — вещь упрямая. А они говорят о том, что за редчайшим исключением все обратившие на себя внимание книги невероятно долго, до безобразия, преступно долго мариновались в издательствах. Нужны кардиналь-

ные меры, которые гарантировали бы нормализацию обстановки. На десятилетия вперед! Нужна независимая Государственная коллегия рецензентов, неподдомственная редакторам и издателям. Нужен журнал, обеспечивающий гласность в деле защиты авторских прав. Нужен юридически полновесный орган — Профессиональный комитет литераторов. А нам вместо этого предлагают бесчисленные литобъединения и менторские рассуждения, что в литературу не входят валом, что это дело интимное. Она и будет оставаться интимным медленным самоувлечением автора, если ему будут противостоять «валом».

Мои заметки были бы неполными, если бы я не сказал здесь еще об одной вещи, с которой сталкивается молодой литератор. Это мой личный опыт, почему бы им не поделиться? Выше я говорил о понятии «школы». Конечно, это несбыточные фантазии. У нас, на существующей почве, даже понятие направления не приживается. У нас нет направлений, есть антагонистические группировки. Не конкурирующие, отнюдь!.. И разделение здесь, увы, проходит совсем не по эстетическим или другим признакам. Не знаю, на какой уровень должна быть поднята гласность в стране, чтобы осветить этот факт хотя бы в сфере околολитературных интриг. Может быть, этот уровень и достаточен. Не знаю. Но любые разговоры о литературном процессе сегодня всегда будут детскими, если обходить эту проблему.

Меня мало волнует теоретическая подоплека вопроса. Я пишу о судьбе молодого литератора. И я вижу, как определенный круг писателей, критиков и поэтов, объявив себя держателями акций национальной идеи, насаждают политику травли в литературе. И активно пытаются воздействовать в своих интересах на молодежь. То, что им ничего не стоит поставить на одну доску выдающегося барда и популярную певицу, — это их личные трудности. Но то, как они обולванивают подрастающую смену, играя на самых непривлекательных чувствах, — это дело уже не личное. Не знаю, какой хитрой формулой они снимают противоречие между марксистским мировоззрением в одном кармане и ксерокопиями астрологических таблиц и прочей литературы — в другом. Я наблюдал, как молодой человек, входящий в литературу, через два-три года под их влиянием избавлялся от всяких противоречий и внутренних конфликтов. Разумеется, и творческих тоже. Как быстро ему, качающемуся на нестабилизированной палубе московской культурной жизни, быстро и грамотно подсовывали удобную теоретическую платформу. И как потом он с лицом, не обезображенным мыслью, удобно устраивался на ней: в одной руке публикации, в другой — нехитрый лозунг. Как быстро он переставал думать и интересоваться чем-либо, уверенно сводя любой спор на накатанную тему. До творчества ли тут! Ведь он — член некоего могучего клана, борец за идею, существование его оправдано. А то, что его в любой момент могут использовать как пешку в игре, как затычку, просто как закорючку подписи в кляузе, так это... Некоторые оказываются пособразительнее, они активно стремятся занять посты в редакциях и издательствах и, используя прикрытия более именитых, откровенно и целенаправленно стараются «не пущать» кого не надо на страницы журналов. Этот тип появился совсем недавно. Он тоже может написать свои «Двенадцать лет в литературе». Эти люди уже способны на все. Они полностью сформировались в обстановке царившей коррупции и продажности. Они решили влиять на литературный процесс серьезно и основательно. Это уже не литература. Это мясорубка. Кому выгоден этот раскол, я не знаю. Знаю только, что талантливый человек в начале пути неизбежно попадает в ситуацию, в которой ему в жесткой форме предлагается выбрать: или — или. И от выбора зависит его дальнейшая судьба. И поэтому зачастую «гражданственность» литературы называют элементарную «социальную рефлексию». «Сапоги тачает пирожник». Иначе и быть не может, если у нас писатель занимается проблемой поворота северных рек, прокурор пишет стихи, а поэт драктикует траволечение...



КАК ЗАВАРИВАТЬ ЧАЙ...

Записки практиканта

Все начинается с мечты. Родители мечтали о сыне — и появился я. Я мечтал поступить именно в этот институт — и поступил. Теперь на очереди мечта принести пользу, делая любимое дело, дать наконец выход знаниям, ведь недаром надо мной трудились десятки профессоров...

И вот началась долгожданная преддипломная практика. Мы замороженно ходим из отдела в отдел, из лаборатории в лабораторию, восторженно рассматриваем новую технику, слушаем горделивые речи о достижениях и... натыкаемся на неизменный вопрос очередного начальника, решающего, кого брать к себе: «А что, ребята, руками работать умеете?» Но как раз этому нас не учили, и мы шли в следующий отдел. Никто не спросил: «А что, ребята, головой работать умеете?» Слово голова уже не в почете.

В конце концов нас распределили по лабораториям волевым порядком. В отделе встретили радушно. Полдня отдел не работал: мы знакомились. Я узнал, чем хорош наш отдел и чем плохи другие. Много говорили о перестройке. Даже спорили.

Начались мои трудовые будни. Первый день присматривался, пытаюсь понять, кто чем занят. Но так и не смог. Через час мои наблюдения были прерваны ритуалом заварки чая и его коллективным поглощением. Еще через пару часов мы так же коллективно пошли обедать. Вернувшись, вспомнили о вчерашнем выступлении М. С. Горбачева. Еще раз обсудили проблему зарплаты инженеров и проблему перестройки. Сообща решили, что перестройка — дело трудное, но необходимое и делать ее нужно всем вместе. Через час беседы ритуал чаепития был повторен.

К концу первой недели понял, что моя незанятость никого не волнует, поэтому, вспомнив древнюю мудрость про гору и Магомета, я подошел к задумчивому начальнику. Скромно поинтересовался, как работает агрегат, над которым ломают голову в отделе. Услышав произнесенный в ускоренном темпе набор незнакомых слов и терминов, я понял, что подключиться к «ломанию головы» в ближайшем будущем не смогу. Ответив, начальник тотчас забыл о моем существовании и опять задумался. Я тоже стал размышлять, не пора ли академикам, что нас учили, на пенсию и зачем мы зубрили никому не нужные лекции?

Как-то в перерывах между чаем обсуждали статью о клубах по интересам. Решали, нужны ли они инженерам. Все решили, что нужны. Я же думал, а зачем нам клуб? Все интересные проблемы можно обсудить здесь. За день так наговоримся, что после работы разлетаемся без оглядки по домам, падаем на дива-

ны, к телевизорам, и не хочется, и не может быть больше ничего обсуждать.

Еще дней десять я ненавязчиво бродил по лаборатории... Недели две спустя, вооружившись ножовкой, я соорудил себе из древесностружечной плиты сиденье и моим хождениям настал конец. Я сам создал себе рабочее место и получил возможность сидеть не тогда, когда кто-либо встанет, а когда хочу.

Задумчивый начальник, видимо, понял, что от меня так просто не избавиться, посоветовал пойти в библиотеку и поштудировать учебники. Не слушая мои уверения, что я этим занимался пять лет в институте, да и сейчас дома отдаю должное книгам, он настоял.

Пошел второй месяц моей практики. Один за другим менялись дни, менялся десерт к чаю... В читальном зале я встретил таких же, как я. Они увлеченно «штудировали» Пикуля, Хруцкого и пр. Хозяев этих книг, как и меня, «сослали» сюда, чтоб не мешали. Обмениваясь информацией, мы узнавали о судьбах других. Больше всех повезло тем, кто «умел работать руками» — пасть или печатать. Головы, как таковые, отяжеленные пятилетними институтскими знаниями, не требовались вовсе.

Твердо решил научиться этим двум ремеслам. Но, услышав треск печатных машинок и смех наших машинисток с высшим техническим, понял, что мои услуги в этой области не понадобятся. За полтора месяца уже усвоил, что за чаем легко решать самые трудные вопросы. Едва за очередным чаем я заикнулся о том, что неплохо бы мне дать работу, задумчивый начальник тут же ее нашел. Я стал курьером. Относил один документ в один отдел, другой в другой, брал одну бумагу в одном, другую в другом и нес обратно.

Полтора месяца безделья так вымотали меня, что радовался и этой несложной деятельности. По дороге я встречал недавних знакомых по библиотеке. Они тоже были очень довольны. Одни переносили приборы, другие искали неких сотрудников, которых не может найти даже сам завлаб.

Окончив «курьерское образование», я в последний раз решил спросить начальника, когда смогу наконец приступить к научной работе, чтобы отточить полученные в вузе знания. Задумчивый начальник взорвался: «Мы здесь не в игрушки играем! Мы должны двигать науку. А тут ты еще! А насчет плана практики... — он выругался. — Ну ты, что, маленький, что ли? Сам написать не можешь? Возьми план отдела и «сдуй» его себе в тетрадь. Учись думать!» И начальник вновь погрузился в свои мысли.

Пошел третий месяц практики. Недавно поймал себя на мысли, что начинаю забывать названия экзаменов и предметов, которые пришлось сдавать в институте. Знания, которые поначалу требовали применения, теперь за ненадобностью забывались.

Недавно неделю не был в отделе. Придя, спросил: «А что, меня не спрашивали?» Мне ответили: «А что, тебя вчера не было?»

Что ж, мне такая жизнь начинает нравиться. С начальником мы сейчас прекрасно друг друга понимаем. Я понимаю, что ему нужны покой и работа, а он понимает, что мне нужен диплом. Полное взаимопонимание. Я тихо сижу в своем углу, он в своем — все довольны.

О чем я сейчас мечтаю? О столе у окна. Вот скоро защищу диплом, получу право на место под солнцем. Обязательно займу стол у окна. А пока завидую его хозяину, который целый день имеет возможность с еле скрываемым азартом наблюдать игру в футбол между специалистами нашего и соседнего НИИ на спортплощадке во дворе. Правда, нелегко решить эту проблему, но и не такие трудности преодолевали. Ведь за моей спиной долгие годы учебы в институте и долгие месяцы практики, кое-чему меня научившие.

Да, кстати, я научился отлично заваривать чай.

Вадим СНЕЖИН, практикант

Когда составляли расписание в институте, где учится студент Снежин, спорили из-за каждого часа:

сколько отвести на «урматы» — уравнения математической физики, сколько на «термех» — теоретическую механику, а сколько на «тервер» — теорию вероятностей, сколько на «фортран» и как выкроить хоть несколько часов на молекулярную электронику?.. А тут вот раз — и одним взмахом четыре месяца впустую. Зачем она тогда нужна, эта практика, если будущий фармацевт сто дней перекладывает коробки на складе, а будущий электронщик постигает курьерскую науку? Попробуйте заставить любого западного студента приобретать подобные «знания». Еще бы, он платит за обучение из собственного кармана. А мы отчего так роскошествуем, обрекая десятки тысяч студентов на бессмысленное времяпрепровождение? «Однако, — воскликнул в Минвузе, — не надо обобщать! Случай, приведенный вами, не типичен». Что ж, решили мы в «20-й комнате», — нужно голосовать.

Просим всех старшекурсников и выпускников вузов и техникумов, прошедших преддипломную практику, **СРОЧНО СООБЩИТЬ**, ссылаясь на собственный опыт: **ТИПИЧЕН** или **НЕ ТИПИЧЕН СЛУЧАЙ С ПРАКТИКАНТОМ ВАДИМОМ СНЕЖИНЫМ**. О результатах голосования «20-я комната» известит Министерство высшего и среднего специального образования СССР. На конвертах делайте пометку «ПРАКТИКАНТ».



ОДЕЖДА И НАДЕЖДЫ

На первом заседании студент журфака Сергей Чапнин рассказал нам о своей встрече с фарцовщиками. Мы пришли к выводу, что, кроме взывания к совести фарцовщика, надо бороться с ним предметно, наполнив магазины модными, хорошего качества товарами. Корреспондент «20-й комнаты» отправился в командировку, получив задание модно одеться в обычном универмаге.

Скучно в очереди. Закрыв глаза, представляю: огромный, светлый магазин, заваленный супермодной одеждой и обувью, бижутерией и кожгалантереей, улыбающиеся продавцы, отсутствие очередей...

— Эй, кто 1273-й?

Вздрагиваю. 1273-я — это я. В очереди за луноходами. Правда, говорят, они из моды уже выходят, но, что поделаешь, задание надо выполнять.

Ах, уж эта мода! Кроме упомянутых луноходов и ботинок «Цебо» в учебно-производственном магазине «Рязань» Текстильшвейобувьторга, рязанские прилавки и торговые залы блистали полным отсутствием хоть сколько-нибудь модных вещей.

Скучно в очереди. Размышляю над тем, что даже в средневековье к моде относились серьезно. Даже слишком. Попробовала бы горожанка надеть платье не того цвета и не из того материала, которое было предписано носить ее сословию. Закидали бы камнями... Заветные двери все ближе и ближе. Но очередь волнуется. Кричат: «Выдавай по одному!» На номере 1042 луноходы кончаются. Расходимся. Кто за чем, я — за модой.

— Ну что вы, девушка, — объясняет мне старший товаровед магазина «Рязань» Валентина Ивановна Юкина, — какая мода! О чем вы говорите! Почти все, что мы получаем из оптового предприятия Росторг-одежда, — серые вещи... Не в смысле цвета, — гасит она мой восторженный взгляд (серый, бежевый, сиреневый — цвета сезона), — по модности, качеству, спросу.

Что же все-таки покупают?

При мне две женщины купили куртки типа «алаяка» Кировской швейной фабрики; долго стояла и примеряла изделие Шацкой фабрики одна симпатичная девушка, но отошла — цвет неяркий. В обувном отделе счастливицы дохватывали «цебовские» ботинки.

«Увы, — вздыхают в «Рязани», — план выполняем только за счет импорта. Вот на этих чешских ботинках и луноходах должны были за два дня план на 52 тысячи рублей сделать».

Тяжелая это работа: продавать другим то, что сам никогда не купил бы...

Говорят, есть в Рязани одна светлая надежда: салон «Мода», но очереди — не пробьешься, да и опять-таки очень мало там модных вещей.

Что же остается делать молодому рязанцу? Ждать, когда построят в новом районе Дашково-Песочная ателье молодежной моды? Или опять искать фарцовщика?

Помятся от народа в выходные и в будни электрички. Едут за товаром в Москву, Ленинград, Ригу. Ну, а почему людей приходится возить к товару, не проще ли — товар к людям? Размышляю над этим, прижатая к стеклу в переполненном вагоне. Вспоминаю унылые ряды никому не нужной одежды в универмаге. Столько усилий потрачено, столько денег заплачено, а в результате... Есть ли совесть у тех, кто кроит и шьет? Наверное, есть. И наверняка считают, что не они виноваты. А тогда кто? Не нахожу ответа.

Вероника МАРЧЕНКО,
студентка журфака МГУ.

В следующую командировку «20-я комната» отправит своего корреспондента на фабрику, к тем людям, которые «кроют и шьют». Но, может быть, кто-то из них рвется сейчас на наше заседание, чтобы объяснить: совесть есть, а причины того, что приходится делать плохую и скучную обувь и одежду, совсем в другом. А в чем, собственно?! Может, наберется смелости кто-нибудь из молодых людей, стоящих у конвейера, и расскажет, как удается получить «прогрессивки» и премии за выпуск товара, который никто не берет? Особенно важно выслушать это мнение сейчас, когда вводится государственная приемка продукции. Право на слово в нашей комнате имеют все.

ИГРЫ В ПРЯТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Я пионерская вожатая.

Каждый вечер за моим окном зажигаются полуметровые буквы «СТАНКИ ИЗ ГДР». Я не понимаю этого высказывания. Кому оно адресовано? Какова его цель? Где-то в глубине моего сознания эти холодные неоновые буквы воплощают что-то большое, непонятное, абсурдное...

Сегодня закончилась моя карьера пионервожатой. Я ужоу, потому что не вижу смысла в том, что делаю. И больше не могу врать себе и детям.

Один пионер из седьмого класса сказал мне, что в Дом пионеров больше не пойдет, что «там все врут». Он перестал верить. Всегда верил, а сейчас перестал. В свое время мне хотелось сказать, кто этот мальчик, но я не сказала. И никто не сказал. Мы все чего-то боялись. А этот мальчик был искренен. Он нормальный ребенок, но плохой пионер. Что лучше? На совете дружины с ним как бы про себя согласились и дали другое поручение.

Но я решила начать разговор прямо...

А тут распахнулась дверь пионерской комнаты, впускающая из коридора звуки рок-музыки. Как сказали по радио, «рок — это социальное явление». Под это социальное явление вошли пять пионеров из седьмого класса.

— Нам 14 лет,— начали они вызывающе,— по новому положению мы не пионеры. Что, можно галстуки снять?

— Да,— сказала я.

Они остались довольны, стянули галстуки и вывалились, притупив дверь тяжелый рок.

— Как вы думаете,— спросила я у совета дружины,— почему эти ребята рады, что избавились от галстуков? Неужели все такие?

— Почти,— отвечали они.

— А зачем тогда вам пионерская организация?

— Надо.

— Зачем? Объясните.

Ни один не смог сказать чего-то конкретного. Я продолжала разговор:

— Вы — совет дружины. Вы — орган управления. Но ни все вместе, ни по отдельности вы не можете сказать, зачем вам пионерская организация, в которой вы состоите пять лет. Вы старшеклассники, в этом году будете вступать в комсомол. А зачем? Зачем вам комсомол, каждому в отдельности, как личности?

Они отвечали не по одному. Диалоги были в общем-то похожи, как близнецы:

— «Зачем? Не знаю.— Но ведь ты вступаешь? — Потому, что нужно.— Зачем? — Не знаю. Все вступают...»

Зашла в учительскую... солнце, зеленые занавески, у всех замечательное настроение. Пересказала разговор с пионерами. Учителя возмущались, как же это: дети не могут ответить, зачем им комсомол?!

— Ну и что? — вступила в беседу молодая учительница. — Я тоже на этот вопрос не знаю, что отвечать.

Хочу понять, во имя чего тогда молодые люди проносят громкие слова, демонстрируют свое воодушевление публично, потом посмеиваясь над этим в другой обстановке? Ведь так же было не всегда. Можно ли преуменьшить роль комсомола на заре Советской власти? Первые пятилетки... Сороковые роковые... Чувства и слова были искренними. Сегодня что-то изменилось.

Самым ужасным в моей пионервожатской карьере был момент, когда почувствовала, что учу детей фальшивить, декларировать лозунги и речевки, превращая сокровенное чувство любви к Родине в то, что нужно постоянно обсуждать, доказывать, демонстрировать, пока смысл перестанет доходить и они станут глухими к этим словам. Опустеют их души, образуется иммунитет к надоедливому внушению любви. В образовавшейся пустоте может появиться что угодно, ибо это дети и осмыслить жизненные явления им тяжело. Поэтому каждый причаливает к тому берегу, который соответствует его уровню: панки, металлисты, фарцовщики и прочее.

...Снова совет дружины. Всех детей я знаю хорошо. Председатель, художавый, коротко подстриженный мальчик, гарцует на совете, но я знаю, что дети его не любят, а для него — удобный шанс отыграться за эту нелюбовь. Эта должность его калечит, потока не нормального честолубию. Он официальный лидер. Он им стал потому, что никто больше не хотел и все равнодушно проголосовали за него. А власть, вернее, имитация власти, совсем испортила этого слабого ребенка.

Я спросила его как-то:

— Федя, для кого ты произнес речь, тебя же никто не слушал, и мало кто понял из ребят.

— Для вас,— ответил он, раскачиваясь на стуле и улыбаясь солнышком. Что будет с ним дальше? У него еще не сформировались волевые установки, понятия о чести, совести, но он уже искусственно поставлен в условия, когда необходимо приказывать, осуждать, оценивать поведение сверстников... Не воспитываем ли мы этим моральных уродов, двуличных конъюнктурщиков, демагогов? Так думаю я, пионерская жоатая.

Включаю радио. Боярский и Резников с сыновьями поют «Песню про динозавриков». Ам, ам! О чем это? Что это? Столько серьезных неразрешимых проблем! А тут какие-то животные радости: ам, ам! Зачем это? Не знаю.

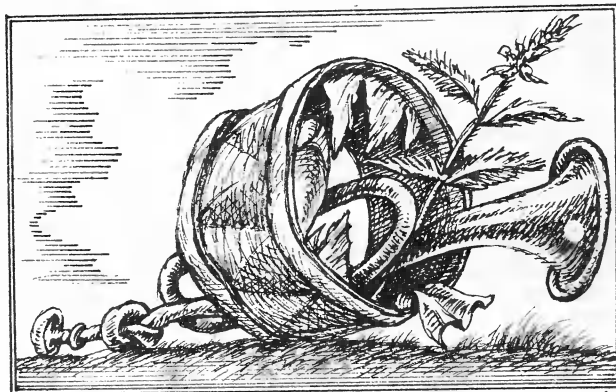
Я вообще многого не знаю. Окончила школу, но у меня такое ощущение, что у меня специально отнимали время, чтобы я не могла ничему научиться. У нас всеобщее среднее образование, но зачастую после десяти лет обучения у человека оседает в сознании какая-то хаотическая информация, никакого отношения не имеющая ни к понятию «знания», ни к реальной окружающей жизни. Я знаю двадцатилетних женщин, которые твердо убеждены, что, если вода кипит в кастрюле сильнее, мясо сварится быстрее. Одна из них даже медалистка.

Знания в школе даются поверхностные, уроки неинтересны, ученик больше заинтересован в отметке, чем в знаниях. Выпускники в большинстве своем не знают ни одного иностранного языка, помнят из физики и математики набор формул, совершенно не разбираются ни в музыке, ни в изобразительном искусстве... А если к этому добавить физическую слабость у большинства, то получается образ какой-то бабочки-однодневки.

Некоторые методы воспитания меня удивляют до сих пор. В школе, где я училась (она была экспериментальной, директор — заслуженный учитель РСФСР), дежурный ученик в первом классе писал на специальной перфокарте, кто и каким образом нарушил дисциплину, а учительница составляла картотеку. На другой день тот ученик, который попался накануне, конечно, стремился отомстить. Вскоре все дети были втянуты в эту страшную игру, которая, может быть, для них уже никогда не кончится. Конечно, в семь лет это делается не сознательно, но со временем привычка «стучать» друг на друга, на родителей, на учителей входит в норму. Вот вам и «здоровый, племя младое, незнакомое!». Кто придумал эту страшную «молотилку» в школе, которая все уравнивает и делает безликим, прививает циничное, потребительское отношение к окружающему миру?

На проблему внутренней пустоты уже нельзя закрывать глаза, нельзя разбивать ее на «частные случаи». Строить человека — тем более юного — можно только при одном условии: дав ему решить главную — для чего живешь и для чего стоит жить. То есть решить проблему жизненного кредо, «символа веры». Итак, решить для себя, во что верить? Только вот верить отучают во что бы то ни стало с самого детства.

Вопрос молодежи, вопрос воспитания и развития сейчас настолько серьезно встал, что пора прекратить играть в прятки.



Недавно диктор телевидения сказал: «А где же ваше гражданское мужество?» Увы, на любое проявление гражданского мужества есть отработанная система, когда человека, старомодно выражаясь, заставляют искать «пятый угол».

От ровного боя барабанов захватывает дух, красиво вносят знамя, призыв: «Будьте готовы!» — «Всегда готовы!» А к чему? К борьбе. Ну, а в чем эта борьба заключается? Борьба за нашу Родину, чтобы сильная была и счастливая, а будущее ее волнует всех, — зачем же нам играть в прятки?

Пора начать серьезный, честный разговор об этих проблемах, и хочется, чтобы разговор этот был конструктивным. Будущие хозяева нашей страны — мы, молодежь. С болью думаю о том, что жернова формализма в воспитании уже перемололи много гражданской активности, патриотизма, перемолов их в цинизм, в нежелание мыслить. Но все же есть среди моих сверстников люди, которые не хотят мириться со сложившейся ситуацией.

Я не предлагаю никаких рецептов. У меня их пока нет. Я лично смогла пока сделать только это — уйти из пионервожатых.

Ольга ЕРЕМИНА

Урок рок-музыки

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА ФИРМЫ «МЕЛОДИЯ»

Держу в руках большой диск «МАШИНЫ ВРЕМЕНИ». Держу и не верю своим глазам: кажется, только вчера разворачивал газету, а оттуда — жирный заголовок «РАГУ ИЗ СИНЕЙ ПТИЦЫ». Автор без лишних сомнений и колебаний призывал нас «ударить, и крепко ударить...». Впрочем, стоит ли полемизировать с подобного рода «искусствоведением»? Методика его изготовления со времен Латунского и Аримана * мало изменилась.

Давайте лучше порадуемся. В самом деле, на дворе 1987-й, а на прилавках магазинов уже появился диск группы, возглавлявшей советское рок-движение... в середине 70-х!

Нет, нет! Не будем в 1001-й раз злословить о нерасторопности «Мелодии». Я глубоко убежден, что кто бы ни сидел сегодня в худсовете фирмы, пусть даже сплошь увешанные цепями рокеры под председательством Иванны Андерс **, проблемы останутся прежними. Учреждение с такой структурой (всесоюзная, централизованная, перегруженная бюрократическим балластом) в принципе не может производить конкурентоспособную рок-продукцию.

Какой же выход? Что делать, чтобы не проходило десятилетие (!) между появлением популярной группы и выпуском диска? Еще древнеримские агрономы знали, что организация производства должна соответствовать особенностям возделываемой культуры: одно рентабельнее выращивать на больших площадях, другое — на маленьких участках. Не случайно на Западе система звукозаписи включает наряду с гигантами индустрии сотни маленьких фирм.

Перестройка — это прежде всего поощрение инициативы на местах, социалистической предприимчивости. Не испытывают ли наши деятели культуры чувство, похожее на стыд, когда читают в газетах серьезные статьи экономистов о самостоятельности колхозов или о сумском эксперименте? На московском форуме творческой молодежи Александр Градский произнес блестящую и очень смелую речь об

экономических и правовых реформах в сфере искусства. С ним стал спорить музыкант из довольно известной группы (пожалеем на сей раз ее доброе имя), по мнению которого то, что искореняется сегодня в сельском хозяйстве, должно бережно сохраняться в рок-музыке, — «иначе, мол, воцарится полная анархия». «Мнение» полностью разделил худсовет по тарификации самодеятельных ансамблей при Едином научно-методическом центре народного творчества и культпросветработы *.

Как я представляю себе нашу грамзапись в 90-е годы? Это несколько крупных региональных фирм (московская, ленинградская, рижская и т. д.), аудио, и видео, плюс множество государственных и кооперативных студий, уступающих крупным предприятиям по технической оснащенности, зато превосходящих их оперативностью. Все эти организации — на полном хозрасчете; вознаграждение музыкантов, работающих по договору, и штатных сотрудников прямо пропорционально рентабельности производства. Проблема худсоветов решается сама собой: человек, занятый делом, не станет содержать того, кто ему мешает.

Что же касается регистрации программ, то для нее, на мой непросвещенный взгляд, существует единственный авторитетный критерий — ЗАКОН. Закон достаточно подробно разъясняет, чего не следует распространять и тиражировать: порнографию, призывы к войне и национальной розни, оскорбления и клевету, чужие произведения без ведома их авторов... Закон прост и однозначен в толковании. Так не лучше ли опираться на него, а не на личные пристрастия того или иного, пусть очень «уважаемого Ивана Ивановича», чей вкус может оказаться вдруг безнадежно устаревшим и даже, извините, вовсе отсутствующим? Чтобы группа, у которой «зарубили» программу без должных оснований, могла обратиться по этому поводу в суд. А что? Попробуйте не заплатить рабочему зарплату — закон встанет на его защиту. Но разве музыкант не труженик?

Впрочем, согласятся со мною не все. Ведь если ввести у нас такую же простую и эффективную систему регистрации музыкальных программ, какая существует, например, в Венгрии, то выяснится, что для этого на всю Москву хватит двух, максимум трех работников — грамотных юристов. Что же тогда делать с разбухшими штатами всевозможных учреждений по надзору за музыкой? Сократить их, а вырученные деньги передать детским домам и больницам? Язык не поворачивается произнести такое.

Так что оставим иллюзии и вернемся к чтению глубокомысленных статей якобы в защиту молодежной музыки, плавно переходящих в распоряжение всем рок-группам незамедлительно вписаться в очередную Главную Контору По Делах Рок-Музыки (какая разница, как она будет называться: управлением, лабораторией или методцентром — сути это не меняет). Однако никакие специи — ни демагогия, ни молодежный жаргон — не могут отбить знакомый запах этой бюрократической кулинарии: так пахло всего лишь четыре года назад «РАГУ ИЗ СИНЕЙ ПТИЦЫ».

Пишу эту заметку и слушаю фонограмму новой ленинградской группы «НАТЕ» — там поет Слава Задерий, известный читателям по группе «АЛИСА». К счастью, я лично знаком со Славой, поэтому доступ к его творчеству для меня не составляет особых проблем. А чем могу утешить остальных поклонников рока? Ну хотя бы вот чем: я торжественно заверяю их, что ровно через десять лет «Мелодия» выпустит отличный альбом новой группы в прекрасном оформлении, и он будет продаваться на каждом углу!

Илья СМЕРНОВ.

Телефон «20-й комнаты» — 251-02-30. Напиши нам, что лично для тебя на сегодняшний день является ПРОБЛЕМОЙ НОМЕР ОДИН, которую ты пытаешься разрешить.

* Любопытное название: по-моему, «методический центр народного творчества» — это примерно то же самое, что «управление любви» или «рота скульпторов и живописцев».

* См. «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

** Солистка рок-группы «Браво».



«...СИЛЬНЕЙ НАДЕЖД МОИ ВОСПОМИНАНЬЯ»

Из наследия
Варлама ШАЛАМОВА

У него была легкая походка. Это казалось невероятным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа все реже наделяет людей; но в этот раз она щедра была не понапрасну — путь, который выпал Варламу Тихоновичу Шаламову, был неизмеримо тяжел, порою трагичен.

Художнику одному дано увидеть иногда то, что необходимо всем, и он отправляется к своей цели самым кратчайшим путем, напрямик — поэтому всегда идет по первопутку, всегда рискует. Однако каждый, кто идет путем художника, счастлив.

Эти строки — скромный знак запоздалой благодарности моей, — быть может, лишь беглым светом освещают некоторые вехи шаламовской жизни, жизни, которая заслуживает глубокого изучения. Он появлялся всегда внезапно, неслышно проходя редакционными коридорами, — я уже говорил, как легок был его шаг, — усаживаясь, закидывая ногу на ногу и сплетая

пальцы рук на остром колене. И все же в этой его, казалось бы, совершенно статичной позе таилось много движения. Иногда подолгу молчал. Но всем в его присутствии было хорошо и спокойно, как будто по соседству с большим и сильным деревом. Говорил мало, преодолевая некоторую затрудненность речи, с застенчивостью, свойственной прямодушным натурам. И каждая фраза странным образом походила на того, кому обязана была своим рождением, и стихи были похожи на него: строгость, аскетичность и, может быть, даже суровость слога сопутствовали достоинству глубокой оригинальной мысли, отваге и бесстрашию сердечного порыва.

Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде в 1907 году. Отец поэта Тихон Николаевич после окончания семинарии был православным миссионером на Алеутских островах. Он памятен как человек широких прогрессивных воззрений. Его возвращение в Вологду в 1905 году пришлось на мятежные дни первой русской революции. За отправление панихиды по жертвам черносотенцев, которая явилась открытым вызовом реакции, был временно лишен права священнослужения. Важно, думаю мне, вспомнить эти обстоятельства, чтобы лучше представить неслучайность тех черт характера поэта, которые не без основания иногда называют врожденными: чувства справедливости и необоримого стремления доисаться истины. Впрочем, это родовые черты русской интеллигенции.

Детство Варлама Шаламова совпало с незабываемыми днями Великого Октября. Он окончил школу и с 1924 года работал дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. В 1926—1929 гг. учился на факультете советского права в МГУ. Потом участвовал в строительстве Березниковского химвкомбината. Через четыре года вернулся в Москву, чтобы активно заниматься журналистикой; его рассказы, очерки, стихи широко печатаются. Эта счастливая пора обретения первых читателей, пора первого литературного признания предшествовала иному времени. Поэт не только призван, но и способен защитить от беды, однако, сам нередко беззащитен. Подобно многим советским людям, в 1937 году он был оклеветан и несправедливо осужден. Пятидесятые годы принесли освобождение и полную реабилитацию. Варлам Шаламов с головой погружается в литературную жизнь столицы, много и жадно работает. Сближается с Б. Л. Пастернаком, который высоко оценил его поэтическое дарование. Без его публикации в «Литературной газете», в журналах «Москва», «Знамя», «Юность» и др. нельзя представить поэтическую панораму 60-х и 70-х годов. В издательстве «Советский писатель» выходят книги его стихов: «Огниво», «Шелест листьев», «Дорога и судьба», «Московские облака», «Точка кипения». У В. Шаламова были особые отношения со словом, он верно и строго служил слову, и оно служило ему. В этой взаимности не было и тени компромисса, а всегда присутствовала готовность к самопожертвованию — так друг служит другу. В августовском номере 1981 года наш журнал представил читателю последнюю прижизненную публикацию поэта. Варлам Тихонович умер в январе 1982 года.

Сейчас вы прочтете неизвестные еще стихи поэта, его заметки о творчестве — они обращены к молодым, они наделены бескорыстным «чувством эстафеты», которое лишним раз подтверждает достоинство мастера.

Свежо и сильно звучит слово Варлама Шаламова. Потому что слово навсегда берет жизнь того, кто был с ним честен.

Н. ЗЛОТНИКОВ

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ*

1. $1 \times 1 = 1$.

Напрасно говорят, что большие поэты диктуют свои «законы», правила, что для искусства нет никаких общих законов и т. д. Тайны искусства есть, и постижение этих тайн — важная задача поэта. Эти тайны искусства имеют мало общего с поиском размера, овладения рифмой и т. д. Размеры и рифмы — это тайны сапожной мастерской, а не тайны искусства.

2. Научиться писать стихи нельзя.

Поэтому и не бывает никаких «первых» стихов. Стихи — это вопрос таланта. Учиться нужно не писать стихи, а воспитывать в себе требовательный и строгий вкус, понимание авторского чувства, научить читать автора, сочувствуя ему. Правда, Мандельштам уверял, что на свете не было и десяти человек, которые понимали бы Пушкина так, как он сам.

3. Поэзия — это неожиданность.

Неожиданность, новизна чувства, наблюдения, мысли, детали.

4. Ясность и точность в поэзии не одно и то же.

Поэзии нужна точность, а не ясность. Поэзия имеет дело с подтекстом, с аллегориями, с поисками, с интонационным строем фразы. Невозможно описать человеческое лицо, отражающее сложный конгломерат чувств и мыслей, состояние человеческой души. Здесь ясности не достигнуть, а точность достижима. Притом язык природы не всегда можно ясно перевести на человеческий язык.

5. Поэзия — это жертва, а не завоевание.

Обнажение души, искренность. «Самоотдача».

6. Научиться стихами проверять собственную свою душу, ее неосвещенные углы.

Стихотворение не будет писаться, если оно неискренне. Иногда поэт вследствие своей импульсивности может привести себя в состояние иллюзии, заставить себя поверить... Но это редкий случай... В большинстве случаев в стихах гадают, как в картах. И угадывают.

7. Космос поэзии — это ее точность.

Искания здесь и находки бесконечны, как жизнь.

9. Поэзия — это судьба, а не ремесло.

Пока кровь не выступает на строчках, поэта нет, есть только версификатор.

«Евгения Онегина» мы запоминаем не потому, что это «энциклопедия русской жизни», а потому, что там любовь и смерть.

11. Стихи — это не роман, который можно пролистать...

Стихи требуют чтения внимательного, неоднократного перечитывания. Стихи должны читаться в разное время года, при разном настроении.

12. Поэзия непереводаима.

Глубоко национальна. Совершенствование поэзии, развитие бесконечных возможностей стиха лежит в границах родного языка, быта, предания, чувства, литературных вкусов. Свободный стих продиктован желанием сделать язык поэзии переводимым, приблизить его к прозе.

13. Поэтическая интонация — это лицо поэта, его голос, его литературный паспорт, право на занятие поэзией.

14. Начала и цели поэзии.

Начала большой поэзии — самые разные. Цель же одинакова с наукой, с политическим учением — сделать человека лучше, добиться, чтобы нравственный климат мира стал чуть-чуть лучше...

15. Стихи не рождаются от стихов.

Стихи рождаются от жизни, а не от других стихов.

16. Поэзия — это опыт.

17. Проверь себя чужими стихами.

Если твоё настроение, твоё чувство может быть выражено чужими строчками — не пиши своих.

18. Труд — это потребность таланта.

Всякий талант не только качество, а и количество, и Моцарт — образец и разнообразный пример постоянно и много работающего художника.

19. «Все или ничего».

В стихах есть закон «все или ничего». Или это рифмование строк — стихи, или «не стихи». Более квалифицированных и менее квалифицированных стихов попросту не существует.

20. Чувство гораздо богаче мыслей.

Поэзия своими средствами: подтекстом, аллегорией, интонацией, звуковой организацией, переплетением со смысловым содержанием, сопоставлением дальнего и близкого, стремится донести до нас именно то, что не может быть вполне ясно выражено словами, но тем не менее существует вопреки Декарту. Стихи работают в пограничной области.

22. Стихи — это не поиски.

Поэт ничего не ищет. Творческий процесс — это не поиски, а отображение того безмерного количества явлений, мыслей, чувств, идей, деталей, являющихся в мозгу поэта на зов рифмы и всякого звукового втора в строке.

23. Поэзия — неизвестность.

В стихах поэту не должно быть все заранее известно до того, как стихотворение начато. Иначе незачем писать стихи.

24. Большие поэты никаких путей не открывают.

Напротив, по тем дорогам, даже по тем тропам, по которым прошли большие поэты, ходить нельзя. Пути подражания для поэта закрыты.

25. Поэт — это инструмент.

Инструмент, с помощью которого высказывается природа. Переводчик с языка природы на человеческий язык. Суждения природы не всегда просто перевести на обычный человеческий язык.

27. Не суйтесь в науку.

Искусству там нечего делать. Ничего, кроме конфуза, там поэт не ждёт.

28. Рифма — поисковый инструмент,

а не только орудие благозвучия (Бальмонт), не мнемоническое средство (Маяковский). Роль рифмы гораздо значительней.

30. Пейзажная лирика —

Попытка дать дереву и камню заговорить о себе и о человеке. И вместе с тем, пока пейзаж не говорит по-человечески, он не может называться пейзажем.

31. Почему Пушкин и Шекспир вечны?

Потому что моральный климат земного шара изменяется очень медленно.

33. Что выше? Поэзия или проза?

За что же пьют? За чьих хозяек.

За цвет их глаз, за встречу в мясоед.

За то, чтобы поэтом стал прозаик

И полубогом сделался поэт.

34. Изучать технику стиха, понимая, что это техника.

Знание контрапункта не лишает композитора восприимчивости к музыке, как говорил Норберт Винер. К тому же часто самозабвенное *увлечение* работой над решением «технических» вопросов стихосложения вдруг открывает какую-либо подлинную тайну искусства.

35. Стихи «на свободном ходу» — обязательное упражнение для поэта.

На заданный ритм поэт включает, едва контролируя мыслью, тот мир, который толчется за окнами, и

* Печатается в сокращенном варианте.

Юрий
ЗЕРЧАНИНОВ

ЧТО БЫЛО НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ

Выставка на Кузнецком походила на лабиринт — полотна не только висели на стенах, но были размещены и на специальных выгородках, оставляя зрителям лишь узкий проход. Было тесно, шумно — искать выход из этого лабиринта никто не спешил.

На одной из стен красовался лист картона с такой надписью: «В моей работе наступил кризис. Я смущен, растерян и не знаю, что теперь делать». И подпись художника. И дата, когда он зафиксировал этот свой кризис.

Тут-то и подошел ко мне этот давний знакомый — вкрадчивый, изощренно вежливый человек, прочно обосновавшийся на ниве культуры.

— На дворе декабрь. Мороз ударил. А здесь весеннее половодье, — от него разлило готовностью соответствовать духу времени.

Даже надпись на листе картона он порицать не смел.

— Эксперимент! — восклицал. — Повсюду торжествует эксперимент!

Я заметил, что не понимаю, почему эта выставка именуется экспериментальной: открытый и честный отбор работ — разве не норма сегодня? Он быстро взвесил мои слова и поспешил согласиться со мной. Я спросил его уже из чистого любопытства:

— Вы и вечерами сюда приходите?

Вечерами молодые художники встречались на выставке с теми поэтами и музыкантами, с теми представителями своего поколения, которые еще вчера, не укладываясь ни в какой стереотип, пугали этим и чиновников от искусства и великовозрастных «вожак» молодежи...

— Нет, — сказал решительно мой гибкий собеседник. — Вечерами здесь игра без правил.

Я не искусствовед. И не берусь судить, сколь совершенны те произведения, которые мне понравились на семнадцатой выставке молодых художников Москвы (а мне отнюдь не все понравилось, что естественно). Но это была живая, демократичная выставка. Была воссоздана обстановка скромной мастерской молодого художника, который не избалован заказа-

ми и на последние деньги покупает буханку хлеба и пачку стирального порошка (эта пустая уже пачка, брошенная на ступеньках воздвигнутой в главном зале эстрады, особенно раздражала «строгих» ценителей благонамеренного искусства). Владелец этой мастерской, быть может, не гений, но превыше всего ценит честность и независимость и в меру своих возможностей стремится сказать правду и о времени, и о себе.

Таким, как мне представляется, мыслится устроителям выставки ее идеальный участник. И тебе как бы предлагалась игра — найди среди многих беспорядочного владельца этой мастерской. А молодые искусствоведы так выстроили экспозицию, что помогали тебе: тут — «социальная группа», тут — «салон», а тут — те, которые называют себя «детсадовцами»... Оценивай. Сравнивай. Выбирай.

Ярые критики (они не безмолвствовали и в кулуарах, и в прессе) порицали выставку и за то, что он был излишне открытым, и за то, что поощрил вседозволенность — всяких авангардистов, дескать, и любителей эпатажа... Существовала и такая претензия: зачем повторять все то, что было в шестидесятые годы? Но этот повтор возник не случайно — память о шумных молодежных выставках шестидесятых годов дорога сегодняшним молодым. При входе в зал предлагалось вспомнить слова, сказанные в те годы молодым Игорем Обросовым: «Есть проблема Честности и Подлости в искусстве, и между ними идет борьба».

Однако ярые критики в конце концов получали свое — с дискуссионных трибун и в прессе. Одно дело — критически анализировать выставку, но — порицать ее широкую представительность, а иными словами, гласность и демократизм?!

Еще более пылкие страсти разгорелись вокруг «подводной части» выставки — ее вечерней программы. И разного рода усердные администраторы, изыскивая анекдотические предлоги, прервали в конце концов эту программу. И даже обсуждение выставки с участием зрителей было отменено — в залах тесно, дескать, а при чрезмерном наплыве зрителей может пострадать экспозиция?!

Так поработали люди, подобные моему гибкому собеседнику. Эти мгновенно перестроившиеся обладают повышенным инстинктом самосохранения. Попробуй уговори такого участвовать в сегодняшнем теледиспуте! Вот и торжествует по сей день видеозапись. И даже возобновленный КВН мы не видим пока в прямой трансляции.

Человек, который пылко хвалит сегодня то, что еще вчера ругал, превыше всего боится, что его публично попрекнут в двуличии, и избегает «открытых» трибун. А что если именно он в свое время клеймил памятную выставку в Беляеве и радовался, когда с ней управились с помощью... бульдозера?

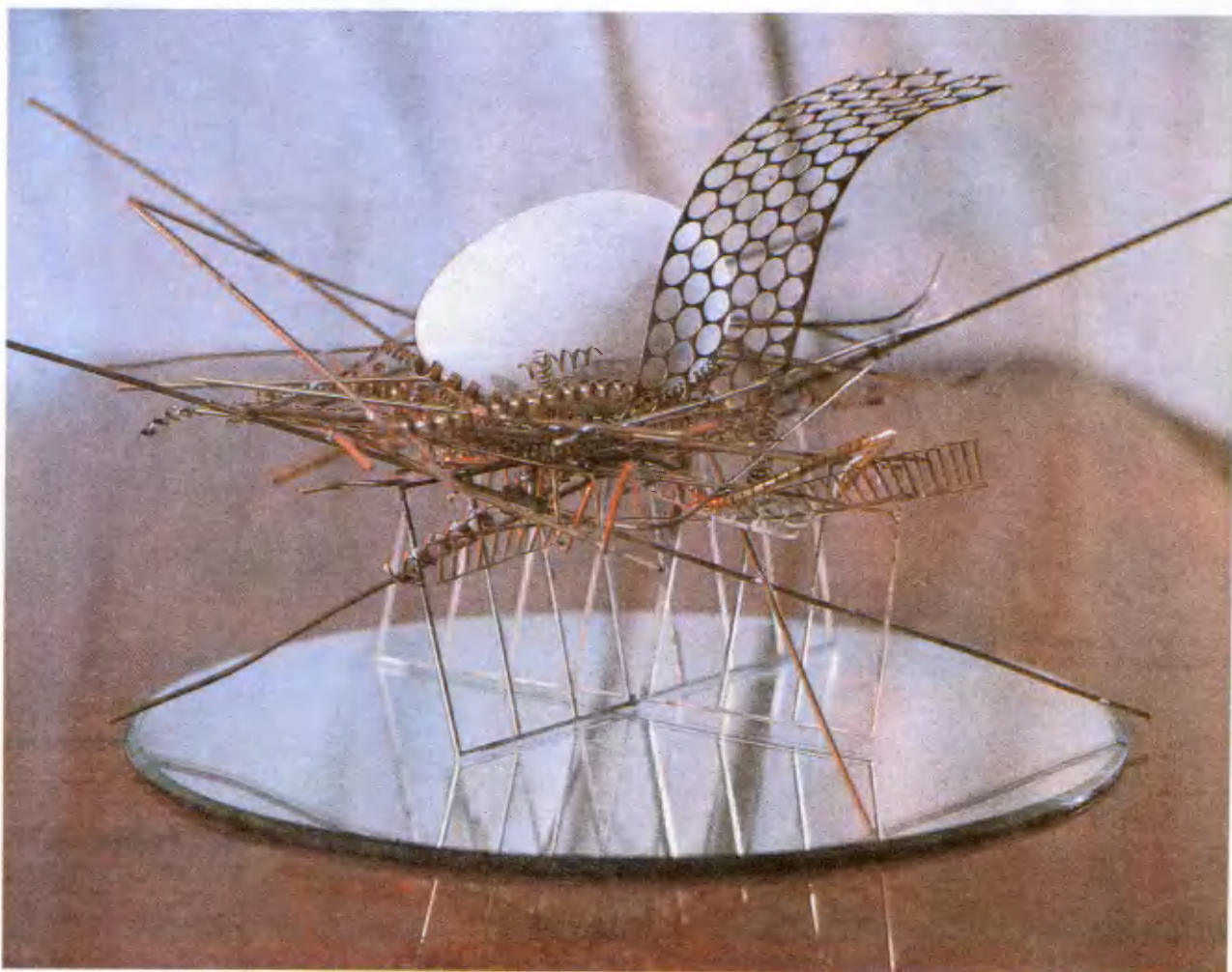
Каждому свое. Художник готов признаться, что у него кризис, что он смущен, растерян и не знает, что теперь делать. А нехудожник не знает кризиса, он уже успел перестроиться. Борьба Честности и Подлости в искусстве продолжается.

И смотрите, что происходит. В чинных выставочных залах, которые еще вчера пустовали (интерес к современному изобразительному искусству в последние годы резко снизился), сталкиваются оценки и взгляды, идет взволнованный разговор: как жить сегодня, что делать. Так было в Манеже, так было и на Кузнецком.



**ПО ЗАЛАМ
XVII МОСКОВСКОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ВЫСТАВКИ.**

Кузнецкий мост.
Декабрь. 1986 г.



А. РОДИОНОВ. Постиндустриальное гнездо. Модель.



М. ГУРВИЧ.
Парк культуры. 85 г.

В. БРАЙНИН.
Дом на углу.





А. СУНДУКОВ.
Бесконечный
поезд.



Т. ФАЙДЫШ.
Осторожно,
двери
закрываются.

**Зал скульптуры
малых форм.**



В. КАМОЛОВА.
Фрагмент
пространственной
композиции.
Театр.

Фоторепортаж
с выставки
Л. Шимановича.

Николай
ЧЕРКАШИН

В ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ ЛЕТА...

О гибели парохода «Адмирал Нахимов» Лаура Витальевна Ильина узнала из телепрограммы «Время». Еще ничего не было ясно — как, что, сколько жертв, — но сердце зашлось от боли, как будто оно уже получило точную и беспощадную весть: Вадик погиб. Ее мозг, ее великолепный инженерный мозг гнал эту мысль, он взывал к теории вероятности и уповал на статистику больших чисел. Она лихорадочно искала аргументы, — и они находились, — которые и господа бога убедили бы в том, что ее сын жив. Парню двадцать восемь лет, не рохля, из погранвойск вернулся сержантом, спортсмен, отлично плавает. И уж, конечно, в момент столкновения он был на верхней палубе, а не спал в каюте, в своей — страшно представить — железной, без иллюминатора, глухой каюте, расположенной на восьмой сверху палубе по правому борту, по которому пришелся таранный удар. Нет, нет, Вадима там не было и не могло быть... Что ему там торчать в самый разгар молодежных гуляний?! «Он был на верхней палубе, — твердила она себе беззвучно, а может, и вслух. — Он был на верхней палубе...»

Она заказала срочные разговоры с Новороссийском и Одессой. Но ни из Одесского пароходства, ни из Новороссийского сообщить что-либо определенное пока не смогли. Она позвонила в Геленджик знакомым, и те разузнали нужные номера в Новороссийске. Глухой полночью Лауре Витальевне удалось, наконец, пробиться сквозь кутерьму телефонных звонков, обрушившихся на Новороссийский горисполком со всего Союза. Но ничего утешительного узнать не удалось. Среди первых партий спасенных Вадима Ильина пока не оказалось. «Позвоните утром», — попросили ее. До утра оставалось совсем немного, и она все эти часы просидела подле телефона в ожидании чуда: аппарат затрезвонит, и в трубке раздастся голос сына: «Мама, не волнуйся! Все в порядке». Но телефон убийственно молчал час, другой, третий. В шесть утра она снова попросила междугородную соединить ее по срочному тарифу с Новороссийском. Минут через сорок это удалось, и сочувственный мужской голос объяснил ей, что в списке спасенных фамилии ее сына нет, но это пока вовсе ничего не значит, так как пассажиры «Нахимова» все прибывают, списки пополняются... «Звоните!» — бодро напутствовал он. Но звонить она уже не стала, а принялась лихорадочно собираться в дорогу.

Нет, нет, ничего страшного с ним не могло случиться... Самое худшее — продрог в воде и сейчас лежит где-нибудь в больнице. Она его непременно разыщет. Просто он не может позвонить из палаты... И не надо. Она найдет его сама.

...Когда он появился на свет, акушерка сняла с младенца обложки и воскликнула: «Ну, милый, в рубашке родился!» У Вадика были две макушки — признак счастья. И, кажется, приметы эти всегда оправдывались. Не может быть, чтобы человек с такими надежными метами судьбы не выплыл, не спасся... «Не может быть! Не может быть...»

Руки ее сами собой собирали дорожную сумку и сами собой, безотчетно, уложили на дно черное платье...

В аэропорту Пулково билетов на южное направление, разумеется, не было, но диспетчер по пассажирским перевозкам — слово «Нахимов» действовало, как всемогущее заклятие — нашел место на дополнительный рейс, и она вылетела в Анапу, откуда в ту же ночь добралась на попутном «рафике» до Новороссийска. Водитель подвез ее к стеклобетонной коробке горисполкома и денег не взял. Здесь, несмотря на предрассветный час, было ужелюдно, пахло сердечными снадобьями... На дверях кабинета белели бумажные таблички: «Москва», «Омск», «Кишинев», «Рига», «Вентспилс», «Самарканд», «Саратов»... От табличек этих веяло бедой всенародной...

Она разыскала кабинет, где работали представители Ленинграда, и какой-то мужчина повел ее в коридор. Там на листах ватмана были наскоро набросаны списки спасенных. Фамилии шли не по алфавиту и не по городам — вразнобой.

Сначала она пробежала столбцы наспех, надеясь, что родное имя сразу бросится в глаза. Но так не случилось, и тогда она стала внимательно перебирать глазами фамилии счастливых, одну за другой, сотню за сотней...

Вот так же два года назад они вместе с Вадиком искали его в списках студентов Политеха. Не нашли. Страшно огорчились оба. Но потом обнаружили в вестибюле какой-то дополнительный список, а в нем — седьмым по счету! — шел «Ильин В. С.».

Рядом и за спиной толпились такие же жаждущие надежды, как и она, дышали в затылок, напирали, но она ничего не ощущала.

Есть!!!

Лаура Витальевна чуть не вскрикнула. Подалась вперед, присела у нижнего края листа, чтобы разобратъ лучше:

«Ильин Д. С. — Москва»...

То был однофамилец. Она попробовала усомниться в этом, убеждая себя, что инициалы могли искажаться, а адрес приписать случайно... Все же она была не из тех женщин, кто легко поддается самообману, и стала читать дальше, до конца...

В списках живых Вадима не было.

Пожилый осунувшийся мужчина уверял жену с исплаканными глазами:

— А я тебе говорю, там «воздушные мешки». Вода воздух подпирает, и люди в том воздухе живут. Водолазы слышали, как они стучали... Может, еще кого спасут.

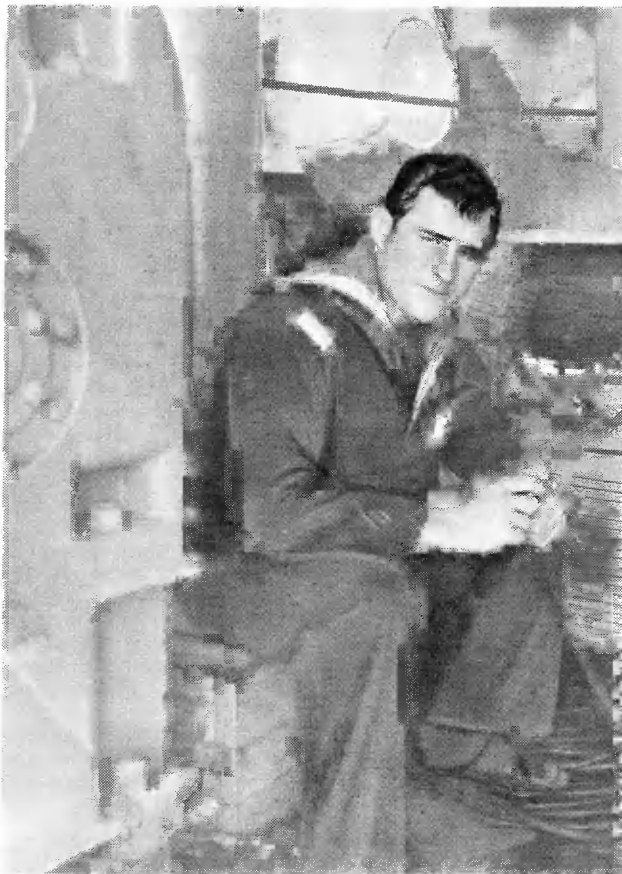
Лаура Витальевна уцепилась было за эту надежду, но тут же ее отбросила. Даже если бы такие «мешки» и остались, она бы не хотела, чтобы Вадик оказался в одном из них. Смерть его была бы мученической — в темноте, в холоде, с неизбежным удушьем через считанные часы...

— Что толку, — возразил оптимисту коренастый мужичок с орденовыми планками и желто-красными нашивками на груди. — Все одно оттудова никого не вывести. Начнешь дырку в борту резать, весь воздух тут и выйдет. Со свистом.

Мужичок был из Омска, он искал жену и взрослую дочь...

— Товарищи, кто не обнаружил своих родственников в списках, — объявил рослый парень с повязкой распорядителя, — приглашаются в автобус, который отправится на пятнадцатый причал!

За этой дежурной фразой Лаура Витальевна почувствовала что-то недоброе, ужасное, такое, что избегают называть прямо... Всклипывающие женщины в черных платках и безмолвные мужчины потянулись к сверкающему красным лаком «Икарису». Лаура Витальевна тоже пристроилась к этой скорбной веренице. По репликам и недоговоренным фразам она по-



Водолаз-спасатель главстаршина Алексей Черкашин.

Флагманский специалист части судов обеспечения капитан третьего ранга В. Беспалов (в центре) советуется со специалистами.

Снимки сделаны мичманом А. И. Гордиенко.

Где-то в голос кричала женщина, чей муж обнадеживал ее насчет «воздушных мешков». Она нашла дочь.

Стучали молотки, вгонявшие гвозди в крышки гробов. Гробы подвозили сюда из портовой столярки и здесь же, прямо на пирсе, кипела скорбная, хорошо налаженная работа. Погибших отмывали от краски, фотографировали, после чего накрывали обшитыми кумачом крышками. Под цветастыми матерчатыми тентами, притащенными с приморских бульваров, стояли столы загса, Госстраха, военкомата, следствия, где без лишней волокиты смерть человека обрамлялась неизбежными венками из подписей, печатей, справок, свидетельств...

У нее еще хватало сил удивляться этим пестрым рядам, выросшим против мертвенно-серебристого скорбного поезда.

Кто-то провел ее к буфетной стойке и помог утвердить в озябших ладонях стакан горячего крепкого чая. Кто-то проводил ее потом к автобусу, и кто-то хлопотал за нее в гостинице насчет отдельного номера. Все это входило в ее сознание урывками и тут же исчезало.

В номере она прилегла, не раздеваясь. Едва щека коснулась подушки, как ей стало казаться, будто сон и явь поменялись местами, что все, что с ней было до сих пор, сейчас исчезнет, рассеется, как кошмар, и она с первыми же мгновениями сна вернется в свой прежний мир, с привычными хлопотами и радостями, с такими смешными после пятнадцатого причала заботами, огорчениями, бедами.

Из милосердного забвения ее вернул деликатный стук в дверь. Зашел сосед, омич с орденовскими планками, предупредил, что в девятнадцать в горисполкоме с родственниками погибших будут встречаться члены Правительственной комиссии. Лаура Витальевна поблагодарила, быстро привела себя в порядок и спустилась вниз к дежурному автобусу.

Актовый зал был полон людей в траурных одеждах. По рядам сновали медсестры в белых халатах, разнося сердечные капли, напаштаты... Подошли и к Лауре Витальевне. Она отказалась.

За столом президиума заняли места солидные мужчины, седовласые, в хорошо сшитых костюмах. Среди них выделялись двое в черных адмиральских тужурках. Всем им было неловко смотреть в зал, они не поднимали глаз выше крышки длинного полированного стола.

Высокий, с волнистой проседью мужчина, замещающий Председателя комиссии, говорил медленно, тщательно подбирая слова.

— На сегодняшний день мы имеем 836 спасенных пассажиров. Поисковые работы в районе аварии ведутся круглосуточно. За минувшие сутки поднято на поверхность 13 погибших. Привлечены дополнительные силы Краснознаменного Черноморского флота и Минморфлота. Это позволило расширить обследуемую площадь дна...

Он говорил тем языком, каким привык говорить всю свою служебную жизнь. Если бы он нашел другие слова, душевные и сердечные, Лаура Витальевна, наверное, разрыдалась бы. Но тут она почувствовала себя как бы на большом производственном собрании и даже достала по инженерской привычке блокнотик и принялась записывать цифры и факты: «Бывш. герм. 2-винтовой п/х «Берлин», построено в 1925 году. 8 палуб. Длина 174 м, ширина — 20 м». Она хотела знать все об этом проклятом пароходе, унесшем с собой на дно Вадика.

— У кого будут вопросы к нам? — спросил глава комиссии, закончив официальное сообщение.

Седая женщина поднялась из первого ряда:

няла, что их повезут в порт на опознание поднятых из воды трупов. Она не страшилась жуткого зрелища — девчонкой насмотрелась в блокаду на всяких покойников: и умерших с голода, и замерзших в стужу, и сгоревших в пожары, и убитых в бомбежку... Одного боялась — увидеть там сына.

Охранницы с кобурами на поясах поспешно распахнули перед автобусом железные ворота и проводили «Икарус» жалостливыми взглядами.

Она сразу увидела эти вагоны: пять серебристых рефрижераторов стояли вдоль причальной стенки. Черно-красные полотнища трепетали на их дверях, испещренных железнодорожными знаками и надписями, такими нелепыми сейчас и здесь.

Она поднялась по свежесколоченному помосту из желтых пахучих досок и шагнула в ледяной проем первого вагона. Окоченевшие тела мужчин, женщин, парней, девушек лежали рядами с номерными картонками на груди. Номера были синие, трехзначные... Взгляд ее выискивал только парней, а сознание машинально отмечало: не мой, не мой, не мой... Преобладали женщины и девушки. Одни были в халатиках, накинутах поверх ночных сорочек, другие — в наимоднейших платьях и костюмах, разряженные, как на бал — в кольцах, серьгах, пластмассовых побрякушках. Большинство оделось в легкие кофточки, блузки, рубахи-безрукавки. Видимо, на палубе было тепло в ту последнюю ночь черноморского лета.

Лауру Витальевну поразила девушка с голубыми волосами. Присмотревшись, она поняла, что голова и плечи выкрашены масляной голубой краской, которая вместе с мазутом в изобилии покрывала воду после столкновения судов. Эта краска отчетливо передала ей весь смертный ужас людей, барахтавшихся и утопавших не в чистой морской воде, а в липком ядовитом месиве. Неужели и Вадик в такой же краске? Неужели и он лежит где-нибудь в соседнем вагоне с таким же нелепым номером на груди? От этой мысли перехватило горло, но она удержала рыдания и прошла до конца все вагоны... Вадика не было.



— Я стояла на палубе, а потом плыла рядом с мужем. А теперь его нет. Куда он мог пропасть?— Она обескураженно развела руками.

Лаура Витальевна несколько удивилась столь наивному вопросу, но сосед-омич пояснил вполголоса:

— Она задает этот вопрос на каждой встрече. Она задает его всем...

Лаура Витальевна понимающе кивнула.

Когда встреча закончилась и все стали расходиться, она долго стояла у стенда, вглядываясь в лабиринты коридоров, проходов, трапов... Где-то здесь клеточка каюты Вадима. Где?

Она зашла в комнату представителей Ленинграда, чтобы узнать номер каюты сына. Моложавый брюнет с мешками под глазами разговаривал по телефону:

— Громче говорите! — кричал он в трубку. — Плохо слышно... Ильин? Вадим Степанович? Одну минутку.

— Вадик! — вскрикнула Лаура Витальевна и бросилась к столу. Боже, он жив! Он объявился!! Как посмела она схоронить его прежде времени...

Ленинградец отшатнулся от нее, не выпуская трубки.

— Что вы, гражданка, что вы!.. Успокойтесь, сядьте... Это из Одессы, спрашивают, не нашли ли Ильина.

Из Одессы звонил приятель Вадика...

Ноги у нее подкосились, и Лаура Витальевна впервые за эти страшные дни лишилась чувств.

Она пришла в себя скоро. Извинилась. Ее проводили к автобусу.

Гостиница стояла на берегу моря, и ветер гулял по длинным коридорам так, что трепетали полотняные накидки на ковровых дорожках. Он завывал в вентиляционных отдушниках, по-собачьи... «Как собака по покойнику воет», — отметила про себя Лаура Витальевна. Она вспоминала, что в прошлом году умер Дик, овчарка, с которой Вадим уходил на границу и с границы же вернулся. Сначала пес, а потом хозяин...

Ее обычно скептический и инженерно-трезвый ум вдруг стал искать предзнаменования беды. Собака? Или, быть может, книга, которую Вадик взял с собой на пароход? Подумать только — она называлась «Последняя ночь «Титаника»! Его всегда интересовала гибель этого огромного лайнера... Неужели и вправду судьбу можно накликать?

Истинная ленинградка, она любила море и моряков. Ее работа была отчасти связана с морем — она оснащала суда новейшими радиосистемами. Квартирка на проспекте Ветеранов была заставлена книгами классиков отечественной и зарубежной маринистики: Станюкович, Конрад, Соболев, Мелвилл, Колбасьев, Новиков-Прибой, Концевий... Они вместе собирали эту морскую библиотеку, и, может быть, поэтому Вадик мечтал увидеть море не с набережной, а с палубы, может быть, именно поэтому он отправился в бюро путешествий и, заняв денег у отца, у друзей, купил злосчастную морскую путевку. «Жребий свой купил», — запоздало ужасалась Лаура Витальевна. Ночь прошла в терзаниях, сомнениях, воспоминаниях.

Под утро она спустилась к морю, набрала раковин и гальки и, вернувшись в номер, сложила на столе грудку перед фотографией Вадика. Сын смотрел на нее открыто, весело, ласково... «Не раскисать! — приказала себе Лаура Витальевна. — Не раскисать».

Все говорили, что у нее сильный характер. Да, она пережила блокаду, всего добивалась в жизни сама, одна, без мужа, вырастила сына. Она умела постоять за себя, умела и владеть собой...

Она надела черное платье, и траурный креп погасил в душе последние искры надежды.

Утренний спецавтобус отвез ее вместе со всеми родственниками погибших к знакомому зданию горисполкома. Надо было опознать те тринадцать тел, что подняли вчера водолазы. На сей раз ехать на пятнадцатый причал не пришлось. На столе лежали альбомы с фотографиями поднятых... Их разглядывали по очереди, заглядывали через плечо тем, кто листал эти страшные книги судеб.

Лаура Витальевна вглядывалась в лица, лишённые

посмертной благодати, искаженные гримасой отчаяния, судорогой последнего вдоха, и никак не могла объяснить себе, за что постигла этих людей такая участь, в чем и перед кем они провинились?

Злой умысел капитанов? Абсурд. Сам господь бог не рассчитал бы этого столкновения. Сухогруз шел из Канады, из другого полушария Земли, он шел много недель. Задержись он где-нибудь на швартовке на полминуты, и курсы его и «Нахимова» не пересеклись бы в роковой точке.

Преступная халатность? Нет, это тоже ничего не объясняет... Благодушное, почти домашнее слово «халатность» никак не вязалось с той горой трупов, что росла на пятнадцатом причале... Может, действительно — рок, удар судьбы? Но Лаура Витальевна тридцать лет имела дело с точными понятиями радиофизики и строгую определенность своей науки, непреложность причин и следствий переносила на все, что ее окружало.

Она непременно хотела знать, как и почему это случилось, кто виноват и сколько вольных или невольных пособников было у катастрофы. Она должна была это знать...

Весь день она расспрашивала всех и вся: и счастливых, кому удалось спастись, и матросов бывшей команды «Нахимова», водолазов, юристов, механиков, лоцманов, навигаторов — всех, кто так или иначе был причастен к гибели парохода. Она обладала памятью магнитной ленты, и когда на ежевечерней встрече комиссии с родственниками министр морского флота взял мелок и стал перемножать на доске узлы и тонны, скорость и массу, чтобы показать силу удара, она, уличив его в том, что он, округляя, завысил водоизмещение сухогруза на несколько тонн, перестала ему верить и во всем остальном, что приводил он в объяснение кораблекрушения.

— Эх, да что там эти тонны! — сокрушенно вздохнул сосед-омич, взглянув на ее подсчеты. — После драки кулаками не машут. Как ни считай, а людей не воротить.

Но Лаура Витальевна не могла простить министру лишних тонн, не могла простить ему ничего...

— За минувшие сутки поднято на поверхность семь погибших, — голосом телефонного робота сообщал зампред. — Несмотря на огромные трудности, водолазы обследовали новые каюты и отсеки судна. Они расширяют зоны поиска, для чего с помощью электрорезки и плазменных взрывов делают новые проходы в корпусе затонувшего парохода. По-прежнему активно проводится траление морского дна, интенсивно используются надводные средства — суда, авиация... Какие ко мне будут вопросы?

И снова поднялась из первого ряда сидящая женщина: — Я стояла на палубе, а потом плыла рядом с мужем. А теперь его нет. Куда он мог пропасть? Лаура Витальевна вышла из зала.

Здесь, в водовороте общего горя, ее боль несколько притуплялась. Порой ей казалось: жизнь ввергла ее в некое черное братство скорбящих матерей, отцов, вдов и сирот. Во всяком случае, не раз и не два ловила себя на мысли, что там, в Ленинграде, среди благополучных друзей, сослуживцев, знакомых ей будет много тяжелее, чем здесь. И все же она не чаяла уехать из этого тихого ада побыстрее, а главное — увезти отсюда сына, пусть бездыханного, но оттого любимого еще острее, еще больнее.

Ночь истаяла в привычном полубессонном забытии. Несколько раз она зажигала прикроватную лампу; в стакан звучно падали капли валокордина... А утром снова пришлось листать страшный альбом. Среди вчерашних семи Вадима не было...

Весь день она неумоимо и неукротимо расспрашивала еще не уехавших пассажиров из ленинградской тургруппы. По крупицам складывалась картина последних минут Вадимовой жизни. Парень с Охты видел его незадолго до столкновения в баре по левому борту. Руководительница группы припомнила, что Вадим танцевал со студенткой из ЛИИТа. Кажется, ее звали Надя... Пожилой одышливый василеостровец

рассказал, что после удара он оказался рядом с Вадимом и Надей. «Что же теперь будет?» — растерянно спросила девушка. «Теперь будет конец...» — улыбнулся Вадим.

— Улыбнулся? Вы уверены, что он улыбнулся? — переспросила Лаура Витальевна.

— Да, — подтвердил василеостровец. — Вы знаете, он вел себя очень хладнокровно. Девушка не умела плавать, и он поддерживал ее на воде. Жилетов у них не было. Очень недолго мы все барахтались рядом, и я хорошо видел, как в Вадима вцепилась тонущая женщина. Она уже ничего не соображала... Меня поразило, что он не стал отбиваться, как это бывает в таких ситуациях, а попытался и ее удерживать на плаву. Но когда к ним прибилась еще одна захлебывающаяся девушка, вот тут они сразу скрылись под водой. Ушли на дно одной гроздью...

Лаура Витальевна не выдержала, и из груди ее вырвался сухой стон:

— Бо-же, и зачем я его таким воспитала?! Он никогда никого не мог оттолкнуть, не умел драться... Пусть бы брал от жизни всё, всё, всё, как другие! Которые выплыли, которые хватили себе жилеты, которые остались живы. Пусть бы он был преступником, сидел бы в тюрьме, но был бы жив. Жив! Жив!!

Старичок укоризненно покачал головой:

— Напрасно вы так... Вы этим память его оскорбляете. Лучше бы уж вы мне прямо сказали: «Почему ты, старый пень, спасся, а он — молодой — погиб?» Я бы вас больше понял...

Вечером безмолвный актовый зал, как великому утешению, внимал словам высокого человека с волнистой проседью. Однофамилец известного поэта, он умудрялся говорить на редкость сухо и бесцветно:

— Наряду с водолазами поиск погибших ведется с помощью подводных аппаратов. Они исследовали большую площадь морского дна от места столкновения до места покладки на грунт парохода. На поверхность поднято восемь погибших...

Вадима среди них не было.

Прошел еще один день скорбного новороссийского сидения, почти ничем не отличимый от предыдущего. И еще прошел. И еще... С каждым утром новых фотографий в страшном альбоме становилось все меньше и меньше: семь, пять, три... И все меньше людей в черных одеждах наполняло по вечерам актовый зал. Те, кто отыскал своих и теперь увозил домой свой скорбный груз, были в глазах Лауры Витальевны едва ли не счастливыми.

А Вадима все не находили...

К концу недели Лаура Витальевна знала о «Нахимове», о его капитане, команде и пассажирах почти все. Быть может, она знала даже больше, чем иной следователь.

Она знала, что пароход, будучи немецким плавучим госпиталем «Берлин», уже побывал на морском дне, наскочив в сорок пятом на мину... Что, побороздив моря шестьдесят лет, «Нахимов» собирался на заслуженный покой — в Одессе уже готовились документы на списание судна. Он вышел в последний свой рейс, который и в самом деле оказался последним. Но то, что ей сообщил один киноработник из Москвы, потрясло ее и заставило снова задуматься о превратностях судьбы. Оказывается, «Мосфильм» зафрахтовал пароход на осень — для съемок картины «Катастрофа».

Она знала о «Нахимове» все: число шпангоутов и порядок смены вахт, биографию капитана и расположение шлюпок на палубах, меню пароходных ресторанов и махинации пассажирского помощника с расселением туристов по каютам...

Она вникала во все это до мелочей, стараясь заглушить надрывную боль, изгнать из души мысли о том безрадостном времени, которое предстоит ей прожить без сына, без внуков, как древу с обломанной вершиной. Горе ее отыскало себе русло и несло по нему, обращаясь в поток фактов, сведений, чисел, имен, дат... Она была дочерью своего времени — дея-

тельной, энергичной, всеведущей — и не могла, не умела предаваться скорби, опустив руки.

Ночью она написала министру морского флота письмо с требованием ответить на ее вопросы.

«Почему,— беспощадно вопрошала она его,— на Черном море нет ни одного современного всепогодного судна-спасателя? Почему на «Нахимове» ни разу не проводились шлюпочные учения? Почему маршрут огромного пассажирского лайнера спланировали так, что самые сложные маневры — выход из порта — приходились на темное время суток? Почему помощник капитана расселял подпалубных пассажиров в каюты классом ниже, чем тот, что обозначался в билетах?»

И еще добрая дюжина колючих «почему», вплоть до последнего: «Почему ковровые дорожки в коридорах и на трапах не были закреплены металлическими планками?»

Даже такой пустяк стоил жизни многим пассажирам: в момент гибельного крена дорожки поползли у них под ногами, не дав выбраться наверх.

Она передала письмо в президиум комиссии.

В то утро, открыв глаза, она почувствовала, что сегодня должно произойти что-то очень важное... В автобусе по дороге в горисполком она уверенно сообщила соседу-омичу:

— Сегодня он всплывет. Я это чувствую...

Омич удивленно покосился, но ничего не сказал. Он тоже все три недели стойко ждал, когда найдут тела жены и дочери...

В окнах автобуса мелькали залитые солнцем фасады домов, нарядные, жизнерадостные люди, буйная южная зелень... Она никогда не любила Новоросийск — шумный, пыльный портовый город, с его погодными причудами, с его неиссякаемыми дымами из высоченных заводских труб. Толстые длинные дымные струи перекидывались за хребет, точно бичи через плечо пастуха. Она всегда старалась объезжать этот город стороной и уж, конечно, представить себе не могла, как и е три недели ей придется здесь провести.

В глаза назойливо и бестактно лезли киноафиши: «Письма мертвого человека», «Русалочка», «Замороженный»... Она всякий раз вздрагивала, отводила глаза, а потом и вовсе задернула шторку. Но тут из водительского приемника грянула разудалая песня, такая кощунственная в этом автобусе:

Как провожают пароходы,
Совсем не так, как поезда...

Лаура Витальевна попросила шофера выключить приемник...

В этот день Пастернак, так звали заместителя председателя комиссии, объявил, что в корпусе «Нахимова» погиб водолаз и потому все работы по поиску тел погибших решено прекратить. Поднимать пароход признано нецелесообразным.

Пастернак говорил о стоимости металла, которая не окупит затрат на подъем «Нахимова», но Лаура Витальевна уже ничего не слышала. Это был новый удар, и она впервые за три недели зарыдала в голос — не таясь, не стесняясь... К ней поспешила девушка в белом халате. Она отстранила стаканчик с успокоительными каплями и покинула зал, тяжело передвигая ноги. Кто-то помог ей выбраться в скверик, кто-то усадил ее на скамейку перед фонтаном, кто-то пришел потом и сказал, что надо ехать на пятнадцатый причал, что там родственникам ненайденных пассажиров будут выдавать капсулы с грунтом, взятый на месте гибели парохода.

— Зачем? — почти беззвучно спросила она.

— Для символических захоронений,— пояснил ей кто-то. И она покорно побрела к автобусу.

...В пустой гроб положили черный деревянный пенал, такой же круглый, с каким Вадим ходил когда-то в школу...

У нее уже не было слез. Перекипело все — и боль,

и отчаяние, и ужас. Ей вдруг стало обидно, просто обидно, как бывало в детстве, когда кто-то из взрослых подсовывал фантик, сложенный конфеткой. Схватишь, а там пустышка. На маленький пенал в огромном гробу она смотрела обиженно-недоуменным взглядом: как? И это все, что осталось от моего сына? От моего Вадика? Это, верно, злая шутка... И она пошла прочь от фальшивого гроба. Она шла куда глаза глядят — вдоль причалов, под стальные порталы огромных кранов, мимо высоченных ржавых бортов порожних танкеров, шла, переступая через рельсы и швартовы... Свежий ветер трепал ее черный платок, такой нелепый в южную жару.

В дальнем углу порта она набрела на небольшое военное судно с водолазным шлемом на синем флаге. Пожилой моряк с мичманскими погонами обогнал ее и издал крикнул вахтенному матросу, топтавшемуся у сходни:

— Скажи меху, пусть движки запускает! Сбегаем к «Нахимову» и обратно.

Лаура Витальевна будто очнулась... Она подошла к мичману и, путано объясняя, кто она и откуда, попросила взять ее с собой — туда, где лежал пароход, ставший могилой ее сына...

— Вообще-то у нас корабль военный,— озадачился мичман. — Сами понимаете, пассажиров не берем...

Он не отказал сразу, и у Лауры Витальевны затеплилась робкая надежда. Мичман, судя по всему, был командиром этого водолазного суденышка. Ему очень не хотелось отказывать женщине в черном платке, он морщил нажженный солнцем и нахлестанный ветром лоб, соображал, как обойти строгие правила. Наконец решительно выдохнул:

— Идите на борт. Запрошу у начальства «добро» на ваш выход... Думаю, не откажет, раз такое дело... Бирюков! — крикнул он кому-то на судне. — Проводи мамашу в кают-компанию!

Прибежал Бирюков, рослый светлосый старшина с красно-белой повязкой на рукаве, и помог перейти по сходне на гладкую железную палубу. Над кораблем витал густой дух свежезаваренного компота, перебывая запахи соляра, сурика, масла...

Ее провели по гудящему и жужжащему коридору в небольшую кают-компанию с двумя столиками и угловыми диванчиками. Все убранство составляли здесь обшарпанный короб телевизора, пухлая подшивка газет да привинченный меж иллюминаторов портрет главнокомандующего военно-морским флотом.

Лаура Витальевна присела в уголок и стала ждать решения своей судьбы. Да-да, именно судьбы, теперь она знала это наверняка. Только бы добраться до места. А там... Там она сама найдет сына. Волны расступятся перед ее горем, и она сойдет на этот несчастный пароход. А не расступятся, ну что ж, значит, она и Вадим снова будут вместе. Навсегда.

Матрос в белой камбузной куртке поставил перед ней эмалированную кружку с дымящимся темно-коричневым варевом.

— Ты б еще в обрез налил! — заглянул в кают-компанию мичман-командир. Он достал из буфета белую фаянсовую чашку с золоченым якорьком и перелил в нее компот.

— Кушайте на здоровье... Начальство дало «добро» на ваш выход.

Лаура Витальевна почувствовала, что к ней вернулась способность ощущать запахи, краски, звуки. Во всяком случае, в компот явно переложили сухенных груш.

Выход по какой-то причине задержали, и только когда основательно стемнело, водолазное судно отвалило от стенки. Мичман пригласил гостью на мостик, и они стояли вдвоем на площадке поверх ходовой рубки, загроможденной прожектором, треножистой мачтой и вращающимися антеннами. Злыми осами запели в стальных растяжках порывы ночного ветра.

Она глянула на часы и взволновалась: 22.30! Именно в это время отходил от морского вокзала «Нахимов». Значит, все было так, как в ту последнюю ночь лета, значит, и Вадик видел и этот мол, и эти звезды, и эту манящую темень в разрыве портовых огней. Непроглядную темень открытого моря...

Огни города и звезды горели одним и тем же прозрачно-голубоватым светом. Вот так же круизный лайнер оставлял за кормой портовые створы, набирал ход, звучно пенил черную воду...

По левому борту полого волнились отроги Большого Кавказа, обманчиво близкие, с полукружьями сыпучих обрывов. Полная луна оторвалась от гор и пошла на взлет — медленно, плавно, тихо. Слева от нее лучилась Венера, справа сиял крохотный шарик Юпитера.

«Звезды — глаза бога», — вспомнила она чьи-то слова. Здесь, под куполом вечности, гибель парохода уже не казалась столь ужасной, столь противостественной. «Так решило это бездонное небо, так сложились эти звездные знаки», — объясняла она себе то, что случилось. Странное дело, но эти совсем ненаучные аргументы ложились на душу утешительно.

Ее общению со звездами ничуть не мешал молчаливый мичман. Она была благодарна ему за то, что он ни о чем ее не расспрашивал, не пытался утешить. Он только распорядился, чтобы ей принесли бушлат: на мостике было очень свежо.

В лунном свете под колпаком капюшона этот человек походил на средневекового звездочета. Он стоял посреди ночного моря в окружении планет, гор, глупин, среди подсвеченных приборов и вращающихся антенн, уверенно и твердо, точно жрец посреди храма. И когда он, нарушив долгое молчание, обронил всего лишь одну фразу, она приняла ее, как великую мудрую истину:

— Раз море его не выдало, значит, он морю нужен...

Да, да, конечно, так оно есть... Ее вдруг осенило: сын превратился в море, стал его частью! Море вобрало его последнее дыхание, и теперь оно всегда будет слышаться ей в шуме прибоя.

На берегу вспыхнул пограничный прожектор. Голубовато-дымчатый луч скользнул по воде, вымертвив волны синими взблесками. И Лауре Витальевне показалось, что она видит, как белеет под водой огромное тело лежащего на боку парохода, как посверкивают его иллюминаторы, как колышется над ним фантастический лес из всплывших канатов, веревок, всего того, что тянется к поверхности... Она сорвала черный платок и бросила его в море в полной уверенности, что он найдет там Вадима, укроет его...

На месте гибели «Нахимова» еще стояли спасательные суда. Водолазный кораблик встал к борту судна. Матросы засуетились, начали перетаскивать какие-то мешки, какие-то бочки.

— Ну что? — крикнул мичман с мостика на спасатель. — Нашли еще кого?

— Нет, — откликнулись оттуда.

Командир взял Лауру Витальевну под локоть.

— Идемте вниз... Помянем их всех.

Они спустились в кают-компанию. За левым столиком сидели пожилые мичманы, за правым — молодые старшины. Вестовые разносили тарелки со сладким рисом и изюмом. Это командир распорядился сготовить кутью — поминальную кашу. Ели ее ложками, хотя по старинному обычаю полагалось брать руками. Но этого Лаура Витальевна и сама не знала, так как ела кутью всего лишь однажды, в далеком детстве, на поминках бабушки в глухой новгородской деревне. Должно быть, и мичман был из деревни, коль скоро помнил этот обряд. Она глотала кутью и слезы, благодарно поглядывая на этих людей, поминавших пассажиров «Нахимова», ее сына, точно своих близких.

А потом ее отвели в каюту, пропахшую табаком, соларом, морским йодом. Сбросив туфли, она легла на койку, и ее укрыли черной флотской шинелью. Уснула она сразу и спала глубоко, как спало ей в ту последнюю ночь лета.

г. Новороссийск.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В последнюю ночь прошлого года разыгралась крупнейшая в истории отечественного морского

транспорта катастрофа: сухогруз «Петр Васев», шедший с грузом ячменя из Канады, врезался в борт круизного лайнера «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали около четырехсот моряков и пассажиров. Удалось спасти 836 человек.

Как показало расследование, авария явилась следствием преступной халатности капитанов судов, грубейшего нарушения правил безопасности мореплавания. Непосредственные виновники катастрофы бывшие капитаны Марков и Ткаченко находятся на скамье подсудимых. Исключен из партии и снят с работы начальник Черноморского морского пароходства С. Лукьяненко. В партийном и дисциплинарном порядке наказаны заместители министра морского флота СССР А. Голдобенко и Б. Юницын, а также председатель Всесоюзного объединения «Мореплавание» Б. Майнагашев.

Политбюро ЦК КПСС выразило глубокое соболезнование семьям пострадавших и приняло меры к оказанию им помощи.

Уроки новороссийской трагедии непреходящи. Они учат нас непримиримости к любым проявлениям расхлябанности и недисциплинированности, показывают, сколь своевременны меры, предпринятые партией для наведения порядка во всех сферах нашей жизни.



**Евгений
ХРАМОВ**

☆☆☆

Коль судьба мне не судила
Этой ночи повторенья,
Пусть поможет всё, что было,
Превратить в стихотворенье.

Чтобы пережил я снова
Эту радость, эти муки,
Чтобы перелил я в слово
Твои сомкнутые руки.

Чтобы ты, уехав ночью
С затемненного вокзала,
В сочиненных мною строчках
Улыбалась и стонала.

Чтобы ты могла такого
Навсегда со мной остаться,
Дотянусь к тебе строкою
Может статься, может статься...

☆☆☆

Братья отца, Николай с Александром...
Кровью пахнуло и самосадам.
Скрипнула юнкерская портупея,
Бьет с Воробьевых гор батарея.
Цепь атакующих ближе придвинется,
К небу лицом командир опрокинется.
Видно, у красных пуля не дура.
Здесь — дядя Коля, а там — дядя Шура.

Братья отца, Александр с Николаем,
Может быть, мы по Москве погуляем.
Выйдем на Скобелевскую площадь,
Там, где знамена всех партий полощет
Ветер Семнадцатого года,
Что за прекрасная нынче погода!

Братья отца, Николай с Александром...
Время гитарным звенит палисандром,
Дачным уютным гудит самоваром,
Веет от печки-голландки угаром.
В памяти рода мы вас разделяем,
Братья отца, Александр с Николаем.
Старший — в реальном, другой — в гимназистах,
Тот — в «добровольцах», а тот — в коммунистах.

На Новодевичьем спит дядя Коля,
А дядя Шура гуляет на воле,
В Таврии где-то, вдоль Южного Буга.
Оба не знали ни лжи, ни испуга.
Братья отца, Николай с Александром,

Что же мне делать с вашим талантом?
С вашей любовью к нашей России?..
Братья отца,
Молодые,
Живые...

☆☆☆

А страшно было жить в те лета
В колодцах каменных дворов,
Как бы под дулом пистолета,
Под раструбами рупоров.

Те рупора чуть-чуть трещали
И, правотой облечены,
Знакомым голосом вещали,
Что снова разоблачены
Враги —
И двадцать пять фамилий,
Враги —
И им пощады нет,
И телефоны не звонили,
И почта не несла газет.
И где-то там, у края мира,
Под солнцем, красным, как томат,
Шагали молча конвоиры —
За них всё скажет автомат.

Но всё это в морозной дали,
В далекой тусклой стороне,
С обратной стороны медали,
А здесь жилось прекрасно мне.
Мне солнце Родины светило,
Влюблялся я, в кино ходил,
Всё, что вокруг происходило,
Все принимал я и любил:
И тот Ансамбль Краснознаменный,
Парадов равномерный шаг,
И радостный рев стадиона,
Когда выигрывал «Спартак».
Казалось мне — всё так и нужно,
Пусть Он — министр и генерал.
И вот когда он занедужил,
И вот, когда он умирал,
Когда летели бюллетени,
В одну всех скручивая нить,
Мои слова к нему летели,
И я просил: «Останься жить!
Останься жить, великий мудрый,
Учитель, Друг и Рулевой...»

И снова вижу день тот мутный
И флаги с траурной каймой...
Забить напрасное старанье
Времен тех горьковатый вкус...
Застыл на траурном собрании
Проверенный наш первый курс.
И мысль одна в притихшем зале —
Куда теперь нам без него.
И парни слез не вытирали
И не стеснялись ничего.

И мне страшнее, чем угрозы
Всех заполярных лагерей,
Вот эти
Искренние слезы
Моих обманутых друзей.

Случайный фотоснимок

Как он похож на того, в подворотне —
Темный окуроч в мелких зубах...
Сытый, довольный, рыбак да охотник
С полупудовой семгой в руках.
Всё ему вынь да положь, да подай-ка,
Словно ему подчинились навек
Ягода, яблоко, рыба-шемайка,
Птица и зверь, а потом — человек.
Так для того ли природа терпела,
Рожь наливалась и зрела лоза,
Чтобы создать это сбитое тело,
Узенький лоб и мышата-глаза?

Так для того ли Толстой и Овидий,
Кисть Тициана и Баха хорал,
Чтоб не любя, да и не ненавидя,
Он настигал, добывал, убивал?
Верую самою истовой верой —
Счет да прервется этим шагам,
Да воздадут ему тою же мерой
Крепкая сеть и колючий жакан...

☆☆☆

Был отец мой встречами редкими,
По утрам телефонным звонком,
Стал он нишею номер семнадцать
В самом цоколе в старом Донском.

А еще был он сыном любимым,
Самым младшим, последним птенцом,
Гимназистом, рабочим, студентом
И еще был моим отцом.

Инженером на энском заводе,
Ополченским недолгим бойцом,
Стариком в опустевшей квартире
И еще был моим отцом.

Скоро год, как его схоронили,
Продолжаем по-прежнему жить,
И свиданья по-прежнему редки,
Только некуда больше звонить.

Болотная площадь. 1775 г.

Был государынин суд-пересуд.
Всё рассудили. Всё подписали.
И вот закричали: «Везут! Везут!» —
И показались черные сани.

Он едет, Петр Федорыч,
Вокруг него гусары.
Он смотрит, Петр Федорыч,
Убито и устало.

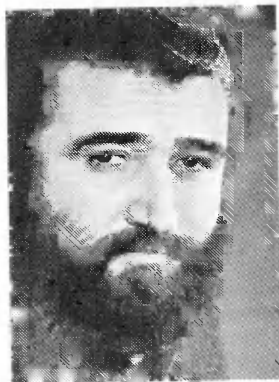
Шапки кидали,
В ноги — ковер.
Шел в государи.
А пришел — вор.

Колокола
бьют, бьют:
«Скоро вора
У —
бьют...»

А еще доносится гул,
Так гудит морозная рань:
«Обманул, обманул, обманул
Оренбург, Саратов, Рязань.
Нам, мол, жить средь белых хором,
Мы графья, мол, твои и князья,
А теперь мы кормим ворон,
На глаголях мертвых вися.
Отощал народ, обнищал.
Без тебя — куда же теперь?
Ты такую жизнь обещал.
Обманул и Нижний и Тверь».
И тогда государь встает —
Да не Петр теперь — Емельян.
И такую речь он ведет,
Размахнув на груди кафтан:
«Ты прости, прости, православный люд!
Видно, был я крут, да не больно крут.
Видно, руки мои были слабеньки.
Ино — плетью взмахнул, надо б — сабелькой.
А еще за то ты меня прости,
Что мужичьего званья не смог я нести...»

А народу кругом — невпроворот,
Да ничего не слышит народ.
Только видит, как плечи расправил палач,
Только видит, как к черному всё ближе кумач...

Ты прости нас, прости,
Государь наш Пугач.



**Размик
ДАВОЯН**

Блаженный край

В райском крае, в дивном раю,
Где небеса так светло голубели,
Кто-то лелеял надежду мою,
Грезу мою колебал в колыбели.
Помню цветы у прозрачной струи,
Помню, как тихие птахи летали,
Помню, как слабые крылья мои
С каждым мгновением мощь обретали.
Помню загадочный голос травы,
Голос мечты, отвергающий будни,
Голос надежд. Но надежды, увы,
Рухнули, не дотянув до полудня.
В райском крае, в дивном раю,
Там, где земное, казалось, избыто,
Кто-то отсекал первозданность мою
Ржавым мечом повседневного быта.
Адская темь наступила за днем,
Скорбные губы свело, как от яда.
Но запылали безумным огнем
Над головой золотые плеяды.
Не затухают, горят все сильней,
Всё беззаконнее и непокорней —
Память погубленных чудо-корней,
Вера упрямая в новые корни.
В райском крае, в дивном раю
Всё говорит о потерянном рае.
Здесь я надежду свою отпою,
Но, хоть частично, долги отыграю.
Пусть утекло неприметно тепло,
В трауре мрачном обвисли знамена,
Да посветлеет в улыбке чело —
Новые дни назову поименно.
В райском крае, в дивном раю
Ласковый ветер меня овеивает.
У воспаленной тоски на краю
Молча, неистово явь вызревает.
Листья густеющих крон шелестят,
Крепнет, сгущаясь во мраке, основа.
Я ли грущу или ветви грустят? —
Важна исход сновиденья дурного.
Мне ли осанну не петь бытию
В райском крае, в дивном раю!..

Два отрывка из поэмы

1

Жизнь изменяет и иначе,
Творя свой подвиг вековой.
Но в сердце безутешно плачет
Хранитель дома — домовый.
Внушает сладкую истому
Чуть покосившийся торец.
И я ищу тропинку к дому,
Как заплутавшийся малец.
И хоть далек от осязанья,
Но оттого милей стократ,
Стоит наш город пред глазами,
Прошитый нитками оград.
Домишек туфовые плиты
Окрашены в зеленый тон.
И будто Вечностью отлитый —

Наш старенький полузабытый
Библейский, заповедный дом.
Там все, как прежде, без утайки
Хранит приметы той поры.
Кур обессиленные стайки
В траве укрылись от жары.
И эти признаки былого
Вовек века не отпоют,
Покуда стельные коровы
В хлеву медлительно жуют.
То, что одной любовью живо,
Не так-то просто сокрушить.
Жестоко нас война душила.
Да не сумела удушить.
Мы кровь пролили не для славы,
И поразились палачи
Тому, что выжженные травы
Вздымали стебли, как мечи.
Мы с фронтом были двуедины,
Сопротивляясь всей страной.
И даже кроткая скотина
Ревела грозно за спиной.
И утлый кров остался кровом,
И сохранил себя уют.
И, как века назад, коровы
В хлеву медлительно жуют.

2

Пусть понемногу этот день истаёт,
Пусть спрячет звуки сонная гряда,
Пусть месяц, как пастух, пересчитает
Бесчисленные звездные стада.
Пусть люди спят, пусть жизнь уснет спокойно,
И ветер, мирный дух в себя вобрав,
Сквозь все раздоры, перепалки, войны
Пускай несет медвяный запах трав.
Пускай стоят часовенки в молчанье
И осеняют спящие холмы.
Пускай речушка сельская печально
Поет свои печальные псалмы.
Все оживляет нежный запах детства,
Спокойная родная благодать,
Полученная мною по наследству
Затем, чтобы потомкам передать.
Во всем я вижу родовое сходство,
Напитанное тем же молоком.
И даже если выпало сиротство,
Как страшно оказаться чужаком!
Вновь обретать минувшее непросто,
Но как предать глубинное родство,
Когда дома, тропинки и погосты
Приветствуют меня как своего!
Пока я здесь, и ветер Ванкадзора
На тихих крыльях прошлое несет,
Я чую на себе родные взоры
Людей и незапятнанных красот.
Когда окрест отеческая пахить,
Простая деревенская молва,
Не хочется ни володеть, ни княжить,
Но — собирать простейшие слова.
Земля отцов сродни моим подошвам,
И только ею я еще храним.
Сегодняшний, я завтра стану прошлым,
И завтрашний, я тоже стану им...

Ночь

На ветру качались твои фонари,
В подворотни юркнули твои псы,
На крышах твоих твои коты
Замолкли уныло, и песни твои
Кончились, так и не прозвучав,
Тени твои по ступенькам твоим
Спускаются вниз, поднимаются вверх
И застывают, окаменевают...
Я выжал тебя без остатка, ночь,
Как угольно-черный альпесин,
И к утру на ладони моей
Остался янтарный сок зари.

Перевел с армянского
Л. ГРИГОРЬЯН



Вероника
ДОЛИНА

☆☆☆

Я всегда подгоняю поезд,
Даже если он самый скорый,
Потому что ничто не мчится
Так же быстро, как жизнь сама.
Я всегда подгоняю повесть,
Даже если писатель хороший,
Потому что ничто не мчится
Так же быстро, как жизнь сама.
А жизнь нельзя подгонять нисколько.
Ее одну подгонять не надо.
Потому что ничто не мчится
Так же быстро, как жизнь сама.
Жизнь сама очень скорый поезд.
Жизнь сама — недлинная повесть.
И ее подгонять не надо.
А себя подогнать — не грех.

Свидание с Таллином

Сквозь туман, как сон старинный,
Проступают далеко —
Этот Герман, вечно длинный,
Вечно толстая Марго...

Если ратуш касалась бы ретушь,
Как фотографии — глянца лица...
Мы с тобою увиделись — нет уж!
Не забудем теперь до конца.
Помнишь челку мою смоляную?
Помнишь жилку на сгибе руки?
Ты меня вспоминаешь иную,
И без проседи, и без тоски.

Все, что дорого, длится недолго.
Все не вспомнится, да и зачем?
Посреди твоего Кадриорга
Я стою, растерявшись совсем.
Вот какая была я смешная!
Все смешным мне казалось вокруг.
Вот какая была я ручная!
Даже белок кормила из рук.

Долго помнили мы друг о друге.
И опять повстречались, как встарь.
Снова здравствуй, заржавленный флюгер!
Снова здравствуй, чугунный фонарь!
Разговор поведем понемногу.
Не отыщем местечка нигде.
Не живу на широкую ногу.
Но с тобой — на короткой ноге!

Сквозь туман, как сон старинный,
Проступают далеко —
Этот Герман, вечно длинный,
Вечно толстая Марго...

Цыганочка Аза

Цыганка, цыганочка Аза
Жила тут и зиму и лето.
Теперь тут спортивная база,
Тяжело- и легкоатлеты.
Вон там пробежала в беседку,
Вот тут примеряла наряды.
Теперь тут площадка и сетка,
А также другие снаряды.

Шумели, шумели, аллеи*,
 Отрада хозяйского глаза.
 Шалели мужчины, шалели —
 Плясала цыганочка Аза.
 «Москву позабудешь и Питер!
 Ты все у меня позабудешь.
 Я первый российский кондитер,
 Ты первой цыганкою будешь!»

Да что это, что это значит?
 Шампанское льется и льется.
 Цыганка смеется и плачет,
 И плачет, как будто смеется.
 В деревне у нас — перемены.
 Где старой часовенки конус —
 Теперь молодые спортсмены
 С утра повышают свой тонус.

Цыганка, цыганочка Аза!
 Влюбленный, взбешенный кондитер,
 Та самая, самая фраза:
 «Поедем-ка, милая, в Питер!...»
 Теперь — беговые дорожки.
 Теперь — молодые аллеи.
 А раньше-то, господи, дорожки!..
 А раньше — коней не жалели...



**Бахтияр
 ВАГАБЗАДЕ**

Опасный сон

Вновь новый титул к имени добавлен...
 Он, может, что-то мне и говорит,
 но в званиях почетных утопают,
 и у меня в глазах уже рябит!

Под бременем похвал талант мой гнется,
 сном славы сморен, одурманен он.
 И я боюсь: заснет и — не проснется,
 питьем дурманным лести опоен!

И будет он лететь, как скорый поезд,
 без остановки... Дым и стук колес.
 Аман! — я об одном лишь беспокоюсь:
 чтоб на вершину славы не занес.

Я не люблю вершин, там — помпа, пышность,
 хоть это по душе кому-нибудь...
 Быть может, настоящая вершинность —
 к вершине высшей следующий путь.

Замедли, поезд! Даже малой почкой
 хочу полюбоваться от души!
 Чтоб из-под ног не уходила почва,
 у малых полустанков не спешу.

Вошла земля родная в сердце прочно,
 былиночке ее не изменю!
 Оплачены такою болью строчки,
 что знаю: не загинут на корню!

Есть долг поэта, он всех слав превыше,
 и ты себе до смерти не простишь,
 коль станет то, что с упоеньем пишешь,
 и ниже, и слабей, чем твой престиж!

* Усадьба булочника Филиппова — ныне база Олимпийской сборной Союза.

Сто тысяч слав порою стих рождает,
 но ей ни строчки не родить — увы! —
 Бегущие за славой, жизнь растает,
 и станет ясно, что бесплодны вы.

Холодным ветром скоро осень дунет
 и на моей, летящей вывесь тропе...
 Приходят эти сложные раздумья
 предупреждением самому себе!

Подари мне страданье

Ты — мой компас на дороге дальней,
 воплощение трепетной мечты.
 За горою мук, тревог, страданий
 моя радость, мое горе — ты!

Горе оселком могучим станет,
 чтобы чувствам остроту вернуть.
 Подари мне глубину страданий,
 и яснее я увижу путь!

День твоих страданий году равен...
 Разожжет огонь под пеплом боль!
 Как страданье сердце мне ни ранит,
 обновит оно мою любовь.

Не могу я больше жить спокойно.
 Испытал предел любви и сил,
 Подари страданье, сделай больно,
 чтоб всецело радости вкусил.

Жизни вкус познать желаю честно,
 вникнуть в смысл ее и существо.
 На земле следы мои исчезнут
 без печати горя моего!

Быть хочу причастным к этой тайне,
 испытай меня, мой дар и бич!
 Подари мне глубину страданий,
 чтоб непостижимое постичь.

Нежный мой наставник стародавний,
 светлое начало всех начал,
 подари мне глубину страданий,
 чтобы ложь от правды отличал!

Не прошу тебя: покоя дай мне! —
 хоть мечусь в потоке бурных дней.
 Подари мне глубину страданий,
 чтоб любить тебя еще сильнее!

Метаморфозы

Меняет голос микрофон,
 когда певец поет.

Иной регистр, и тембр иной,
 и звуков нов полет.

Меняет грим глаза, лицо,
 знакомые черты.

А можно изменить и суть
 любви, надежд, мечты.

Иной меняет имя, род
 и свой родимый край.

И материнский свой язык
 на чужеземный рай.

И так бывает: в тяжкий час,
 когда все трын-трава,

меняет кое-кто из нас
 и мысли, и слова.

Он думает: ну что ж, судьба...
 Так покорись судьбе.

Он изменяет сам себя
 изменою себе.

Адам когда-то рай сменил,
 но помним с давних пор:

цвет красный яблока пленил
 его невинный взор.

А мы на что себя в наш век
 меняем в дебрях лет?

В итоге будет человек,
 а человечность — нет!

Перевела с азербайджанского
 Р. КАЗАКОВА.



ЕЛЕНА БРЫЛЕВА: «НЕ ВОСПРИНИМАЮ МУЗЫКУ ФОНОМ»

На сцене Большого зала консерватории непривычно стояла старая тахта. А что делать: в студенческом спектакле гибла, угасала Травиата, и ей надо было куда-то приземляться. Знаменитая курьезная издержка классической оперы: умирая, героиня никак не умрет и при этом долго поет свою последнюю арию. Добавьте пару неловких партнеров, старательно изображающих аристократов: один — как пень с глазами, другой — копия ланка из «Сестры его дворецкого». Согласитесь, «условности» такого рода перевариваются трудно. И все же Елена Брылева, певица Виолетта, совершила чудо: явила нам высокое искусство.

Прошедший год был для Брылевой счастливым: первая премия на конкурсе в Голландии, выступление с алябьевским «Соловьем» на правительственном концерте во Дворце съездов (что большая честь для студентки) и, наконец, приглашение стажироваться в Большом театре. Мне же наибольшим успехом представляется тот скромный, не во всем складный, но искренний студенческий спектакль.

— Дипломная «Травиата» — это мой звездный час. Впервые я выходила на сцену не просто петь, а в большой роли, и веер дрожал в руках вполне натурально. Незадолго до того посмотрела фильм Дзеффирелли. Появилось ощущение — невозможно сыграть и спеть лучше Терезы Стратас, можно лишь что-то повторить. Психологически обрела себя на снисходительную оценку: «Может, и хорошо, но сляздила...»

— Вы совсем не были похожи на ту кино-Виолетту. А вас не покорила сам факт экранизации классической оперы?

— Наоборот, я подумала: может быть, экран — это в чем-то и будущее оперы. В театре даже с четвертого ряда партера не заглянешь в глаза певицы.

— Сейчас, когда кумирами молодежи легко становятся певцы эстрадные, можно ли было так увлечься классикой?

— Все получилось само собой. Я окончила музыкальную школу как пианистка, училась в пединституте. На втором курсе попросили на концерте в Ленинском днях сыграть «Лунную сонату» и спеть русскую народную

песню. Я пела «Есть на Волге утес» (хотя это для баса). Бог весть как в зале оказалась композитор Татьяна Чудова, она подошла ко мне: «Что вы делаете в этом институте? Учусь». «Вам не здесь учиться надо». Уговорились, что меня прослушает профессор консерватории Гуго Ионатанович Тиц. Он отнесся ко мне благосклонно и только в конце спросил: «А историю СССР сдашь???»

— В чей класс вы поступили?

— Попала к Виктории Федоровне Рождественской. Ей было уже за девяносто. О чем она только не рассказывала, вплоть до телефонного разговора с Распутиным — тем, пикулевским. Она учила не только петь, но и ходить, стоять, вести себя в жизни и на сцене — какой жест, какой взгляд... Сама была очень живая, держалась прямо, с балетной выправкой. «Девочки, сейчас модно материал в клеточку, я своей портнихе уже заказала...» По завещанию Виктории Федоровны я перешла к Нине Львовне Дорлиак, мать которой, как и Рождественская, училась у Натальи Александровны Ирецкой, давшей русскую культуру таких певцов, как Забела-Врубель, Катальская, Петренко. В классе Дорлиак — та же высокая культура во всем. И уж если говорить о моих замечательных педагогах до конца, я всегда поражалась, как люди столь высокого достоинства, «классического» воспитания просты в общении, доступны для дискуссий со студентами, как непосредственно и естественно их поведение среди собеседников любого уровня культуры.

— И все же могли бы вы выступать в легких жанрах?

— Я не воспринимаю музыку фоном. А моя четырнадцатилетняя сестренка уроки делает в наушниках.

— Видите ли вы себя в Большом театре?

— Пока нет. Ведь я не знаю, с кем мне придется работать. Думаю, что будет тяжело. Но я так люблю театр!

— Что, кроме «Травиаты», хотелось бы спеть в Большом?

— Снегурочку. Антонииду. В «Царской невесте» не Марфу — Любашу. Об этой роли мечтала когда-то Нина Львовна.

Характер у Лены мягкий, не бойцовский. Голос, представьте, несильный. Он другого свойства, которое музыканты называют полетностью. Вдруг в данном случае произойдет «смена моды»? А то в борьбе за место под софитным солншком наши замечательные певицы в полном блеске красоты и таланта все чаще смахивают на волчицу Анбару, нежели на воплощенную Психею... Так какими же на большую сцену выйдут юные героини Лены Брылевой? Пусть все такими же неземансипированными, какой видим мы ее сейчас. И голос пусть летит — дальше, выше. Жалко, глаз ее мы из зала не разглядим. Даже из четвертого ряда, если крупно повезет.

Н. ЗИМЯНИНА.

Фото Ю. Барыкина



Леонид
ВЫШЕГОРОДЦЕВ

СЦЕНЫ ВИДЕОЖИЗНИ

*Дебют в
«ЮНОСТИ»*

Два года назад, поддавшись моим уговорам, отец приобрел видеоманитофон. Но что смотреть? Где взять фильмы? Друзей с видео ни у меня, ни у родителей не было. И видеосалонов тогда еще не было (сейчас они есть, но стоит ли платить от трех до шести рублей, чтобы посмотреть на тесном телеэкране плохую копию фильма, который идет в соседнем кинотеатре?). Приятель отца принес как-то зубодробительный боевик, который он у кого-то выпросил, и мы два вечера крутили эту кассету.

Оставался единственный выход — расширить круг знакомств, обзавестись видеодрузьями. Помог старый приятель, который забежал однажды и, увидев наш новенький «видак» и посочкалев, что нет дистанционного управления, попросил показать что-нибудь.

— Как это — «нет ничего»? Чуть не месяц у него машина стоит — и ничего нет! Да ты, дядя, бестолковый! Тащи сюда телефон!

Мать застыла в дверях в ожидании чуда.

— Ну и сын же у вас! Девочка живет чуть ли не в соседнем доме, а он ее не знает! Рванули!

И чудо свершилось. Девушка по имени Алена одалжила меня на неделю дюжиной видеокассет. Так началась моя видеожизнь.

Я быстро усвоил: для того чтобы не быть постоянно в долгу, а участвовать в обмене на равных, надо иметь свой обменный фонд. Отец поучаствовал и в приобретении кассет — на свою инженерную зарплату я смог бы купить лишь полторы трехчасовые кассеты. Но что писать? По Москве ходит до десяти тысяч различных кинокартин. Разве в таком «завале» сразу сориентируешься? С названиями — полная неразбериха. Один и тот же фильм, например, встречался мне с четырьмя различными названиями — кто как перевел... Первые две кассеты я заполнил фильмами неплохими, как потом оказалось, но уже заезженными. Фильмы были серьезные, «трудные». Помыкавшись с этими кассетами, я увидел, что берут их смотреть с неохотой. Это сейчас стало престижно гоняться за «умными» или «завернутыми» картинами, тогда же как-то меньше лицемерили, и легче всего шли в обмен фильмы «на вечер» — бое-

вики, детективы, легкие комедии и фильмы ужасов. Больше всего ценились «крутые» боевики. Таких было немного — «Бегущие по лезвию бритвы», «Жонан — варвар», «Воины», «Безумный Макс», «Бегство из Нью-Йорка»...

Записывать кассеты, если у тебя не «дабл-видеодека» или нет видеоманитофона у соседа, — дело непростое. Есть что записывать — не на чем, а стоит выпросить «видак» — куда-то все кассеты расползаются. Привозишь от приятеля аккуратно запакованный в одеяло аппарат и собираешь все, что попадает под руку, всем что-то обещаешь, набираешь в конце концов кучу муры и пишешь, пишешь, пишешь... Поставил аппараты на запись, а сам до боли в затылке рассчитываешь, войдет ли на эту кассету еще один фильм или «музыкалкой» дописывать придется? Прикидываешь так и эдак и все же ставишь писать фильм, магнитофоны мягко урчат еще полтора часа, и, конечно, пяти минут пленки не хватает. Черт! Ищешь кассету с «музыкалкой», все по новой, фильм вечером вернуть надо, а тут на втором часу записи провал напряжения в электросети, и ты проваливаешь чувствительную защиту видеоаппаратов — они мгновенно отключаются. Опять по новой! Тут приходит отец, занимает телевизор, и ты с ненавистью косишься на ретивых баскетболистов, бегущих по экрану. Пишешь уже вслепую, влезает по времени на кассету — и ладно...

Записал наконец я свои кассеты, аккуратно напечатал названия фильмов (специально выпросил у подружки машинку с латинским шрифтом!), наклеил бумажки, как положено, на кассеты и на пластиковые коробки.

Зря старался. Пустишь в обмен кассету в пластиковой коробке — ее сразу же поменяют. Коробки вообще все время путают, случайно или специально. Требовать свою не всегда удобно. Вроде мелочь какая! Я не сразу сообразил отдавать свои кассеты в истрепанных «обменных» коробках. Некоторые, чтобы коробки свои в девственной неприкосновенности

Рисунок А. Сальникова.

содержать, передают кассеты в молочных пакетах. Называются это «молочная почта» или «молочный конверт».

Кассеты свои я расставил на книжной полке, потеснив книги. Но долго любоваться ими не пришлось — ушли на обмен. Чем и с кем я только не менялся! Иной если дает тебе кассету трехчасовую, то и ему будь любезен взамен — тоже трехчасовую. Мне рассказывали про одного любителя, который даже сравнивает фирмы, выпустившие кассеты!

Теперь у меня в комнате всегда стояло много ступлев. Стоило мне прийти с работы, начинались звонки, «забывание стрелок».

— Слушай, «Огневая мощь» с Софи Лорен у тебя? До вторника под «Роллербол» пойдет? Ну, это типа фантастики... Ну да, вроде того... Я тут рядом с тобой буду, заскочу... Часиков в семь...

— Ну, как тебе «Бешенство»? Как каеое! Ну, с Кирком Дугласом, про экстрасенсов... Во-во, я и говорю! В общем, надо нам с тобой толкнуться. Взять мне его, говорю, у тебя надо! Подходи на Свердловка к семи. Ну, к полвосьмого... Захвати что-нибудь эдакое... «Апокалипсис нау»? Смотрел, смотрел... Давно... Ладно, давай его, а я тебе «Китайский квартал» кино. С Николсоном...

Звонки не утихают, а уже появляется первый визитер. Мы обмениваемся, часть полученных кассет я отставляю в сторону — их надо будет передать Женьке, чтобы забрать у него «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи. Я надеялся успеть перекусить, но приятель принимается рассказывать сюжет фильма «Богомол», потом расхваливает «Случайного попутчика», предостерегает от «Найти и уничтожить» как от заурядного боевика, я, в свою очередь, обещаю ему «классный» фильм «Возвращение в Эдем», интересуюсь насчет третьей части «Конана» и узнаю, что она вышла, но еще не появилась... И едва успеваю на «стрелку» на Свердловка, где, воровато оглядываясь по сторонам, обмениваюсь пакетами с хмурым Сергеем. Обмен кассетами на публике имеет вид совершенно детективный, похож на встречу агента с резидентом. Словно занимаешься чем-то запрещенным и неприличным... Потом «стрелка» на Пушкинской, потом у Никитских...

На столе у видеомагнитофона растет ряд кассет, которые надо посмотреть. Но пока некогда. Уже совсем поздним вечером я сам отправляюсь с визитом, обещал занести знакомым комедию. Посидев немного, собираюсь уходить, хозяйка останавливает меня: «А ты ничего не хочешь посмотреть?» Я вспоминаю о запасах кассет дома, но удержаться не могу: «А у тебя что-нибудь интересное есть?» В результате в своем хлипком пакете уношу новые коробки. Когда я буду все это смотреть? Мне завтра к восьми на работу — посылают на стройку... Но не успеваю кассеты расставить, опять телефонный звонок.

— Привет. У моего соседа, оказывается, тоже видеомагнитофон есть и кассет штук тридцать. Он тут список набросал, я тебе сейчас занесу, все равно хочешь перед сном прогуляться... Так ты ему тоже дай свой список...

Родители уже поостыли к домашнему кино, отец стал требовать передач по «нормальному» телевидению, мать, правда, держалась дольше...

В один из воскресных дней в нашем доме состоялся рекордный видеосеанс — четыре трехчасовые кассеты подряд! Не могу сейчас вспомнить, что же мы такое смотрели. Из-за хронического недосыпания я терял ощущение реальности. И на работе — сидишь с паяльником за монтажным столом, а в голове крутятся имена, названия фильмов, номера телефонов, коробки кассет...

В общем, я решил покончить с этой суетой. Кассеты по-прежнему брать, «стрелки забивать», но фильмы, какими бы заманчивыми они ни были, не смотреть. Коробки с известными и неизвестными названиями, написанными фломастером, шариковой ручкой, простым карандашом, напечатанными на машинке по-русски и по-английски, стояли на специально отведенной для чужих кассет полке и искушали. Нет-нет да и подходил я к этой полке, переби-

рал коробки, сматывал пленку, если она не была перемотана. Видеокассеты к магнитофону самой распространенной в мире системы «VHS» имеют только одну сторону, перематывать пленку долго, минут пять. Но делать это перед тем, как вернуть кассету, — правило хорошего тона в видеообщении. Возвращают тебе смотанную кассету — значит, времени не пожалели и обращались аккуратно. Не вырвали ее в спешке из аппарата, чтобы скорей вставить новую.

Из круга видеообщения я не выпал, но строгая диета умерила аппетит. Мы не просто «наелись», мы «объелись». Друзья, заходя ко мне, первым делом просили: «Ты только эту штуку пока не включай. Поговорить хочется...» Дав глазам отдохнуть, мы начали вновь просматривать фильмы, но уже потихоньку, спокойно. Под настроение можно и посмотреть. Я стал брать кассеты реже, тщательно отбирал их, мой круг видеообщения сильно сузился, но зато остались люди, которых устраивал неспешный темп обмена, когда берешь не лишь бы что-то и по инерции, а только то, что нужно. Образовалась компания «по интересам». Мне оставалось лишь в последний раз повидаться с Лешей...

Лешу боялись все, кто хоть раз имел с ним дело. Если ему удавалось вытянуть у тебя хотя бы одну кассету — все, ты попался. Он придет ее отдавать и заберет следующую, потом еще и еще, и так без конца. Появляется он, не договариваясь заранее и не предупреждая, кассеты спрятать ты не успеваешь, и он тебя грабит. Взамен обычно ничего не оставляет или оставляет какую-нибудь чепуху. Сопротивляться ему бесполезно — он божится, что вернет тебе кассеты по первому требованию, хоть завтра в пять утра, как прикажешь, обещает все фильмы, которые только выходили в свет и которые еще выйдут, и буквально вытягивает у тебя из рук кассеты.

И ко всему прочему Леша приунылся оставлять у меня чужие кассеты: «Место у тебя классное, живешь удобяком». Ко мне стали заходить и звонить незнакомые люди: «Леша тут говорил, у тебя лежит...» Чтобы не открывать Леше дверь, нужно было выручить свои кассеты. А как ни старайся, Леша хоть одну кассету да оставит у себя, обязательно одна моя кассета окажется «у парнишки, а он уехал в командировку»... И надо же было случиться, что у Лешы оказалось «Кабаре» Боба Фосса, любимый фильм отца. Отец мог смотреть его хоть с середины — это был чуть ли не единственный фильм в моей видеотеке, к которому он относился с уважением. Он отказывался понимать, как это двадцатипятилетний «здоровый лоб» может тратить столько времени и сил на такое пустое дело. Не разделял он и наших восторгов насчет качества видеопродукции и открывшихся возможностей. Он приводил как поучительный пример такую историю — в тридцатые годы один народный артист, которого очень любили наверху, и имевший кучу денег, купил холодильник — по тем временам большую редкость. И к нему приходили смотреть холодильник, артист этот целый спектакль с ним разыгрывал, показывал, как тот замораживает и все такое прочее. И стало тогда хорошим тоном на холодильные темы говорить, хотя сейчас это и в голову никому не придет. Так, на его взгляд, случится и с видео. Фильмы отец смотрел лишь тогда, когда смотреть по ЦТ было совсем нечего. Интересовали его «музыкалки» и такие записи, например, как финальный концерт рок-фестиваля в Центральном Доме туриста, снятый на камеру моим знакомым. «Кабаре» отца трогало, он по нему скучал. И не раз уже спрашивал, когда его вернут. Но Леша исчез с моего горизонта с тех пор, как я сел на видеодиету.

Леша — типичный видеоман. Он готов смотреть что угодно и когда угодно. От видео он не устает. Даже если фильм ему не нравится, он досмотрит его до конца хотя бы на ускоренном показе. За нужным же фильмом он поедет ночью хоть в Ясенево. Самое для него соблазнительное — это только что появившийся на кассетах фильм, «новье» или «свежак». Лешиним кумиром был Арнольд Шварцнайгер — исполнитель ролей Конана и киборга-убийцы.

Стремясь отловить Лешу, я возобновил старые связи и начал ходить на «стрелки». И почувствовал, насколько отвык от всего этого, потерял форму. Простоял один вечер с Сергеем и одурел от его рассказов о новомодных видеоприспособлениях — усилителях видеосигналов с фильтрами для перезаписи, фильтрах, убирающих шумы, машинках для скоростной перемотки и чистки пленки, всевозможных декодерах... А вместо Лешки на встречу с Сергеем пришел какой-то незнакомый парень, затянутый в черную кожу под «Безумного Макса», который принялся нас учить, пленку каких фирм покупать надо, а каких не надо. И все же Леша попался. Мне передали, где и когда он встречается с парнем, который везет ему новый фильм с Чаксом Норрисом, а Чак Норрис для него — в одном ряду с самим Шварцнаггером.

— Как хорошо, что встретились, — подбежал я к нему. — Мне «Командос» обещали. Оригинал с переводом. Понимаешь? «Командос»! Самое последнее, что у Шварцнаггера вышло!..

— «Командос»? С Арнольдом? Это смертельно! Ты что, писануть хочешь? Вези ко мне, гоп! Когда возьмешь? Это лом!

— Ну! Чувак тот, он от Лайзы Минелли тащится, понимаешь? Он давно «Кабаре» ловит, «Командос» ни подо что другое не даст... Где мое «Кабаре», Лешк?

— Я его кинул одному парнишке... Хорошо, тут рядом. Ну ты меня сломал!

По дороге Леша, не умолкая, рассказывал, как Шварцнаггер «качается», какие принимает анаболики. Он достал из набитой кассетами сумки два яблока, одно кинул мне, от другого разом откусил половину, с сердцевинкой и косточками.

— С утра не жрал ничего, все мотаюсь с этими коробочками... Улет, да?

Дверь нам открыл парнишка лет под сорок.

— Виталий, извини, что не позвонил сперва... Мы тут рядом были. Понимаешь, вот ему под ту кассету, которую утром я тебе заносил, «Командос» обещали. «Командос» предлагают за «Кабаре», дух какой-то двинутый нашелся... Арнольд — лом!

Виталий приглашающе махнул рукой, закрыл за нами дверь. Мы остановились на пороге комнаты. Я с интересом огляделся. Видеоугол увидел сразу. Два одинаковых видеомagneфона, многосистемные, из дорогих и явно привозные, не из «Березы». Телевизор — огромный серебристый куб, тоже многосистемный. В комнату Виталий нас не пригласил. Он молча нагнулся к дверцам роскошной, во всю комнату, «стенки», достал кассету с «Кабаре». Я успел разглядеть разноцветные ряды чистых и с записями видеокассет. Виталий протянул «Кабаре» Леше, но смотрел на меня.

— «Командос», да? Это конца восьмидесят пятого года выпуска. Обещали. — Он презрительно усмехнулся. — Да «Командос» и в Эн-Тей-Си ни у кого нет. На чем обещали-то? В ПАЛе?

— В ПАЛе, в чем же еще! У него «Панасоник» — «три тройки», а «три тройки», кроме ПАЛа да СЕКАМа, ничего не читает... Леша хотел было взять у Виталия кассету, но тот отдернул руку.

— А, ну да!.. — Леша достал из своей сумки какую-то кассету, передал Виталию. — Я чего-то сегодня заматался.

— Жди, Алексей, жди. — Виталий направился к журнальному столику.

— Чего жди?

— «Командос» жди. Вот взгляни-ка лучше. Видел когда-нибудь такое? — Виталий протянул Леше какую-то кассету.

— А чего тут? — Леша неуверенно повертел кассету в руках. — Чего? «Джи-Ви-Си», три часа... А! Во дела-то! Печать, что ли? Ага, написано даже чего-то! Да, лихо... Во, гляди, кассету опечатал. — Леша показал мне. — Ну заливают лаком там, это ладно, но чтоб печать! Старался ведь кто-то...

Оригиналы, первые копии с оригиналов или с дисков к «лазерному патефону» — лазерному видео-проигрывателю, чаще всего воруют. Переписывают то, что на пленке, один к одному, разбирают кассету и

подменяют пленку. Владельцы хороших копий, защищаясь от «пленочных воров», заклеивают кассету наглухо, заливают винты лаком для ногтей, клеем... Запломбированную кассету я встречал впервые.

— А-а-а!.. — Виталий пренебрежительно махнул рукой. — Это так, для самоуспокоения. Ему таких печатей нарежут... Ну ладно, все.

Он отобрал у Лешки кассету.

— На будущее: звони сначала, уловил?

— Смертельно! — Леша пожал протянутую руку.

Мне руки Виталий не подал.

— Крутой мужик, — одобрительно сказал мне Леша на лестнице.

— Это точно, — весело согласился я.

От Лешки я теперь не зависел, кассету для отца вытянул, а о том, как вывернусь из истории с «Командос» и отделаюсь от Лешки окончательно, старался не думать...

**Всеволод
ВИЛЬЧЕК**

ПОКА ДЖИНН НЕ ВЫПУЩЕН ИЗ КАССЕТЫ...

Вместо комментария

Фамилия моего приятеля Новоселов. По должности он командир водолазного суденышка с Волго-Балта, по натуре — этакая невероятная смесь строгой деловитости и бесшабашной удалы, простодушия и таланта.

На охоте.

— Володя, что за нож у тебя такой пижонский? — Трофейный! — улыбается Новоселов. — Поехали мы с женой, понимаешь, в Вологду пальтишко дочери поискать, а там наша команда охотников палит по тарелочкам. Уговорили и меня пострелять. И как-то получилось — второе место занял.

Дома.

— Володя, что у тебя за ваза с надписью?

— Трофейная! Поехали мы с женой, понимаешь, в Петрозаводск сапожки ей поискать, а там наша самодеятельность на конкурсе выступает. Уговорили и нас. Мы с Ниной «Ивушку» старинную спели, и как-то так получилось — первое место заняли.

В кубрике у Владимира портрет тезки, Высоцкого. Володя перехватывает мой взгляд.

— Ты-то небось его и в театре видел?

— Видел, — отвечаю, — а один раз даже разговаривал, прямо вот как сейчас с тобой.

— Погоди, не рассказывай! — чуть не кричит Володя. — Ребят сбегая позову!

Я не сразу понял, что неожиданная реакция эта не только от щедрости Володькиной открытой души, но еще и от бедности, от самого острого и прискорбного дефицита, который только существует сейчас в нашей жизни: дефицита возможностей человеческого общения.

По существу, у нас развиты лишь две формы культурно-художественного общения. Предельно узкая — у экрана ТВ, и предельно широкая — в кинозале. А между этими полюсами — полупустыня, разрозненными оазисами в которой кажутся кружки само-

деятельности, клубы «по интересам», читательские конференции, молодежные дискотеки. Чаще же духовная жажда в этой пустыне все еще утоляется суррогатом общения, некогда именовавшимся «на троих».

Но теперь наконец-то забрезжила замечательная возможность создания подлинно массовой «средней», камерной формы духовного, культурно-художественного общения, заполняющей пустоту между кино и ТВ. Это чудо называется видеотелекино, видеомагнитофонная приставка к телеприемнику.

Первые тысячи отечественных кассетных «видеомагов» сошли с конвейера завода в Воронеже. Первые тысячи вожделеющих чуда выстроились в очереди за видео, невзирая на риск (качество нашей техники оказалось возмутительно низким). Первые сорок пунктов по прокату кассет — видеосалонов, видеотек — открылись в Москве, Ленинграде и других крупнейших центрах страны.

Словом, «видеомагия» начала овладевать умами. И как гражданин я должен был бы лишь радоваться столь явному росту благосостояния масс, вставших в очередь за насущным видео. Как искусствовед я хотел бы протиснуться к колыбели новорожденного, чтобы разделить восторги и надежды коллег...

Это серьезно: появление видео — начало третьего (после обычного кино и ТВ) периода развития искусства экрана. Со временем в нем возникнут явления, аналогичные тем, которые в музыкально-поэтическом творчестве породил обычный магнитофон. Интересны и близкие перспективы видео. Современный кинематограф уже достаточно зрел, чтобы создавать если и не вечные, то долговечные ценности; создают их и театр, и эстрада. Однако такие ценности нуждаются в формах существования, подобных книге; нынешние же формы бытия зрелищного искусства рассчитаны на массовый, но скоротечный успех. И кинотеатры, и телевидение, ведущие неоценимую культурно-воспитательную работу, все же невольно ориентированы на поиск «общих знаменателей» интересов. Сложным для восприятия фильмам — «непопулярным» шедеврам и т. п. — внутренне, в идеале необходим иной, более индивидуальный тип контакта с аудиторией: такая форма социального бытия, какую дает творчеству писателя книга и какую, будем надеяться, даст искусство «экранная книга» видео.

Это ли не прекрасно!..

И все же что-то мешает мне радоваться началу эпохи телекино. Что? Взгляд из окна квартиры Володи Новоселова на глубины-городок, куда ни «Покаяние», ни «Пловец», ни «Мой друг Иван Лапшин», ни спектакли «малых сцен», ни вечера Шнитке или Денисова не дойдут, а если и дойдут, то по телевидению, чаще всего исключаящему их адекватное восприятие, и где самым типичным пунктом межличностного общения все еще остается продмаг. Иными словами, точка зрения социолога. Ибо с этой позиции слишком ясно видно, что то направление, в котором начал развиваться процесс «видеофикации», — не лучшее из возможных, и что инженер Леонид Вышегородцев, поведавший нам о своих видеомигтах, рассказал — как никто до него, «изнутри» — о важной и острой социальной проблеме.

Сейчас в нашей стране, по приблизительным экспертным оценкам, не тысячи, а около трехсот тысяч видеомагнитофонов. Почти сплошь это зарубежная техника, простому смертному недоступная. Кино начиналось как самое демократическое из зрелищ; на первые телевизоры собирались соседи чуть ли не со всего подъезда. Но вот «дом с видео» — за редкими исключениями — это закрытый дом; видео — знак принадлежности к определенному кругу, специфически сословная ценность в нашем без пяти минут бесклассовом обществе. Конечно, когда отечественная промышленность научится делать добротные аппараты и выйдет на уровень, намеченный планами на текущую пятилетку и до окончания века, положение должно заметно улучшиться. Лет через десять в стране будет два или даже три миллиона владельцев видео. Много это или же мало? Достаточно много, чтобы болезненно обострились проблемы, уже возникшие. Слишком мало, чтобы эти проблемы решить.

По данным опроса, проведенного социологами ВНИИ киноискусства, уже сегодня в видеомагнитофоне мечтают около двадцати миллионов людей, т. е. хвост незримой очереди за видео теряется где-то в грядущем веке. Вместо более полного удовлетворения потребностей советских людей мы создадим еще одну нереализуемую потребность, еще один вид пресловутого «дефицита» — много худший, чем большинство других.

Чем он хуже? Да тем, что видеомагнитофон — в отличие от джинсов или бутерброда с икрой — не предмет потребления, а средство приобретения, относительного перераспределения благ духовной культуры, а также и средство влияния потребителя на ее, культуры, развитие.

Несомненно, в числе владельцев видеотехники немало людей, достойных всемирного и даже всемирного уважения. Но в целом, как показывают первые же исследования (и подтверждает своими записками Л. Вышегородцев), круг индивидуальных владельцев видео долгое время будет формироваться преимущественно из людей, духовные запросы и художественные вкусы которых, мягко говоря, не очень хорошо согласуются с истинными культуротворческими возможностями видеотехники.

Я попросил прокомментировать фильмы, названные Леонидом, известным киноведом. Тот вздохнул.

— Вы считаете, что это вредные фильмы?

— Нет. В перечне встречаются и прекрасные ленты, то же «Кабаре», например. Да и в остальных ничего опасного и порочного я не вижу. Просто это искусство для бедных. Духовно бедных: профессионально сработанные суррогаты культуры. ПАРАДОКС: ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ТАКУЮ НИЩЕНСКУЮ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ. И еще непонятно: почему этим тысячам гуляющих по рукам кассет ничего не могут противопоставить видеотеки?

Увы, не могут! В прокатном фонде сейчас — более шестисот программ. Но четыре пятых из них вообще лежат мертвым грузом, их никто ни разу не взял. Причем в числе «видеонеликвидов» — почти все фильмы, составляющие славу и гордость отечественного кино, хотя цена их проката — самая низкая. Добавлю: услугами видеотек вообще пользуются лишь несколько процентов владельцев видео. Где берут кассеты все остальные — об этом пока болит голова лишь у работников правоохранительных органов. Люди, привозящие кассеты из зарубежных командировок, проходят таможенный досмотр. Но существуют и другие каналы. В частности, телевизионный, эфирный.

В Прибалтике, например, можно принимать передачи, транслируемые финскими и шведскими телецентрами. Дело поставлено с выдумкой и с размахом. Скажем, у эстонского побережья был задержан и выведен на чистую воду ультрасовременный пират — владелец яхты водоизмещением в шестнадцать тонн, оснащенной прекрасной аппаратурой для приема и записи заморских программ. Сухопутные джентльмены удачи тоже работают — закачаешься. У некоторых обнаруживали по шесть видеомагнитофонов. Оперативность завидная: как рассказывали мне эстонские социологи, программы, не требующие перевода, появляются в Москве и т. д. уже через два-три дня после «захвата» передачи в эфире, а фильмы с синхронным переводом — через неделю-другую. (Нашим бы ведомствам хоть толику такой разворотливости. Куда там: даже вопрос о приобретении фильмов мировой киноклассики или хотя бы фрагментов, из которых можно монтировать интересные кинолекции, оказывается почему-то неразрешимым.)

Словом, давайте называть вещи собственными именами: видеотеки играют роль фигового листка, прикрывающего то, что в реальности крутят триста тысяч видеомагнитофонов. Помогают отвести глаз от проблемы.

Это страусовая политика — думать, будто того, чего нет в каталогах видеотек, нет и в реальности. Такая политика чрезвычайно вредна: она отдаляет культуру

ное лидерство Леше, достаточно ярко описанному в «Сценах видеожизни». И отобразить у него роль культурного лидера можно только одним путем: ввести в официальное обращение все лучшие ленты мирового кино, включая и лучшие развлекательные. Чтобы любой владелец видео на практике убеждался: то, чего нет в официальном прокате,— действительно и безусловно «мура». Конечно, это не решает главной проблемы, но все-таки там, где начали искать разумные формы легализации перезаписи и обмена кассет (например, в Ленинграде), видеоатмосфера стала значительно здоровей.

Да, репертуар видеотек не должен всего лишь дублировать репертуар ТВ и кинотеатров. Видео нужен оригинальный репертуар. К его созданию приступают сегодня студии им. Довженко и ЦСДФ. Их цель — «упаковать» в кассеты все лучшее, что создается и создано за пределами кино и ТВ в культуре (хотя я, по правде говоря, не уверен, что липкому Леше и жесткому деловому Виталию понадобится именно лучшее, а о вкусах с ними спорить бессмысленно). Организовано и Всесоюзное производственно-творческое объединение «Видеофильм». Давайте пожелаем ему удачи. Давайте поможем: поделимся в письмах или на страницах печати своими размышлениями о том, каким должен быть наш советский кассетный фонд, чего мы ждем в будущем от видео.

Но давайте не позабудем и о другом, о главном: о парадоксальной коллизии, которую создает в нашей культуре нынешнее развитие видео. А парадокс этот в том, что чем лучше, богаче будет видеотечный фонд, тем дисгармоничней культурная жизнь общества в целом. Непонятно? Чего уж тут не понять: перераспределение благ культуры произойдет в пользу тех слоев населения, которые и так ими не обделены. Прежде всего в пользу наиболее обеспеченных жителей крупных культурных центров.

(В скобках замечу: перераспределение не только духовных, но отчасти и материальных благ. Стоимость отечественного видеомagnetofона — около 1300 рублей, себестоимость гораздо больше. А в это время в критическом состоянии находится большинство сельских кинотеатров. Видимо, их вскоре вообще не станет. Ремонтировать развалюху или строить новый кинотеатр, заводом зная, что он будет вечно пуст, ибо в селе — два-три десятка семей специалистов, механизаторов, а больше при современной технике и не надо,— бессмысленно, нерентабельно. Но как бы тут пригодился уютный семейный клуб — он же и библиотека, и маленькое кафе — с видео. За это и доплатить не жалко, да и не придется доплачивать: с радостью раскошелится сам же колхоз-совхоз... Фантастика? Да, к сожалению, пока что фантастика. Поэтому вернемся к реальности.)

Достаточно очевидно, что нынешнее развитие видео, ориентированное прежде всего на индивидуального потребителя, лишь усилит существующий между различными регионами и социально-демографическими группами перепад в возможностях приобщения к богатствам культуры. Снижение таких перепадов — немаловажный аспект великого понятия «социальная справедливость». Между тем перепад этот сегодня слишком велик, чтобы рисковать его увеличивать.

Вот одна только иллюстрация. Социологи попытались формализовать и измерить интенсивность культурной жизни сельских и городских подростков. По очень простой шкале. Смотришь «телек» — получаешь один балл, а если смотришь не только развлекательные программы — еще один-два балла. За посещение кинотеатра можно было получить два-четыре балла, за чтение — от четырех до шести. Высший балл — десять — давался за самую активную форму приобщения к искусству: самостоятельное творчество. По сумме набранных баллов вся аудитория разделилась на три группы: низшую, среднюю, высшую. В первой оказалось 48 процентов сельских подростков и лишь 14 процентов городских. В третьей — 43 процента городских и лишь 18 процентов сельских.

Я не драматизирую ситуацию: даже два-три миллиона видео не могут резко усугубить нарисованную

картину. Но даже не два-три миллиона, а всего двести — триста тысяч надежных «видеомагов» могут стать большой культуросозидательной силой, если использовать видео прежде всего как общественное, коллективное средство, как техническую базу создания принципиально новой камерной формы духовного, эстетического общения.

Опыт такого рода есть, например, в Болгарии, где успешно работает много видеоклубов. Есть зачатки такого опыта и в нашей стране.

Руководитель объединения «Видеофильм» Ф. Перепелов, выступая на первой в нашей стране научно-практической конференции о развитии видео, организованной ВНИИ киноискусства, рассказывал:

«Очень отродные явления мы сейчас наблюдаем. Приезжают люди из отдаленных мест и ставят вопрос о налаживании у них проката кассет, о видеоклубах. Мы уже создали видеотеки в нескольких вахтовых поселках в Тюмени, обзаводятся видеотехникой строители газопроводов, автохозяйства Сибири. Приезжали к нам недавно и из Сургута. Видеотехника у них есть, и поскольку люди честно ее заработали, они не таятся, готовы предоставлять свои аппараты клубам, были бы только содержательные программы. Да и в центрах возможности у нас очень большие, если искать разумные, реалистичные формы развития видео. Так, мы предполагаем создать в порядке эксперимента видеотеку во Дворце культуры ЗИЛА. Не исключаем мы в принципе и использование видеомagnetofонов, например, в кооперативных кафе, демонстрацию кассет в качестве одной из форм семейного подрыда, индивидуальной трудовой культурно-просветительной деятельности».

Можно спорить о частностях, но сам принцип ясен. Видеоклуб, видеодискоотека, видеобар, видеокабачок — в пустующей сельской библиотеке, в обгороженном городском подвальчике, в общежитии, в школе и ПТУ, в домоуправлении и вахтенном вагончике-бытовке на буровой — в качестве хозрасчетного заведения, продающего билеты на вечер, или клуба, имеющего постоянный состав посетителей, выплачивающих членские взносы, — в любом качестве и повсюду, где найдется десяток-другой людей, желающих провести вместе вечер, посмотреть заказанную по почте кассету, поговорить об увиденном, выслушать приезжего лектора или своего же товарища, — пообщаться. И особенно там, где сегодня всего тусклее светятся «очаги культуры», важно не подновлять их, а заменять принципиально новыми, реализующими возможности видео.

Думаю, лишь такая «видеофикация» сделает нашу жизнь действительно ярче и интересней, поможет снизить социальные перепады в культуре, позволит лучше использовать огромные художественные и интеллектуальные ценности — от «непопулярных» шедевров и до узкоспециальных учебных фильмов, пришедшихся «не по мерке» ни кино, ни ТВ и не по вкусу Леше. Липкому, вездесущему Леше, от которого не знает, как отвязаться автор «Сцен видеожизни», но вмиг бы избавился мой приятель из Вытегры, живущий в доме с крутой узкой лестницей и открытой каждому дверью.

...Словом, я представляю, как на суденышке у Володи, прямо под выпелом «Победителю соцсоревнования речников» стоит магический ящик с обменным десятком-другим кассет.

— Володька, а видеомagnetofон-то откуда?

— Трофейный! — улыбається Новоселов.

«НАДО ЖЕ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!..»

Уважаемая редакция!

«Погожий субботний день. Начало июля. Купили ящик пива. Выпили в гараже у Куколева. Взяли винтовку без приклада, патроны. Оседлали мотоцикл и рванули на рыбалку, по пути выпив бутылку вина. Случайная остановка в районе долины Славы. Там на мемориале снова пьют пиво. Куколев достает винтовку и, «ничтоже сумняшеся», стреляет сначала по опорожненным бутылкам, поставленным у подножия памятника, затем по самому памятнику.

Винтовка передается из рук в руки. Стреляют поочередно все. В прицеле цифры — «1941», слова: «Склоните головы перед бессмертием героев», «Памяти павших будьте достойны», «Родина помнит своих сыновей».

Вырезка из статьи в газете «Полярная правда», которую я вам прислал, всколыхнула всю Мурманскую область.

Товарищи! Писатели мои дорогие! У вас такие возможности влиять на умы и сердца людей... Правда, к сожалению, плохие люди книг, газет и журналов не читают. Но надо же что-то делать! У меня такое впечатление, что наша молодежь пропадает, засасывается в болоте общего равнодушия, в формализме, поразившем комсомол, в алкоголизме, наркомании, инфантилизме, космополитизме, вещизме и даже, как ни странно, в вере в бога. Вспомните слова Бруно Ясенского, посмотрите вокруг. Кругом равнодушные, безыдейность и бездуховность.

Я лично причину вижу в следующем. Даже несколько причин. Во-первых, наша система воспитания отстала от современной жизни. Она может охватить собой лишь часть молодежи, в возрасте начиная с 2 и кончая 10—12 годами. Дальше идет так называемый «трудный», или «переходный» возраст, минуя который юный человек воспитанию не поддается. К тому же с воспитателями туго. Родители либо слишком заняты, либо не обладают педагогическим даром. Школе дай бог с учебой сладить. Во-вторых, туго у нас и со средствами воспитания. О себе я могу сказать словами М. Горького, что «всем хорошим во

мне я обязан книгам». Так вот, товарищи писатели, с книгами у нас положение паршивое. Хорошие, умные, интересные книги превратились в дефицит, а детские книги чуть совсем не исчезли. А такое мощное, действенное средство воспитания, как кино, задушила коммерция. На экранах сплошь и рядом наши серенькие фильмы, на которые мало кто ходит, и яркие пустышки иностранного производства, пользующиеся большой популярностью, особенно у молодежи. Ну как тут воспитаешь патриота своей Родины? Больно и стыдно на все это смотреть. Неужели мы не можем добиться того, чтобы у нас были лучшие в мире книги, фильмы, музыка, песни, одежда в конце концов?! Ведь мы идем в авангарде человечества, на нас все остальные равняться должны. Где наши таланты? Или в стране с почти 300-миллионным населением с ними туго? Не верю! Кто-то мешает им проявить себя. У всех этих помех есть должности, имена и фамилии. Надо больше доверять молодежи, той, которая горит борьбой за перемены к лучшему, за справедливость. У молодежи огромный потенциал сил и энергии. Ему просто нужен выход, трудности, которые надо преодолевать. Для всякого большого дела нужен коллектив единомышленников. Мечтаю о том, что когда-нибудь на клич райкома: «Ребята! Очистим от хулиганов, фарцовщиков и прочей нечисти наш город! Сбор у райкома!» — соберется огромная толпа молодых людей, которые выйдут на улицы, зайдут в каждый двор, дом, подъезд и возьмут их под свой контроль и свою защиту, поставят бывших «королей» подворотни в положение шутов. Это все мечты. А пока что возможна смерть молодого милиционера во дворе нескольких жилых домов на глазах у стоящих рядом зрителей всех возрастов, возможна стрельба по памятникам погибшим воинам. Товарищи писатели! «Жгите глаголом» оледеневшие сердца людей! Об этом молчать нельзя.

С уважением

Сергей Федоров, 29 лет,
поселок Видяево Мурманской области.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не случайно назвали рубрику «Вам письмо!». Это письмо вам, читатели. Пусть в чем-то наивно и резко, но речь здесь идет, в сущности, о нищете души.

А что вы думаете об этом?

Георгий
ГАЧЕВ



СОВЕСТЬ! СТАНЬ СМЕЛОСТЬЮ!

Думаю о «Плахе» Айтматова. Ринулся писатель промыслить самое трудное: как может одна личность, не ожидая, когда «все вместе...», — сама противоборствовать злу? На каких путях? Силы или жертвы? Напрягся впрямую и, не откладывая, свое главное и последнее слово сказать — что понял за жизнь, сообщить, ибо не ровен час, не успеешь... (Так и всегда надо писать: каждое произведение — как свое и мира потенциально последнее слово.) Отсюда — патетическая интонация, «глас вопиющего в пустыне...».

Начинается книга картиной светопреставления: оно наступает для природы (железные птицы с неба — вертолеты расстреливают на бреющем полете род сайгаков и семью волков), а завершается личным концом света для человека — чабана Бостона. Посреди же происходит «в снятом виде» вся драма бытия — от дочеловечьего устройства жизни на Земле по закону и мере Природы до возможного ныне апокалипсиса, произведенного уже самим человечеством, если не одумаемся...

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Книга разворачивается в серии эпизодов, прошитых внешне нитью судьбы семьи волков, а внутренне мощно спаянных единой духовно-художественной проблематикой. В начале картина мирной жизни семейства волков. Волки тут — совершенные в своем роде существа, идеально отрегулированные Природою, гармоничные с прочим бытием: сколько нужно для пропитания и очистки природы от больных и слабых сайгаков, столько и забивают. А как чадолюбивы, и взаимолюбящи, и внимательны!

О, если бы человек человеку — волк (такой!) был! Как было бы чудно и дивно всем существам обитать на Земле!

Идиллия любви и мирной жизни, как в начале первой части Седьмой симфонии Шостаковича: величаво-раздольная тема и атмосфера счастья и гармонии, и вдруг — сухой треск механически страшной темы нашествия; и вот он и у Айтматова, этот дух мертвяще-казенного слова-выродка.

Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча — сайгаки — нужна для пополнения плана мясосдачи, что ситуация в конце последнего

квартала «определяющего года» сложилась для области весьма нервная — «не выходили с пятилеткой» и кто-то разбитной из облупавления вдруг предложил «задействовать» мясные ресурсы Моюнкумов».

Слышите барабанную дробь и трещотки в этих терминах, принадлежащих совсем иному измерению бытия?..

И вдруг догадка: да ведь волки — как музыка! Сейчас поясню. Подобно тому как язык музыки чем-то совсем непохож на то, как мы живем и говорим, какими-то трениями о струны и интервалами звуков выражает самую нашу душу и суть, — так и эта, отдаленнейшая и отвлеченнейшая от нас, человек, стихия волчьей жизни смогла стать той «предметностью», материалом и языком, на котором писатель спел в своем романе самые высокие гимны Любви, Семье, Преданности, Жалости, Мудрости.

И вот Волк становится «телом отсчета» — для Суда Страшного над человеческой историей и движущими нами ценностями, что предвзвешивается, репетируется нам во предупреждение — в романе Айтматова. Прозрачно-синими глазами Волчицы Акбары сама мудрая Матерь Природа взирает-судит наш человеческий путь и устройство обитания на Земле. Вторым же «телом отсчета» понадобилось к середине действия романа (как и к середине прошедшей доселе истории человечества) явление Иисуса Христа: мифическое нисхождение Бога на землю, воплощение в человека — такой персонаж лишь в силах уравновесить предельное же начало: от «зверя».

В стилистике романа новое у Айтматова (да и вообще редкое в прозе XX века) — это указующий перст предвещений-пророчеств о грядущих событиях, бедствиях, трагедиях и расплатах. Автор говорит, как «власть имеющий», сильной волей ведет повествование. Автор взял ответственность за мысль, и голос, и суждение — и в этом особый пафос, и эстетика, и красота, и художественность нового романа. Такой интонации мы давно в литературе не слышали. Она архаична, свойственна скорее наивным и ясным временам ранней литературы.

Да, роман антиподен по интонации стилю развлекательной масс-литературы и искусства. Серьезный труд и дело — чтение его и думание вместе с автором над вечными и великими вопросами Духа и Бытия.

ОТЧЕТ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ПЕРЕД ПЕРВЫМ...

Если Едигей в «Бурном полустанке» — Елисей-пророк — как бы стадию Ветхого завета реализует и его проблематику в душе: как достойно обрядово проводить жизнь и человека в смерть, — то Авдий в «Плахе» уже поднялся к пониманию темы новозаветной: совесть, внутренний мир души как первореальность и первоценность. И если Едигей верхом на верблюде Каранаре — как звездочет и волхв, бедуин, что из степей аравийских за звездой Вифлеемской потянулся, то Авдий — как Иван-царевич верхом на сером волке: любовь меж них и дивное взаимопонимание — у незлобивоного юноши, голого, в кедах, а затем распятого, и великой Волчицы Акбары.

Соответственно и со Временем происходит преобразование: если в «Бурном полустанке» — «И долгие века длится день», то тут вообще снято наше историческое время и действие романа перенесено в некое метафизическое, извечное: захвачены начало и конец истории (картины конца света в нескольких вариантах проходят: для волков, для сайгаков, для человечества в перспективе атомной катастрофы, для жизни отдельного человека — чабана Бостона...), а в диалоге Иисуса и Понтия Пилата вообще ядро Бытия и Истины всевечной дискутируется: смысл жизни человека и истории человечества).

В романе «Плаха» время... — «и времени больше не будет», такое тут «время» — сошлось с вечностью (ибо не частный облик некоей исторической эпохи тут дается-изображается, а зачерпнута всесуть бытия человечества в связи с Природой и Духом); а с другой стороны — заклинило в миг: наш, в сей час, в сей момент нашего конца XX века; ибо если не очухаемся, не одумаемся, не перенемимся, не раскаяемся в своих понятиях и методах продвижения истории через ненависть, гордыню и насилие, то и воистину «времени больше не будет»: не осталось нам его тянуть, как резину, и медлить...

На чем основан исторический принцип, точка зрения на мир и соответственная организация общества и своего опыта каждым человеком, своего поведения? На том, что можно *отложить* на потом: есть время!.. Чего я не сделал — дети доделают, чего я не понял — потом поймут... Исторический оптимизм приятен, благодушен, но и настраивает на минимальные к себе претензии: все относительно, Абсолюта нет — и ухмыляются скептицизм и цинизм при этом...

Но в романе Айтматова острее пережит мирощущение конца нашего века — как возможного конца света вообще. И значит: времени нам не дано, никакого «потом» не будет, и дети уж не рождаются, и откладывать уснение для себя главных сует и ценностей бытия нельзя; дурная бесконечность относительных переносок свернута, как небо в овчинку и в шарреневую кожу: ткнут человек, как кутенок, в Абсолют... «сейчас — или никогда!». Эта фраза и принцип в романе Айтматова пережиты всерьез.

Также и фраза-принцип «За всех в ответе!» всеким сознанием Айтматова и его героя Авдия понятна всерьез и при вдумывании закономерно приводит к пути жертвы, к Голгофе, к плахе.

И вот мы приведены к анализу второго пласта содержания и сюжета романа: история Авдия Каллистратова. Ей уже с самого начала придан сказочный заповедь: та сцена в зарослях Мокункумской саванны, где современный юноша в плавающих натывается на выводок волчат, ласково играет с ними — и Волчица вдруг приостановилась в казнящем прыжке, учуяв близость этого человека — «и серый волк ей верно служит»...

Иван-царевич рождается в середине XX века, как неотмирный юноша Авдий, наивный и чистый, страх не знающий, и забывает страданием людей в мире сем, и чует свое призвание в том, чтобы вызволить, спасти. Этот персонаж все хорошее принимает всерьез и абсолютно, и личным примером поднимается на борьбу с наличным злом: как корреспондент молодежной газеты едет в стан «анашистов» (сих мирных «фашистов») — понять, простить, уговорить, исправить-направить на путь истинный...

Вот недоумевают над «неправдоподобностью» образа Авдия Каллистратова: разве бывает такое? Семинрист-расстрига — «наш специальный корреспондент» комсомольской газеты в среде наркоманов?..

А разве бывает такой Дон Кихот? А бывает Демон или Фауст? Это все ОБРАЗЫ, необходимые конструкции, приборы и инструменты художественного построения, чтоб создать особый мир произведения, его арену и поприще, и на нем прокатывать (на сем прокатном стане) мир, его проблемы, и идеи, и ситуации в особом виде и обличье.

Как в химической реакции вводится некий элемент, чтобы иначе расставились и раскрылись наличные, так и наш Авдий в его нездешности и несовременности надобен, чтобы поглубже раскрыть нравственно-ценностные ориентиры и руководства, что действуют в психике «отдельных простых людей» и в глобалиях государств и народов в конце второго тысячелетия...

Да, это роман-отчет Второго тысячелетия — перед Первым, да и вообще за всю «нашу эру». И потому закономерно явление персонажа, от рождения которого эра наша ведет свой отсчет.

Но его явление предварено образом Авдия и разграничен с ним сюжетом. Там тоже дано судилище в трех вариантах: разговор с Великим координатором (намеренно даю аллюзию — ясно, на что и кого...); приход к Гришану, как к Самому царю-кесарю; нако-

нец, привод в судилище гражданина начальничка Обер-Кандалова, что есть тоже «Пахан» люмпенов, сгрудившихся у пирога власти.

Да, объясним, как понимаем: отчего «Плаха»? Это ведь, по сути, Крест земледельчески-крестьянских народов: человек подобен Древу, во граде эшафот-вознесение. Жертвоприношение ж в сознании кочевого в прошлом народа есть порешение Животного и кровь. Отсюда — образ Голгофы («лобного места» буквально) как Плахи...

В моем перечислении мировых персонажей мелькнул и Алеша Карамазов. И недаром. Авдий Каллистратов — его преемник. Как известно, Достоевский, задумав «Житие великого грешника», имел в виду провести своего героя по всем кругам бытия (как Гете — Фауста), по всем средам и идеям, от высшего света до дна воров, от монахов до социалистов-революционеров.

Ну, что бы Авдию соврать, попросить Гришана о милости, когда его насмерть избивают наркоманы? Или глотнуть водки из уважения к гражданину-начальнику Обер-Кандалову? Жив бы остался и далее мог бы свое добро творить людям...

И это допустимо — и возможно — другому персонажу: Тилу Уленшпигелю или Ивану-дураку, Ходже Насреддину, Санчо Пансе — вариантам бессмертного тоже персонажа хитреца и плута, который тоже необходим Жизни и Бытию, как панацея от самоубийственных прямолинейных абстракций рассудка, ригидного ригоризма и идеологии, что «да — или нет! третьего не дано!» Будто бы! Не только «третье», но и сто девяносто девятое есть среди пород-существ, стран-народов и путей-принципов существования.

Но при приведении к последнему выбору: когда или я убью, или меня убьют, и раз все равно когда-то помирать, то все ж лучше стать жертвой, чем палачом. Тут — однозначность.

Ведь человек ставит свою жизнь на карту бог весть из-за каких мелочей: вор — из-за куска хлеба, любовник — из-за чужой жены, дуэлянт — из-за чести; так отчего же не поставить ее в служение Высшему закону Совести, Истины и духовного самоуважения Личности в себе, Абсолюту, Разуму бытия, интеграл чего символизируется знаком «Бог»?

А Айтматов выводит всякую ситуацию на грань последних решений. Потому и мерила, и критерии, и ориентиры ему понадобились предельные. Для того чтобы решить вопрос: в каком платье, сиреневом или фиолетовом, ехать на бал? — не надобен Иисус Христос. В художественном мире романа он выступает на правах одного из персонажей.

— Но ведь он принадлежит религии! — всполошились некоторые. Тогда поведем такой диалог:

— А можно ли в художественном произведении изображать животных?

— Разумеется. «Каштанка», «Холстомер» и проч.

— Но ведь животное также принадлежит и рассматривается в зоологии.

— Это же совершенно разные вещи и подходы!

— А можно ли изображать растение, дерево?

— А как же! Дуб и репейник у Толстого, пейзажи Тургенева...

— Но ведь они принадлежат также науке ботанике...

Подобно и обращение к образу Христа в литературном произведении не делает его фактом религиозного сознания, как картины эпохи Возрождения на новозаветные сюжеты не делались иконами. А перекличка айтматовской сцены с Пилатом, с романом Булгакова «Мастер и Маргарита» так же не должна нас смущать, как мадонна Леонардо не мешает быть мадонне Рафаэля. То — надобные в культуре варианты...

В ПОЛЕ СОВЕСТИ ИМЕННО ОДИН — ВОИН!

И вот главный вопрос: ВСЕ ВМЕСТЕ и Я САМ? — так формулируется во мне сейчас наша ситуация и ее подъятие в мысль в романе Айтматова. Ну да: что можем? Что могу? Все — и каждый, я.

Что ты можешь, жалкая одиночка? Изменить порядок вещей? Остановить войну? Прекратить изничтожение природы? Решить демографическую проблему?

Естественно напрашивается такое различие: большие задачи и дела — все вместе, а малые — можешь ты сам.

Но так-то и паралич наступает, ибо гаснет в толще и длительности непроходимой огонек твоей воли и мысли. И наступает безразличие и отчаяние: ничего ты сам не можешь...

Вот от этого гипноза высвобождает роман Айтматова. САМОНАЧАТИЕ! — не дожидаясь, пока все поймут Истину, Благо, самому поступать праведно, не боясь быть одним в поле воином, и идти поперек шестия «всех вместе». Так ведет себя собкор Авдий, пророк Иисус, чабан Бостон — каждый в отведенном ему пространстве особой части романа и в своем пространстве-времени, профессии и ситуации.

Да, как провести свой лично-честный путь в мире, где многое этому враждебно и гнет тебя наперекосяк, ко лжи той или иной? Это и прослеживает Айтматов в трех вариантах судеб. Юноша Авдий, духовный труженик, начинает «сверху»: из эмпирей мысли и Слова; чабан Бостон начинает «снизу»: с труда материального, с очага семьи и деторождения.

И это — путь Свободы: он осиливает пути Судьбы, как «предела, иже не преjdeши».

Из трех главных персонажей трехчастного романа один (Авдий) Бога знает, другой (Бостон) Бога не знает, третий (Иисус) — сам Бог; но все сходятся в самоотверженно-честном своем пути. Однако путь этот — к плахе. И именно и лишь не боясь ее, перед ее лицом если выступишь сумеешь, и сможешь проложить, вычистить мир от скверны и явиться подлинно НАЧАЛОМ новой, человеечно-любвонной жизни и возрождения всех.

Авдий... Вот удивляются: впервые русский — в главных персонажах. «Да, Авдий — русский, — объяснял своего героя Айтматов в беседе с корреспондентом Ириной Ришиной, — но я рассматриваю его шире — как христианина, хотя то, что в нем происходит, полагаю, касается и тех моих современников, которые своим происхождением связаны с иными вероисповеданиями. В данном случае я попытался совершить путь через религию к человеку. Не к богу, а к человеку! Из всех линий романа для меня, безусловно, главная — Авдий, его искания».

По душе, и пафосу, и устремленности — это чисто айтматовский герой: мальчик, подросток, юноша, который «думает, думает, думает» над сложностью жизни, чуток ко всякой фальши и ищет пути Истины.

С жадной образумить людей пророческим словом опускается наш герой в самые низы, на дно, к подонкам общества, гонцам за наркотиком анашой, которые при этом образуют строго иерархическую конспиративную организацию, разбиты на тройки — как те, в «Бесах», на пятерки, и где «предатели» — тот же один конец от членов тайного общества, чтобы обогранными в общем жертвоприношении руками крепче держались друг за друга. Потому-то так держатся теоретики организаций за насилие, оправдывают его ради благих будущих целей.

Причем как убийство Шатова в «Бесах» произведено рядовыми, а диктатор оставляет себе руки чистыми (Петр Верховенский), так и тут Гришан сидит в сторонке, когда расправляются анашисты с Авдием. Но так он зато ореол милостивца сохраняет и добивается беспрекословного подчинения от обогранных кровью «наших врагов». И недаром он назван — «Сам», без имени; воплощенное своеволие, гордыня, чем отмечен антипод Богу.

Авдий же — это все любовь и самоотвержение. Мало того, что он волчат приласкал, но даже за волчицу молится: «Спасибо ей, что не налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не повинен» — и слава Богу, не взяла себе греха на душу его растерзанием. «И может, если верить буддистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней (его возлюбленной) — Г. Г.) свою сестру в человеческом облике?»

Нет, Природа — не материал, а Матерь Великая, ее любить и духовно к ней относиться, ее душу, и кра-

соту, и гармонию ученически впитывать! — вот как надо, и этому учит роман Айтматова.

Но как к существам Природы, так и к творениям мира Духа (эти ценности в Бытии скоординированы, так что надругатель над Природою глух и к сокровищам Духа) чуток Авдий: «Мечты мне как дети, — пишет он возлюбленной, — я их возвращаю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту».

Единственно с Авдием сопряжена и семья: родители, предки, память. Прочие ж все из персонажей — безродные и бескоренные отломки. Вот члены «хунты» под началом милиционера Обер-Кандалова, что подрабатывает охотой на сайгаков: «Прежде всего, это были люди бездомные, перекати-поле...: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части озлоблены на мир».

О, как перевернулась в творчестве Айтматова шкала ценностей! Ведь в первых его повестях бездомность и оторванность от патриархального рода были качествами положительными: позволяли сложиться сильной, ренессансной личности. Таковы Данияр, Ильяс, Дюйшен, Алтынай, да и мальчик-сирота из «Белого парохода». Теперь же единственной, безусловно достойной ячейкой общества в холодном мире отчуждения видится основанная на личностной любви моногамная семья (вспомним семью Абуталипа из «Буранного полустанка»). И идеальная семья волков и тут пример...

Но на ущербе любовь и семья. Вот и в последней части: из двух семей обломанных складывается одна, да и в ней единственное дитя гибнет. И тут — конец света... А и Бостон — без предков. А как прежде: до седьмого колена можно было знать отцов!

Но тут новая Память слагается: слушая исполнение древних болгарских храмовых песнопений, Авдий дивуется чуду: что вот эти десятеро «выжили и обнаружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед праотцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного, недостижимого и неотделимого от духа... Слушатели были покорены... каждому представился случай самому по себе, в одиночку примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и озарениях разума, вечно ищущего себя во вне, и в то же время вместе со всеми коллективно воспринять Слово, удесятеряющее силу пения от сопричастности к нему множества душ».

Тут многое обращает внимание: не «все вместе», а каждый в одиночку — не умирает, а сообщает душой с Высшим и так может независимо крепиться и ориентировать себя и в массе — таков тип связи личности с Абсолютом (как и в индивидуальной любви и моногамной семье). А потому и может найти в себе ум и силы личность пойти поперек потока.

Авдий хочет доказать им («анашистам». — Г. Г.), что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение и что в этом смысле каждому из них предстоит СОВЕРШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ В МАСШТАБАХ ХОТЯ БЫ СВОЕЙ ДУШИ. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснотушные идеи». Рассказывая, как переносил Авдий на себя муки Христа, как плакал навзрыд и «какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день, на той горе на Лысой», — повествователь подает мудрую утешающую идею: «Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и называет своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что, если это есть ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ И СПОСОБ ТОРЖЕСТВА ТАКИХ ИДЕЙ?»

Жертва и Победа — это как Вопрос и Ответ. Ведь Истина так же равномошно заявляет о своем существовании и обитает в форме вопроса, который есть первое к ней прикосновение, как и в форме затем ответа. А некоторые, и самые глубинные мысли и идеи, может, всегда лишь в форме вопроса могут проступать?..

Да, тончайший душевный инструмент — Авдий. Как в технике один прибор улавливает грубые шумы и длинные волны, а другой — микро- и миллионные доли, так и в космосе душевном такая организация, как Авдий, страдает от вещей, которые «нормальными» людьми просто не замечаются, так что для них такой сверхчувствительный — «псих», сумасшедший, безумец.

Для всечувствующего человека вообще нет «другого», «чужого» — ни в людях, современных или прошедших, ни в природе и ее существах.

Он тоже приходит ко «ВСЕ ВМЕСТЕ» — но из «Я САМ». ВСЕ ВМЕСТЕ — через СО-ВЕСТЬ, а не оттого, что все взялись за руки или в толпе друг к другу прижали груди туго и плечо к плечу в марше, окончательными рук и ног скоординировавшись. Это даже геометрически можно изобразить: я — брат с соседней точкой на окружности не оттого, что мы сидим рядом, а оттого, что оба соотносимся с одним Центром:

«Ты совершенно права, Инга,— пишет Авдий возлюбленной душе-сестре,— что любое злодеяние, любое преступление людское в любой точке Земли касается нас всех...»

И закономерно, что тут он переходит к мысли о РАСКАЯНИИ, к которому он хочет подвинуть бедных гонцов за анашой.

Юноша Авдий, зная, сколь оздоравливающа медицинская процедура раскаяния для души, наивно предлагает и обществу воспользоваться этой гигиеной: в своих степных очерках он выразил свою «гражданскую боль», «но тут вторглись какие-то соображения о престиже страны (подумать только, чего ради мы создаем тайны от самих себя?), которые грозят похоронить мои с таким трудом добытые очерки».

«И чем больше думал, тем больше убеждался, что раскаяние — понятие возрастающее по мере жизненного опыта, величина совести, величина благоприобретенная, воспитывающаяся, культивирующаяся человеческим разумом. Никому, кроме человека, не дано раскаиваться. Раскаяние — это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе». Это заставляет заподозрить то, что и в тебе есть иное измерение бытия, мир внутренний, душевный, и тамошние ценности и радости куда дороже денег и кайфа.

Радость и кайф — вот сюжет. И анашисты тут не простые, а тоже философы. Вот Петруха: «Травка — она какая, она — радость приносит, на душе рай от нее». — «А отчего радость?!» — «А оттого, вон, скажем, маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он — река, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость — дело какое, откуда взять ее — радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувь тоже купишь, водку все пьют тоже за деньги. А от травки, хотя и деньги платятся немалые, — приятности особая: ты будто во сне, и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том, что кино глазами сотни да тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела...»

Личное кино, видения — это им суррогат внутреннего мира, эрзац экрана души. Значит, коли развиваешь в человеке глубину души и труд и радость в ней внутренних созерцаний (как те, что прокатываются по душе Авдия, когда слушает древние болгарские песнопения, или переносится сознанием в ту роковую ночь с четверга на пятницу две тысячи лет назад, — это ведь тоже видения и «кино»: работа внутреннего зрения — но как она питающа и оздоравливающа!), то само собой отпадут уродливые способы доставления себе псевдорадости.

Еще выше в философии кайфа забирает пахан гонцов — Гришан. Разговор Авдия с ним — как разговор с чертом Ивана Карамазова. И выглядит он тоже вполне будничным гражданином. Он хорошо усвоил уравнение, что религия — опиум: раз так, то, не дожидаясь, пока «все вместе» попадут в рай, он Сам подручными средствами туда переносить будет себя и своих верных: «у меня к Богу есть свой путь, — исповедуется он Авдию, как Мефистофель Фаусту,

весело, цинично,— я вхож к нему иначе, с черного хода. Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе мнится... Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени...»

— «Ты, Гришан, паразитируешь на том, что люди изверились, а это культивировать куда удобнее. Все плохо, все ложь, а раз так — утешься в кайфе...»

А и в самом деле: если трудимся над Материей, над веществом, над тем, чтобы кормить бездонную бочку брюха своего, сизифов этот труд предпринимая и почитаем, так отчего ж одновременно не потрудиться над духом и душой своей — силою разума и воли, сознания и понимания? Вознаградится этот труд сторицею — и в материальном даже производстве: не станет тогда человек производить себе и природе вредного, а радость станет получать от созерцания природы и творчества в искусстве, — и экономнее это даже выйдет человечеству. Ведь творческий человек готов жить на минимуме еды и одежды — лишь бы не мешали ему созидать!

Качество существования (в истинных высоких ценностях) — важнее количества существования (в обилии материальных благ).

Система частного предпринимательства ориентирована на потребности человека. А потребность — нужда, а нужда у человека в низовом, его и культивирует бесконечно эта система: все новые низовые потребности плоти создавая, пирамидой вниз, усложняя услаждения телесно-бездуховные. «Общество потребления!» Тот же «скачок из царства необходимости в царство свободы», о котором как о высшей цели истории мечтал-писал Маркс и что должно произойти при коммунизме, — это требует свободного отказа от лишней потребности. Пришвин писал, что литература воскреснет, когда ею станут заниматься невыгодно.

Почему же нам не расширить пространство Духа: творчества в нем и свободы во все стороны в нем летать? Ведь это же ничего не стоит обществу, а радость людям — грандиозная. Стоит обществу много средств как раз регламентация: установка преград из стен и коридоров, запоров и запретов в пространстве духа; аптекарски взвешивать: что можно, а чего нельзя?

Да это как раз в третьей части романа Айтматов и исследует. Там чабан Бостон предлагает то, что ныне уже общепризнано и называется «семейный подряд»: чтобы закрепили за ним определенные земли, пастбища, выпасы и выкосы, и знал бы он их за собой, и длительно бы планировал, отвечал бы, сообщал — и давал доход общему хозяйству. Но Кочкорбаев усматривает в этом предложении идеологический криминал: повторство личной инициативы — «частнособственническому инстинкту». Ему не важно, что это экономически выгодно, ему важно душу задавить, чтоб не от себя, а выполняя руководящие указания, работал бы человек — иначе чем же ему тогда руководить?.. Ему — радость от власти, от манипуляции («руками движения», по латыни) в пространстве. Он даже аскет в своем роде: кушать-то и ему меньше перепадет и благ материальных: доставляет же их тот же чабан Бостон! Но распределять пространство Свободы ему слаще, чем даже распределять блага материальные.

ПРОСТО ЖИЗНЬ

Но вот вопрос вопросов: зачем ты нам нужен? Откуда взялся меня и мир поучать и исправлять? А я не хочу!.. И мир не хочет:

«— Потрясающе! — перебил его Гришан. — С какой стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? В конце концов каждый волен распоряжаться своей судьбой сам».

«А если я не хочу в ваш рай и в ваш хрустальный дворец? — примерно так еще социалистов поддразнивал у Достоевского некий «джентльмен», что всегда найдется... — Может, мне погибать слаще — хоть в своем дерьме, да по своей воле!..»

О, своя воля! Даже по Библии Бог перед нею отступил и уважил, когда пустил совершить своеволю грехопадению перволюдоей (а ведь мог своею волею предотвратить — с легкостью!). Важно, чтоб человек пришел ко благу сам, своею волею и опытом (в том числе и бедствий и несчастий).

И в этом — промашка нашего Авдия: торопливость и настырность: вынь да положь — и исправься сейчас, вмиг, а то... — вы меня убьете! — что есть по сути самоубийство.

И что может Авдий предложить взамен? Кто из анашистов видит его иному, положительную жизнь, где он читает книги, и слушает музыку, и любит, чтобы позавидовать и перемениться?.. И что ты лезешь, чтоб люди построили свою хорошую жизнь? Сам начинай — и строй, а коли нам понравится — мы посмотрим и позаимствуем...

И вот в чем надобность третьей части романа, где чабан Бостон строит семью во любви — маленький островок счастья и реальной ценности чистой (как и Абуталип и Зарипа в предыдущем романе).

И вот: что же научительно? Праведно-прекрасно проведенная жизнь или жертвенная смерть? Авдий учит, поражает и заражает сознание — жертвенной смертью, без упрека и сопротивления злу насилием. То же — в высшей степени — Иисус.

Но не праведная жизнь, а просто Жизнь сейчас становится на правах чуда и дива и первоценности в век величайшего смертотворчества. И, значит, даже — живая жизнь, ЖЖИЗНЬ — и та, хоть та да сохранится, а там Природа и Бытие разберутся, подскажут и направят на путь истинный...

Эх, завел бы ты себе, Авдий, Клавдию: деток бы народил, воспитал бы их в музыке и благочинии — чем чужих хватать, кого не рожал, и перевоспитывать!

ПОНТИЙ ПИЛАТ УЗНАЕТ НОВОЕ...

Но это я уже за пределы романа вышел — к просто жизни, а его проблематика — КРЕСТ, ПЛАХА... Хотя именно романом наведена мысль моя на этот следующий шаг: жизнь после плахи, и ради чего плаха-то? Над этим прямо задумывается сам Христос в томлении предсмертном в Гефсиманском саду: ему дана в романе новая трактовка. Было ему видение будущего: Земля в руинах, и ни одного человека не осталось. «Неужто свирепый мир людской себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет своим же ядом... Так вот чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания». Принес себя Христос в жертву за людей; а людей и не стало вовсе — и ни к чему, значит, Крест и Плаха были; обхитрил дьявол! Конец света не Бог-Судия в каре принес, а люди сами в смертоубийственной вражде уничтожились... Тоже и новая трактовка тут «конца света» — реальностию конца XX века доставлена.

Так что пред-условием подвига-жертвы за людей и их духовного возвышения является просто рождение людей — хоть бы как, хоть во грехе зачатый — ладно, там уж их и исправить можно, но лишь бы повлекся мужчина к женщине... И недаром в сознании Понтия Пилата напоследок промелькнул незадачный вопрос: «А женщину ты познал?» — да так и остался в стадии вопроса и незадачности, что и присуще глубоко берущим идеям, как мы выше думали...

Если у Булгакова контекст сцен между Пилатом и Иешуа эстетический, так сказать, внутри инфернальной буффонады и веселой дьяволиады, где единственный светоч — творчество и ради него — любовь, то акцент Айтматова — этический, серьезно-пророческий: тут не до шуток... И это объяснимо историческим моментом: роман Булгакова писался в тяжкие годы в нашей стране — тридцатые, и чтоб осилить психическую задвленность, раскрепостить дух, понадобился СМЕХ. Недаром в эти же времена Бахтин создал теорию КАРНАВАЛА и Смеховой культуры, которую народ справляется со всякой казенно-официальной, чопорной серьезностью, — в книге о Рабле.

Ныне — иное. «В условиях благоденствия, а мы, что ни говори, благоденствуем, нет у нас голодных, нищих, бездомных», — так характеризует Айтматов нашу ситуацию в том же интервью: при отсутствии страха каждодневного у личности: что вот схватят и уволочут... — при самоуспокоенности на этот счет, — подкатывается, быть может, массовая гибель, вулкан — под мешанским благодушием. И кажется, мир подведен к черте — и нужен пример высочайшей уступчивости, вплоть до добровольной жертвы: «Положить душу за други своя».

Понтий Пилат — умный Кесарь: потолок его сознания ограничен установлениями мира как он есть и идет, и завелся от века, и так и будет: сила — право, а слова о «справедливости» — это уловка рвущихся к власти, чтоб надуть чернь и использовать для переворота. Так он понимает и «подстрекательство» Иисуса, и слух, распущенный, что он «Царь Иудейский». Однако его смущает спокойная готовность на смерть: каков тут мотив? ведь тогда не сможет он воспользоваться плодами своей победы... Но Иисус, человек духовной жизни, знает иное: что для духа смерти нет и ценности этого ареала могучее и прекраснее сласти и власти кесарской. Не себя спасти, а спасти многих пришел он — в длительности рода людского, сообщая ему идею и принцип, необходимый ему для самосохранения даже: чтобы превозмочь вражду и ненависть, которой движима история, к самоубийственному концу. Тут и новая трактовка «Страшного суда»: он не будет, а давным-давно идет!

ПО СУДЬБЕ ИЛИ ПО СВОБОДЕ?

Ах, дух захватывает: занеслись как высоко мы! Дай переведу. Спускаться надо — к нашим баранам — именно: к чабану Бостону и сюжету третьей части романа. Тут как бы реализация и Христом сказанного: «Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день». А день мы не выбираем, рождаясь в мир: какой уж выпадет. И какие бы окружающие условия тебя ни обволочли, в любых ты должен проложить путь совести. Но, соответственно, и войти-вникнуть должен в момент времени и обстоятельства места, стиль эпохи и строй общества. И вот в третьей части романа мы снова на обычно-родной айтматовской территории (после высپرнных снов и метафизических видений первых двух частей): Исык-Куль, аил, отары овец, чабан с семьей, колхоз, парторг, трудовой конфликт: человек хочет сделать, как лучше всем, а не дают, сковывают казенные формы и слова... Эта последняя повесть выступает на гребне этой волны, прежде так высоко взметнутой, — как высокая и суровая притча строгого стиля. Но быт здесь обычный, и манера реалистическая. Если аналогю с «Фаустом» взять, то в «Плахе» сначала прошла Вторая часть, где вселенско-мифологические сцены и идеи, а теперь идет Первая часть с ее бытописательными сценами.

«Люди ищут судьбу, а судьба — людей...» Чуткий художник, не боясь противоречия, в своем романе двумя моделями мира описывает реальность: Свобода и Судьба — так можно их сформулировать. И это — главный сюжет и всяческой жизни, пути личности, и драма понимания, сознания того: по Необходимости (Природе) — или по Свободе (Личности)? Теоретическим — или Практическим Разумом? — эта же проблема в терминах Канта...

Ну а тут Канта не знающий чабан Базарбай попер навстречу своей судьбе, соблазненный четвертаком да бутылкою. И внутренний монолог его — в той же лексике люмпена, в какой и анашисты в первой части «базарят», и милиционер Обер-Кандалов. Вот кто паразит-то, примазавшийся сосать общенародную, не единоличную собственность: как удобно ее стало воровать-грабить! Хозяина-то не видно, кто бы заступился самочинно и лично! Знай произноси нужные слова — и получай зарплату и пакетик в придачу!

Возвращаясь, присел Базарбай выпить водочки у родничка и наткнулся на выводок волчат: «То поскуливали волчата Акбары и Ташчайнара...»

Вот опояс-всесвязь частей романа: линия Волков. Глаз Акбары припечатал и вторую часть: встреча ее

с замученным на дереве Авдием в лунную ночь — и скулила она в своей волчьей молитве перед новым Распятым: одна его пожалела и приняла в лоно своей души и памяти материнской, страстотерпица-Богородица... Но тут ей последние муки предстоит вынести: Базарбай унес ее щенков: хорошо заплачут — и проплет! Но по пути остановился на ночлег у своего соседа, чабана Бостона, кто и хозяин хороший, и работяга, и семья у него хорошая: жена красивая, малыш-последыш растет. Переночевав, поехал дальше. Но волки, не обнаружив щенков в логове, по следу набрали на место Бостона и неотступно стали там выть и бродить, ища щенков. Вой волчицы стал сводить с ума жену, и отца, и малыша — и отправился Бостон к отвратительному ему Базарбаю с просьбой продать ему щенков: возвратил бы он их на место, в логово, — и успокоились бы волки. Но не тут-то было: стал Базарбай куражиться да еще и политику приплетать: «Ты против властей идешь. Ясно! Один ты умный! Начальство требует уничтожать всюду хищников, а ты решил волков миловать, решил размножать — так выходит?»

Вот завязка: нарушение МЕРЫ между Природой и Обществом. А на этой грани должен действовать-работать человек первичного труда: земледель и скотовод. Бостон как человек Любви (к природе, к жене и детям, к труду) чувствует и блюдет эту меру, а Базарбай как человек вторичный, люмпен-демагог, питающийся не с труда, а с языка на собраниях, — человек и саморазрушения (пьяница) и природу рушит под корень.

Если прежде источник возмущений на Земле исходил из Природы: потоп, землетрясения, мор, саранча, затмение, — то теперь нарушение МЕРЫ в мире исходит уже из Общества, от вулканического характера устройства самого человечества. Дисгармонический стиль отношений между людьми в обществе рождает взрывчатость и злобность в душах, что вымещается на природе и животных и злостном бесхозяйничанье. И та трагедия, что описана в третьей части: погиб не только выводок волчат, но и Волк Ташчайнар, так что не от кого уже зачать Акбаре, и прекращается порода, с одной стороны; а с другой, мирный чабан Бостон, потеряв все — и сына, и семью-жену, — приведен стать отомстителем и, убив Базарбая, идет на свою плаху... — все это следствие какой-то изувеченности.

И если в нормальной ценностной шкале Собака — друг человеку, роднее Волка, то тут, в конце времен, когда Собака исподличалась, Волк — символ чести: непреломим в своей сущности, что умрет, но не согнется.

Кстати, недаром и имя «Бос-тон» — «серая шуба. Бос — серая, тон — шуба», что у волка, кто «сер».

А перед этим у Акбары, Божественной Волчицы, романтическая, возвышенная любовь-взаимопонимание, платоническая, с юношей Авдием, кого она с первого взгляда... не скрумкала, но отклонила прыжок и запомнила его светлость и нежную безобидность.

И если телами они все разведены, то на психейном уровне, в пространстве Мировой Души, они все — «одного поля ягоды», подходят и соответствуют друг другу.

Всем стечением роковых обстоятельств приведен Бостон, человек Жизни и Мужества, к самосуду над мерзким Базарбаем, кто разрушил его гнездо, надругался над женой и стал причиной гибели его сына. Доколе можно терпеть изымательство этих бесов, которые хорошо запрятались под формы власти?.. Тут Бостон, как корсиканец Матео Фальконе у Мери, вершит свой суд и сам идет отвечать — на плаху голову склонить...

Да, тут — Рок и Круг; и вот человек — послушный исполнитель стал Судьбы. Но где воля и Разум? Ведь на то, высшее, призван человек: разомкнуть узы-путы-кольцо Судьбы, ее круг именно! Праведным уничтожением мерзкого и неправого врага — даже благородный человек и чистый и справедливый оказывается исполнителем замысла Зла о человечестве: самоубийственного вектора. Ведь что в итоге распра-

вы Бостона? Убит Базарбай, но и убит он сам, и вдова — его жена, и в итоге еще более поражений и бедствий, и опустошения нанесено.

Это как бы притча и нынешним очерившимся друг против друга народам и государствам.

О ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ ПОТОЛКУЕМ

Можно так парадокс художественности сформулировать: постоянно присущее свойство художественности в том, что она — переменная, небывалая. Не знаемая доселе художественность есть необходимый побочный эффект — продукт художественного произведения: им производится и новая художественность.

В этом как раз талант и изобретательность художника. Каждое новое произведение у органически развивающегося художника есть новация в форме — и для него самого, и вообще.

Если проникнуться той задачей, что могла стоять перед писателем: написать свою последнюю книгу-завет, книгу конца Второго тысячелетия и дать отчет его Первоначальнику в том, что произошло с человечеством, пророческую книгу возможного конца света и реального Страшного суда, и в то же время чтоб эта проблематика проступала в картине нашей будничной действительности, — очевидно станет, что неразрешима эта задача в рамках бытописательского романа среды или исторического романа-хроники семьи-рода и с одним главным героем, каким бы духовно развитым он ни был, ни с одним началом и сюжетом, хоть бы и разноплановым. Тут нужны части и круги, как в симфонии, в мистерии, где блоки относительно самостоятельные смотрятся друг во друга и скоординированы и перекликаются внутренней проблематикой. И в некоей иерархии уровней, многоэтажно одновременно вершатся события и судьбы. Они себя не видят, но мы, из партера, зрим сразу действия и в поддоне бытия, в аду, и на социальной площади, и на небесах. Так, в «Фаусте» тройная завязка: Пролог в театре, Пролог на небесах, и первая сцена — тоже как бы Пролог в келье ученого.

Теперь, органична или притянута за уши эта форма «мистерии» у современного писателя?

И действительно, когда такую форму берет писатель из развитой европейской цивилизации, как Томас Манн («Доктор Фаустус») или Михаил Булгаков («Мастер и Маргарита») — почти одновременный Маннову вариант русского «Фауста», за спиной которых стоят мощные традиции немецкой и русской литератур, тут неизбежна стилизация и ориентированность — и в ее тонкости мы аромат особой художественности улавливаем.

Другое дело — писатель из ускоренно развивающегося народа (как Фолкнер, латиноамериканцы, Айтматов...), в котором детство — как у Маугли: с волками и верблюдами, и среди Логоса гомеровски-акынного, а ум уже захвачен с ходу, со школы, проблематикой и культурой XX века. Таков и случай с Айтматовым. Его устами «друг степей — калмык» первопереговаривает христианско-фаустово-достоевскую (так условно, этими веками ее обозначим) проблематику. И потому это ново и свежо, и оригинально, и правомочно выходит. И все интересно и обогащающе. Но тут и наложение стадий художественности, в том числе и пройденных в свое время другими (западноевропейской, русской) литературами, так что айтматовский стиль может казаться старомодным...

Да ведь объявлен «роман»! Но это не только роман, а, по сути, синкретическая КНИГА, где и мистерия, и притча, и житие, и философский диалог, и реалистическая повесть, так что ожидания читателя вводятся в недоумение.

Однако и художественность — не высшее и не обязательное качество Слова Истины. Есть сверх нее: Жизненность и Духовность. И в книге Айтматова — переток художественного произведения в эти качества, что делает ее Книгой Жизни, которая вливается в нас и требует преобразования души и чисто-совестного поведения, являя, как Невозможное — возможно!

Лев ФИЛАТОВ

ФУТБОЛ КОНСТАНТИНА ЕСЕНИНА



Чувствовал, знал, да и намекали, что надо написать о Константине Сергеевиче Есенине. И ровесники мы с ним, все, что происходило более чем за полвека, — у нас общее, сходное, и трудились бок о бок, а в последние годы, сами того не заметив, оказались душевно близкими, дня не проходило, чтобы кто-то из нас не набирал номер телефона и не начинал с вопроса: «Как вы там?» Хоть и говорят, что время лечит, мне, наверное, уже не привыкнуть, что нет его звонка, нет этого вопроса.

Осталось ощущение, что мы с ним знакомились трижды, а вернее будет сказать, что я трижды его открывал для себя.

Не помню, но думаю, что впервые мы натолкнулись друг на друга на «Динамо», в ложе прессы. И поводом, конечно же, явилось то, что я встречал в газетах его подпись, а он — мою. Далеко мы не пошли после этого: любезности, отрывочный обмен впечатлениями на ходу о матчах, о статьях.

Однажды он внезапно нагнал на меня.

— А ведь вы спартач, верно?

Я в молодую свою пору пуще глаза берег репортерскую объективность, безжалостно подавлял в себе болельщический анархизм, которым был обязан безответственному отрочеству, и заявление Есенина показалось мне безтактным.

— С чего вы взяли?

— Зря отпираетесь. — Есенин скрипуче, деланно рассмеялся. Он не ожидал отпора и был обескуражен: как можно не признаться в любви к «Спартак», в той любви, которую он не таил, объявлял о ней первому встречному?

...Лет тридцать спустя после той нашей встречи, в 1985 году, сделал он печатно удивительное признание:

«Все человеческие впечатления, чувства обязательно субъективны. Вспоминаю ленинградскую блокаду, дни и ночи, которые надо было пережить, каждые 24 часа. А порой в затишье было грустно и наплывало бывшее. С моей фамилией писать стихи нельзя, но иногда лезли в голову рифмы...

День придет,
И перламутром шелка
В бирюзе сверкающей
росой
Замелькают красные футболки
С знаменитой белой
полосой.

У каждого за спиной в те дни было «дыхание Родины огромной», но и свой дом, своя улица, товарищи, друзья.

У меня за спиной был «Спартак».

...Но тогда, когда он рискнул вызвать меня на откровенность, я подумал: «Ему-то что, он в газете не работает», — да и знакомы мы были шапочно, и права на дальнейшие расспросы у него не было.

— Зря, зря. Что ж тут такого? Да мы и между строк читать умеем...

Его «мы» не требовало пояснений, я знал, что у него была компания, с которой он ходил на стадион, что в этой компании Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Семен Нагорный и все они состояли в спартаках.

Вообще в те годы Константин Сергеевич в моих глазах выглядел ходячей достопримечательностью; на трибунах в его сторону кивали, о нем перешептывались.

Сын Сергея Есенина и известной в довоенные годы драматической актрисы Зинаиды Райх. Отчимом его был Всеволод Мейерхольд. И знакомство он водил в литературных и театральных кругах, в разговорах ссылался на Юрия Олешу, Исидора Штока, Михаила

Яншина, Зиновия Гердта... Еще и фронтовой офицер, вся грудь в орденах. Неоднократно раненный, он рассказал, что у него хранится армейская газета с заметкой под названием «Погиб сын Есенина», и шутил, что он еще тогда, в сорок третьем, понял, что газетные ошибки можно пережить, и не слишком расстраивается, когда сам теперь их делает.

За всем этим как-то терялось, казалось будничной подробностью, что он инженер-строитель (участвовал в сооружении Университета на Ленинских горах) и на досуге балуется занимательными извлечениями про разные футбольные рекорды, парадоксы, сенсации.

В ложе прессы, где всем все известно и никого ничем нельзя удивить, где царит бесстрастная тишина и разве что изредка прозвучит язвительная острота о судьбе или футболисте, сыгравшем неважно, — в этом обществе знатоков и скептиков шумный, громогласный, несдержанный Константин Сергеевич со своими невыносимо дерзкими заявлениями («Вот увидите, голубенькие выиграют и гол забьет «девятка»!) выглядел чудаковатым баловнем, с которого спрос невелик. Для тех, кто постарше, мэтров, он был Костенькой, они его не обрывали, не ставили на место, как непременно сделали бы, если бы так повел себя кто-то другой. Это много позже репортеры нового поколения подсаживались к Есенину, чтобы вывести драгоценный прогноз, а комментаторы телевидения, когда положение в чемпионате неимоверно запутывалось, брали у него интервью для «Футбольного обозрения», и он бесстрашно разъяснял, чем все должно кончиться. А в те годы его выкрики оборачивались в шутку. Впрочем, хотя настаивать не могу, думаю, что к нему и тогда пусть вполуха, но прислушивались, его озорная самоуверенность чем-то привлекала.

Я переживал пору ученичества, были у меня свои авторитеты из числа журналистов и тренеров, Есенин среди них не значился, хотя его забавные подборочки в газетах я не пропускал. Занят же я был, как мне представлялось, постижением законов игры и относился к футболу как к предмету, который предстоит сдавать на экзаменах. Так что пути наши не пересекались.

Пришло время второго знакомства. После того как в 1966 году я был назначен редактором еженедельника «Футбол», мы сделали, как обозначено в издательских договорах, он — «Автором», я — «Издательством». И договор этот действовал ни много ни мало семнадцать лет. Мой предшественник, Мартын Иванович Мержанов, из мэтров, против Костеньки ничего не имел, но резвиться на газетных полосах ему не позволял, разве что по большим праздникам, «строчек сто, так и быть».

Едва я как редактор начал готовить материалы в печать, меня поразил разноречивой в футбольных фактах. Все писалось наобум, в фамилиях, датах, цифрах путаница, одно и то же событие излагалось то так, то этак, гол приписывали то одному, то другому форварду.

Для нашего футбола, вообще говоря, характерны короткая память, забывчивость, необычайно вольное обращение с историей. И не полувековой давности, а даже прошлогодней. Это ведет к тому, что всплывают дутые величины, а те игроки и тренеры, которые в самом деле много сделали, обойдены и забыты. Какие-то сезоны превозносятся, как Ренессанс, а выясняется — только потому, что чемпионом была команда, симпатичная автору, других аргументов нет. Преувеличиваются до немыслимых размеров достоинства команд далеких лет, и невозможно уразуметь, почему же после этого вдруг стали играть плохо.

А футбол живет не как бог на душу положит, его история — не из нечаянностей и сюрпризов, она подчинена закономерностям, и, не зная их достоверно, не поймешь и того, что происходит сегодня на наших глазах, не представишь, чего можно ждать завтра. Наше футбольное дело сильно страдает от односезонности, от того, что каждую весну объявляют об одних и тех же надеждах. Осенью они не сбываются, и их тут же перекладывают на следующую весну. И так называемые итоги одинаковы, как и надежды. Всег-



Люди футбола
глазами фоторепортера
Юрия Соколова (Москва)



да-то их выводят с восторгом первооткрывателей, напрочь забыв, что то же самое говорилось и писалось и год и десять лет назад. Святая простота забывчивости заслоняет, путает, искажает футбольную панораму.

Односезонность надежд («на этот-то раз должно что-то получиться») не позволяет, скажем, всем миром и со всей строгостью навалиться на фальшивые результаты матчей, которые лет десять, должно быть, подтачивают нравственные основы футбола, отнимая у него силы и черня его в глазах аудитории. Или разобратся в организационной несостоятельности уклада жизни клубов, как и руководства футболом в масштабе страны, что превратилось в вечный вопрос. Или навести порядок в годовом расписании, принимающем анекдотический вид, когда команды то играют до бесчувствия, а то исчезнут на долгие каникулы и возвращаются, разучившись.

Так что внеисторичность футбола вовсе не в белых пятнах в составах команд, подвизавшихся пятьдесят лет назад. Она в пренебрежении к тому, что было вчера и происходит сегодня. Опыт нашим футболом накоплен, иначе и быть не могло, да только он не впрок, лежит мертвым грузом.

Конечно, все это стало ясно сейчас. В начале редакторской работы я просто прикинул, что футбольная проза выиграет, если обопрется на точные сведения. И позвал Константина Есенина.

Читал, не помню какой, сборник, там оказались письма Мейерхольда, и вдруг фраза: «Мой пасынок Костя удивляет меня своим интересом к футболу».

Когда я рассказал об этом Константину Сергеевичу, он отозвался не сразу, уйдя в приятное и грустное воспоминание.

— Да, было такое. Всеволод Эмильевич против моих хождений на стадион ничего не имел: режиссер, он уважал зрелища. Его смущали мои разноцветные цветными карандашами тетрадки, куда я заносил всякую всячину. Как знать, не подумал ли он, что кто-то мог фиксировать его спектакли так же, как я — матчи?..

— Сколько же вам было лет?

— Тринадцать-четырнадцать. Слушайте, а ведь полагалось бы юбилей справить: полвека как-никак. Зевнул... Чудно, как нас дела выбирают. Это сейчас молодые люди из подражания цифирью увлекаются, а что меня заставило? Понятия не имею. Но с тех пор, с малолетства, два часа ежедневно над гроссбухами. Придумал себе службу, а? Без выходных, без отпусков...

Разговор этот у нас был позже. Приглашая Есенина с обещанием открыть перед ним страницы еженедельника, я еще не знал о его подвижничестве. Но вышло так, что озорного баловня Костеньку я сразу забыл. Передо мной был человек с фантастической памятью, приводившей меня в замешательство, с глазами, загоравшимися за стеклами очков, как только ему приходило в голову, что еще можно извлечь из гроссбухов, напористый и обязательный, не желавший сидеть без дела, чувствовавший себя в форме, если знал, что он перед еженедельником в долгу.

Наше общение происходило в редакции, в моей темноватой комнатухе, и всегда было торопливо-деловым. Он заявлялся торжественно, дверь открывал во всю ширь, пожимая руку, по-гусарски щелкал каблучками. В этом не было нарочитости, позерства: насидевшись дома в одиночестве над своими записями, он рад был прийти к людям, да еще футбольным, которые поймут с полуслова, да еще в редакцию, где он свой человек.

Я постоянно чувствовал себя перед ним виноватым. Видел, что ему страсть как хочется поболтать, обсудить новости. Но мы в редакции с утра до его прихода и наболтались, и все обсудили, да и вообще Издательству и Автору не к лицу ласы точить, они — у конвейера, который доставляет материалы в наборный цех. И Константин Сергеевич покорно доставал из напелной сумки чуть замаявшиеся листочки, клал их на стол и спрашивал:

— Я посижу, не возражаете?

Известная уловка авторов: нам всем кажется, что в нашем присутствии редактор будет милостивее к рукописи.

Он сидел в кресле глубоко, развалился, с деланным безразличием, но вслед каждому движению моей ручки очки его посверкивали. Те места в статье, которым он не придавал значения, были выписаны четко и ровно, без нажима, а когда приходил черед открытию, изюминке, тут слова шли вкось, буквы укрупнялись, и что ни фраза, то с восклицательным знаком. Это и были знаменитые есенинские находки, которые обязательно приостановят и изучат читателей. И как только он видел, что строки с находкой прочтены, выпрямлялся и скидывал подбородок:

— Каково? Я обалдел, когда сосчитал. Кто бы мог подумать? Нет, ей-богу, такая получилась штука — пальчики оближешь...

— Вы можете не мешать редактору?

— И похвастаться нельзя...

Он доверял мне, не спорил, не задирался, лишь иногда даже как бы с удовольствием, что угадал, произносил: «Я не сомневался, что вы это вымараете».

Он знал, что его иногда заносит, но никогда себя не редактировал, шел до конца.

— Согласен, тут я немножко схулиганил, но что-то в этом есть, признайтесь?

Тем временем странички, по одной, забирала машинистка Лида. А мы в ожидании, когда она перепечатает, уславливались о следующей работе. То он сам что-то предлагал, то я его заманивал в какую-нибудь авантюру. На это у нас уходили считанные минуты. Потом он, видя, что я положил перед собой очередную рукопись «в номер», покряхтывая, выбирался из кресла.

— Ухожу, ухожу, вижу, что у вас запарка. Скажите только, как вам понравился гол Эдика? Стрелец есть Стрелец, ничего не скажешь! Письма я забираю...

Письма Есенину мы складывали в большущий конверт, и всегда-то он был набит. Константин Сергеевич засовывал письма в сумку, лихо закидывал ее на плечо, мы жали друг другу руки, он прищелкивал каблучками и уходил, сильно откинув дверь.

По всем предположениям, Есенин должен был быть педантом и аккуратистом. А он не был ни тем, ни другим. Цифры имели для него ценность, потому что с ними можно было колдовать. Коллекционирование футбольных сведений нынче в моде. Чего только не собирают. Один молодой человек мне представился так: «Мой раздел — отчества футболистов. С именами порядок, а в отчествах — пробелы». Большинство собирателей гордятся полнотой своих данных и насколько не задумываются, могут ли они пригодиться.

Есенин никогда не настаивал на безукоризненности своих гроссбухов: «Тут у меня сомнения, ничего, навещу такого-то, у него полный ажур», «Не семнадцать, а восемнадцать? Эка важность, в следующий раз исправим. Зато идея хороша!». Аккуратисты любил подловить его на ошибочке, тешили свое самодушие. А он не горевал, зная себе цену, по части выдумок равных ему не было. Некоторые его работы, это чувствовалось, требовали воображения, нечаянного озарения. Это большая удача, что футбольные цифры достались одаренному человеку.

Футбол пронизан цифрами и выражает себя ими. Мы ждем не дождемся, когда на табло зажжется единичка. Это даже странно, что дух захватывающее зрелище, в котором мастерство переплетено с драмой, разумом, психологией, с проявлениями личностей, конечной целью имеет немудреные цифры. Но когда этих цифр много, когда они выстраиваются длинными колонками, оказывается, что они не чердачный хлам. Их можно заставить заговорить, и не только о том, что некогда было, но и с намеком на будущее. Тут и своеобразие турнирных отношений команд между собой, возникшее в незапамятные времена и неведомо почему продолжающее существовать по сей день. И вероятность реванша. И продолжительность беспроигрышных серий, которые обязательно должны прерываться. И делающаяся все более опасной команда, которую пока бьют нещадно. Арифметические мани-

пуляции, быть может, тем более всего и любопытны, что подтверждают наши догадки о человечности футбола, подчеркивают те достоинства и те слабости, которые с помощью специальных материй не истолкуешь.

Однажды Константин Сергеевич заявился в редакцию и, отдуваясь, как после трудной работы, выложил:

— Наконец у меня от души отлегло. Никак не мог понять, почему мне не симпатичен такой-то (он назвал известного форварда). И ловок, и техничен, и забивает много, а веры ему нет. Разложил я все его голы, и, что же вы думаете, в самых дорогих, неотступных матчах, и в клубе и в сборной, проку от него нет. Теперь ясно...

Уж как нам прожужжали уши, что одиннадцатиметровый удар — это «стоцентная» возможность забить. Есенин просчитал все пенальти в чемпионатах с 1936 года и объявил: «Никаких ста процентов в природе нет, семьдесят восемь, тик в тик».

Я вспомнил это его изыскание, когда в июне, на чемпионате мира, в потрясавшем матче Бразилия — Франция не забивали пенальти не кто-нибудь, а, словно нарочно, все звезды — Платини, Зико и Сократес. Знаю, Константин Сергеевич не стал бы торжествовать («я говорил!»), скорее посочувствовал бы знаменитостям. Для него давно был решен вопрос, что двадцать два процента всегда против, и это знак того, что мгновение может стать роковым и для бьющего наверняка, для завязтого технаря, потому что есть нервы, и с ними, бывает, не справишься.

Как-то незаметно, исподволь, возник у нас особый книжный разделчик — футбольные справочники-календари. Их издают по весне в десятках городов, тиражи некоторых под миллион. Диву даешься, сколько в этих книжечках всего собрано. Уже проводится всеобщий конкурс этих маленьких энциклопедий, лучшим присуждают призовые места. Ни одна из этих книжечек не выходит, да и впредь не выйдет без того, что придумал и сработал Есенин. Под этими материалами не ставят его подпись, они сделались официальными, общего пользования, без них как без рук. Как он сам из любителя-коллекционера превратился в человека — решающую инстанцию, такая же судьба и у его работ.

Я назову некоторые. Это ранг-лист сборной СССР, в котором каждый матч получил порядковый номер. Клуб бомбардиров имени Григория Федотова. Списки ста лучших бомбардиров чемпионатов страны, ста игроков, сыгравших наибольшее число матчей, тренеров, чьи команды занимали призовые места. По его инициативе пересчитаны все голы чемпионатов и Кубков СССР, утверждены разного рода рекорды. С его благословения (помню его звонок — «проверил, можно печатать») был заведен Клуб вратарей имени Льва Яшина, подготовленный Николаем Жигулиным из Кривого Рога, по профессии строителем, как и Есенин.

Константин Сергеевич не был первым и единственным историографом. Но он навел порядок. И каждый автор, дорожащий достоверностью, получил возможность опираться в своих рассуждениях не на туманные воспоминания, а на абсолютно точные сведения. И когда будет создана книга под названием «Очерки истории советского футбола» (она остро необходима, ибо излечит от доморощенных иллюзий, уберет кривые зеркала, представит все, как оно есть), труды Есенина лягут в ее основу.

Константин Сергеевич подбивал меня вместе сесть за такую книгу. Мы обговаривали ее, когда я навещал его в больнице...

Но почему он искал соавтора, почему не решился писать сам?

И тут пришла очередь рассказа о третьем нашем знакомстве.

Оно завязалось, когда я, как и он, стал свободен от службы и оба мы сделались Авторами, равными в отношениях, во времени для работы и для досуга, для встреч и воспоминаний.

Никогда прежде я не работал с такими удобствами. Чуть заминка, берусь за телефон.

— Не скажете, сколько игроков забивали голы во всех чемпионатах, начиная с первого?

— Если примерно, то две с половиной тысячи, а для точного ответа дайте мне четверть часа...

— Вы помните матч «Спартак» с киевским «Динамо» в 1936 году?

— 18 октября, стадион «Динамо», народу почти никого, холодно, дождь, в первом тайме киевляне вели 3 : 0, во втором «Спартак» сквитал, замечательно забил со штрафного Андрей Петрович Старостин...

— И можно все это написать?

— Конечно.

Хоть и я немало на своем веку повидал футбола, но никогда не мог удивить его хоть какой-нибудь подробностью, все-то он знал. Удалось это мне лишь однажды. Подвернулась старая-престарая записная книжка, и в ней пометка, что ездил на стадион «Сталинец» (теперь «Локомотив»), там играли московское «Динамо» и неизвестный «Зенит», в составе которого находилось несколько мастеров «Спартак», и было это 20 июля 1941 года. Константин Сергеевич замялся: «Да, про этот матч у меня ничего нет, я уже был в армии. Вы же ушли в августе... Так какой там счет и кто забил?»

Есенин щедро отдавал все, что ему было известно, даже не спрашивал, зачем мне это нужно. Не спрашивал потому, что не был скопидомом; широкая натура, он радовался любой возможности выручить. Не спрашивал еще и потому, что знал: мы не конкуренты и в своих писаниях не столкнемся.

Читателем всего, что печатается о футболе, он был сверхзаядлым: узнать, что промелькнула заметка, которой он не видел, для него было оскорблением. Следил он и за моими работами и всегда считал своим долгом хоть как-то отозваться. Я долго не мог понять ни его одобрений, ни его прохлады. Мне казалось, что самое серьезное, дельное он пропускает, а тем, что было написано для отдохновения, в шутку, вскользь, почему-то восторгается. И я привык считать, что при всей своей памятьливости он не слишком глубоко влезает в футбол. И ошибся. Но ошибку свою понял не вдруг, а мало-помалу, сойдясь с ним коротко. При обстоятельствах, где футбол не всегда находился на первом плане.

Был у нас с ним один долгий день. Хоронили Александра Петровича Старостина, второго из четырех гонимых братьев. Была панихида в спартаковском зале на улице Воровского. К входу привалила толпа юнцов в красно-белых шарфиках и шапочках, тех самых, с которых не сводят глаз дружинники на стадионах. Возле дверей они поддегивали с себя шапочки, пригладили вихры, выстроились попарно, у каждого в руке красная гвоздика. И медленно двинулись в зал, оставив худые сильные плечи. Мы с Есениным пропустили всю длинную колонну, и оба не могли оторвать взгляда от лиц, напрягшихся и розовых.

— Вот там и футбол, — произнес Константин Сергеевич и закашлялся: запершило в горле. — Они же только фамилию слышали, а явились. Значит, и для них не пустой звук, что был когда-то защитник, капитан «Спартак», чемпион страны в тридцать шестом... Хоть и неуместно сейчас так говорить, но, честное слово, радостно!

Похороны были на Ваганьковском, и, когда они кончились, Константин Сергеевич сказал: «Сходим на мои могилы».

Мы постояли у памятника Сергею Есенину и прошли к другой могиле, неподалеку. Там лежит Зинаида Николаевна Райх и на том же камне надпись — «Всеволод Эмильевич Мейерхольд». Его здесь не хоронили, а надпись выбита. Мы сели на низенькую скамеечку.

— Достаньте сигарету, — попросил Константин Сергеевич. Он недавно бросил курить. — Обожаю дымок, столько с ним связано: и фронт, и стадион, и работа...

И тут я заметил, что в нашем направлении со всех сторон потихонечку стягиваются какие-то люди.

— Нас, кажется, берут в окружение...

— Вижу. Это поклонники Сергея Александровича. Есть дни, когда они тут собираются.

Люди подошли и почтительно образовали кружок вокруг Константина Сергеевича. И пошел тихий, неспешный разговор. Спрашивали, слышал ли он чтеца такого-то, имеет ли только что вышедший сборник стихов и как он ему нравится, читал ли статью в журнале, что нового в Рязани... Константин Сергеевич и о чтеце отозвался, и о сборнике, и о статье, и про Рязань сообщил. Собеседники внимали ему с уважением и доверием. А я подумал, как приятно, что он обо всем осведомлен, за всем следит, незаметно, мягко, без шума верен сыновнему долгу, и это тоже его жизнь.

Был еще один день, летний. С утра приехали мы к нему на дачу, в Балашиху, оба с работой. Несколько домиков и табличка — улица Есенина. Дача в лесу, старые яблони, ни грядок, ни клумб, кусты, высокие заросли травы. Деревянный дом, стареющий, обветшавший, весь в прошлом. «Такою мне дача и мила», — говорил он не раз.

Я хотел закрыть калитку на щеколду, а Константин Сергеевич остановил:

— Не надо, кто-нибудь забредет, а мы не услышим...

Мы устроились — он: за столом под деревьями, я — на террасе. И погрузились в свои бумаги.

Я не заметил, когда она вошла, и только увидел, что Константин Сергеевич идет вокруг дома с незнакомой мне девушкой и, жестикулируя, как экскурсовод, что-то ей толкует.

Проводив ее, он заглянул ко мне.

— Видите, если бы мы закрылись, девица сюда бы не проникла.

— Кто такая?

— Провинциалочка, проездом, узнала, что существует дача Есенина, и разыскала. По правде говоря, неизвестно, бывал ли здесь Сергей Александрович. Моя мать купила дачу после его смерти. Впрочем, как знать, может, когда-нибудь и бывал. Но я думаю, девица не была разочарована, все-таки на этой террасе сидели Мейерхольд, Маяковский, Луначарский, там за окном некогда стоял роуль, и для Зинаиды Николаевны играл Лев Оборин. Я вас отвлек? Еще часик посидим, а потом чаек заварим...

Но поработать не удалось. Возле Константина Сергеевича стояли трое молодцов, и я почувствовал, что мне следует туда подойти.

— Константин Сергеевич, вы уж нас извините: обрисуйте нам, что в чемпионате творится?

Он сидел, нахмурившись, и вдруг резко выпалил:

— Ну вот что, ребята, ничего я вам обрисовывать не буду, приходите трезвыми. Тогда я к вашим услугам.

Молодцы чуть помялись и побрели к калитке.

— Я их знаю, они захаживают иногда, ребята неплохие. Но пусть уважают футбол...

А спустя несколько минут Есенин пришел на террасу со стопкой книг.

— Хотите развлеку? Я понемножечку собираю литературу о войне, не могу от нее уйти. Тут заложены странички про одну известную операцию. Пробегите, а потом поинтересуйтесь годами издания книг. Обратите внимание, и фамилии разные, и цифры, и о значении операции сказано неодинаково... Впрочем, вам нетрудно догадаться, когда это печаталось, вы же помните то время.

Мы часто говорили друг другу эти слова: «Вы же помните то время». И если речь шла о футболе, память о времени помогала многое понять, всему найти место. И злу и добру. Вперемежку.

Вот кое-что из того, что мы не раз обсуждали.

...По-братски принимали у нас на стадионах сборную басков, не слишком обижаясь, что она выигрывала матч за матч: республиканская Испания была гордостью и болью, ей сострадали.

В недоброй памяти тридцать седьмом на трибунах, не сговариваясь, стали по делу и без дела посвистывать, когда играло московское «Динамо». Не футболистов имели в виду, а принадлежность спортивного общества. Это было немалой смелостью.

Попозже болельщики показывали со значением друг другу брошюрки с перечислением чемпионов,

где у «Спартака» вместо одиннадцати — семь фамилий и потом нелепое — «и другие». Братьев Старостиных и Леуту помнили, хоть и были они далеки.

В сорок четвертом, в войну, разыграли Кубок СССР, и было прекрасно, что взяла его команда «Зенит» из многострадального Ленинграда, недавно освобожденного от блокады.

Декабрь сорок пятого, московское «Динамо» в Англии, и радиоголос вестника побед Вадима Синявского трогает нас до слез: мир ведь, товарищи, Бобров, Карцев и Бесков закладывают голы.

Послевоенные сезоны, на трибунах «Динамо» полно людей в шинелях без погон, на костылях, с палками, с протезами, и им особенно, да и всем по сердцу, что футболом правит клуб армейцев, ЦДКА.

По самовластному, капризному генеральскому повелению из ничего, за счет других команд, народился клуб ВВС. Но все его амбиции лопнули, к полному удовольствию футбольной публики, чтущей справедливость и не терпящей выскочек.

В пятьдесят втором за проигрыш на Олимпиаде югославам — волна репрессий. Расформировали ЦДКА, тот самый ЦДКА, который был любим, которым гордились.

В Москве сборная ФРГ, чемпион мира. И матч со сборной СССР. Невыносимо было представить, что он может быть проигран. Потом наши проигрывали команде ФРГ, и ничего, но тогда, в пятьдесят пятом, первая встреча — как незарубцевавшаяся рана. И наши футболисты, словно на поле они выбежали не из подземного туннеля, а с жаждавших победы трибун, закатали такой штурм в конце, что чемпион был повержен.

Шестьдесят четвертый, наша сборная, складная и сильная, победившая шведов, итальянцев и датчан, уступила в Мадриде в последнем матче Кубка Европы испанцам 1:2. Без объяснений, импульсивно, волюнтаристски устранен создавший ее тренер Бесков, полный сил и идей. Никто не мог понять, за что.

В семьдесят втором оказалось, что все можно, все сходит с рук, ворошиловградскую «Зарю» подпирают плечами и тайными расходами в чемпионы. Где она сегодня, «Заря»? А след ее не простыл, тянется, покорежил он футбольные нравы.

...Футбол не живет сам по себе, во всем, чего он добивается, от чего терпит и страдает, так или иначе отражается время. Константин Сергеевич, заделавший историком футбола, размышлял над этим, быть может, больше, чем кто-либо другой. Его время было и временем нашего футбола.

Он знал, что ход футбола принято изображать в виде его игровой эволюции: смены тактических схем, убыстрение темпа, техничность и маневренность пропорциональные тренированности, тонкости турнирной стратегии. Знал, но оставался от всего этого в стороне. Эры «дубль ве», «четыре защитников», тотальную он представлял другим авторам.

У него было свое исчисление. Эра московского «Динамо», «Спартака», киевского «Динамо». Эра братьев Старостиных, Григория Федотова, Всеволода Боброва, Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, Сергея Сальникова, Олега Блохина. Эра тренеров Бориса Аркадьева, Михаила Якушина, Виктора Маслова, Валерия Лобановского. Эра судьи Николая Латышева, председателя Федерации Валентина Гранаткина.

Он стоял на том, что футбол, как бы он внешне ни изменялся, всегда творят люди, и своими людьми он более всего интересен, ими и жив. Для него не было вопроса: «Когда играли лучше?» Он мерил личностями, характерами, накалом страстей, живописностью. Добреньким Есенин не был. А к футболистам был на удивление добр, в каждом что-то находил. Говорят при нем об игроке: «Бездарь!» Константин Сергеевич тут же вмешается: «Да, бездарь, спору нет, но ни черта не боится, лезет направо». И тут же рассмеется и скажет: «Ваш покорный слуга ничего из себя в футболе не представлял. Но шел я всегда до конца. И, бывало, матчи выигрывал». Или о другом судят: «Зачем его ставят: на него дунешь, и свалится». И опять Есенин свое: «Верно, шкет, но когда

он вывинтится среди громил и удерет, это же наслаждение!»

Если бы Есенину довелось увидеть мексиканский чемпионат и гол аргентинца Марадоны в ворота англичан, когда тот подыграл мяч рукой, гол, заставивший многих поморщиться, он выразился бы так: «Шпана, это точно. Но играет бесподобно». Я слышу, как он это произнес бы.

Несколько лет подряд, всем на удивление, Есенин печатал прогнозы перед финалами Кубка СССР. Смысл был в том, к примеру, что победит та команда, которая первой забьет гол в ворота у северной трибуны. Это в четный год, а в нечетный — в противоположные ворота. Народ посмеивался, но выходило по Есенину. И футболисты поверили, признавались, что держат в уме, какие ворота надо беречь пуще глаза, а в какие во что бы то ни стало забить.

— Слушайте, вы разводите чертовщину, это же ни на что не похоже, — наседали на него.

Он загадочно усмехался и пожимал плечами:

— Что я могу поделывать? Подмечено. Как будто не бывает в жизни необъяснимых совпадений?..

Те деньки были веселые, легкие. Пришли совсем другие.

Как-то звал он меня приехать на дачу, а я, помня, что у него там плохой телевизор, сказал, что хочу посмотреть дома матч «Днепра» с киевским «Динамо».

— Бросьте, приезжайте, гарантирую ничью и скорее всего 2 : 2.

— Уверены?

— К сожалению, да. Но это не прогноз, а диагноз. Боюсь, что скоро моя алхимия никому не будет нужна, заранее станут узнавать результаты.

2 : 2 состоялось. Есенин и не вспомнил о своей отгадке, для него матчи, в которых возможен сговор, не существовали. Он не возмущался, не выкрикивал прописных истин об аморальности надувательства. Он темнел лицом, когда при нем говорили об этих продажах: футбол, как сухой песок, утекал из его рук, все, чему он отдал годы, становилось бессмысленным.

Когда форвард «Днепра» Протасов в чемпионате 1985 года забил 35 мячей, побив долго державшийся рекорд Симоняна, Есенин признался мне:

— Написать я обещал и напишу. Но что хотите со мной делайте, чувствую — не настоящий рекорд, его организовали, провернули. Протасов — талантliche, от бога центрфорвард! Боюсь за него: молоденький, не ведает, что творит...

Шли мы с ним по Арбату. Там есть дом, где на верхних этажах, в нишах, статуи рыцарей. А в нижнем этаже — ювелирный магазин. Есенин на ходу бросил:

— Символическое сооружение, здесь бы надо еще и управление футбола поселить...

Жизнь его была бы полна и без футбола. Его укоряли: «Могли бы заняться чем-нибудь более интеллигентным». Он и в самом деле был человеком богато начиненным.

Однажды я упомянул, что ездил на станцию Железнодорожная.

— Это же бывшая Обираловка! Был случай, мы с Мейерхольдом припозднились в городе и опоздали на поезд в Балашиху, пришлось сесть на тот, который шел до Обираловки. Оттуда до нашей дачи верст семь, наверное. Всеволод Эмильевич всю дорогу бежал. Я, мальчишка, ругался, скулил, а он — никакого внимания. Не мог он себе позволить, чтобы Зинаида Николаевна волновалась несколько лишних минут...

Константин Сергеевич то и дело твердил, что засядет за воспоминания о своей матери («Я же у нее в примерной вечерами пропадал»), вот только соберет материалы для книжки о «Спартаке». Ни то, ни другое ему не было суждено написать.

К уговорам «переменить тему» он относился терпеливо и снисходительно. Он-то был уверен, что выбор свой сделал свободно, что его интерес к футболу — жизненный интерес, не навязанный, не придуманный, не служебный, что его место определено, он делает то, что никто лучше его сделать не сможет. И пусть

для других репортеров футбол — отчеты о матчах, тактические дискуссии, хвалеж после побед и разносы после поражений, он — вне конъюнктуры, для него футбол един от начала до конца, и что в этом и вся его жизнь, с отрочества до седины, жизнь, и много потребовавшая, и одарившая.

Я уже упомянул о его редкостной памяти. Помнил он не одни цифры и фамилии. Он помнил, как добирался на стадионы, с пересадками, электричкой, автобусом, такси, какие героические усилия предпринимал, чтобы не опоздать, помнил, с кем сидел, о чем спорил, возвращаясь, помнил снегопады, грозы, жару.

Зашел у нас разговор о давнем-давнем матче, когда мы еще не были знакомы. Тогда на «Динамо» обрушился неожиданный летний ливень, из тех, что — как из ведра. Оказалось, мы оба были тогда на стадионе.

— Вы где сидели? Я — на «Востоке», вон там, слева, рядом в двадцатом. Вы не удрали? И я с места не сдвинулся. Рубашку снял, скатал и прикрыл телом, чтобы потом надеть. Ах, и вы так же?

Тут мы с размаху пожали друг другу руки.

...Что же еще я должен был не забыть? Да, сценку, которая повторялась много раз.

Идем мы с ним подтрибунными коридорами в ложу прессы Лужников. Константин Сергеевич замедляет шаги, и я знаю почему: ждет, что сейчас к нему кинутся и потребуют сказать, кто станет чемпионом. Так и есть, он окружен, остановлен и разглагольствует. Я жду и злюсь: пять минут до начала. Не выдерживаю и тяну его за локоть.

— Опаздываем? Друзья, извините, додумайте сами...

— И что вы людям голову морочите, можно подумать, что вам что-то известно? — выговариваю я ему.

— Не скажите! Кое-какие подсчеты я провел, аналогичные ситуации встречались, — добродушно оправдывается Есенин. — А чего не рискнуть, свои же люди, сочтемся? Ладно, не сердитесь, больше не буду.

Мы входим в ложу, и я слышу за спиной: «Константин Сергеевич, мы вас ждали. Один вы можете нас рассудить...»

Я не оборачиваюсь, и вдогонку голос Есенина: «Займите местечко, я мигом».

Он стал нужным для тех, кому что-то неясно в футболе. А неясно — всем.

Вспоминая Константина Сергеевича, я думаю о том, что было бы славно написать о футболе так, как он его видел. Удастся ли?

ОПЕЧАТКА

В № 2 на стр. 81, 2 колонка, 27-ю строку сверху допущена техническая ошибка. Следует читать: «Принцип Питера» Л. Дж. Питера и Р. Халла — и далее по тексту.

Михаил
ЖВАНЕЦКИЙ



Молчаливые — верно. Глаза не блестят — верно. Зубы в улыбке редко показываем, пальцем никого не тронем ласково — тоже верно. Внутри все. Наконец-то воспитали в себе сдержанность. Как она к нам из Англии неизвестно, но перешла. Внутри все. А на вид замкнутые, как кастрюля, в которой что-то кипит.

Осторожно ходим, чтоб не выплеснуть на тротуар, чтобы другой не поскользнулся. Снаружи все правильно.

Кто так дружит, как мы? Когда дружба занимает все рабочее время, а клятва в дружбе — свободное. Всю работу дружбой заменили. Все, что по закону положено, только по дружбе получаем. И целуем мужчин, в борде разыскивая рот. Если б каждый из нас столько женщин перечеловал, сколько мужчин — потому что дружба честность заменяет.

А все еще слышны выкрики — неинтересно. Кому неинтересно — может выйти. Только уж тогда и не стучись. А как еще?

Вполне можно и даже интересно. И общественной деятель-

ностью заниматься, и свой взгляд иметь. А если участвовать в конкурсе «Песня-87», то только искренне и всей душой, с запоминанием авторов текстуальных слов. Ни одна песня не проходит незамеченной, все участвуют в красивой борьбе.

Можно отдаться хоккею, но не формально — одним глазом, а всем сердцем — с записями бросков, чтоб каждый гол был зафиксирован — год забива, кто заколотил.

Если втянешься — по трем программам, все дни, раскрыв рот...

А политикой как интересуются! Напишешь комментатору вопрос и ждешь ответа. Иногда даже не он отвечает, потому что ему некогда. Он из другого письма тебе ответ прочитает и правильно. Мы же так и ходим — половина с вопросом, половина с ответом. Их только соединить, и никакой телевизор не нужен.

Ко мне приезжают, посмотрят из окна, говорят — от твоего пейзажа можно свихнуться. Снова поверхностный взгляд. Во-первых, нельзя торопиться. Сядь у

окна, привыкни. Теперь начинай искать интересное. Глазом не видишь — бинокль возьми. Смотри — жизнь есть. Вот девочка вышла... Вон женщина вторую коляску покатила, в ней ребенок сосиски прижимает, ножкой кефир придерживает... Оживился дом. Стук, грохот — лифт завизжал. На потолке пенсионерка в валенки не попадает. Это что значит? Значит, что в универсам сосиски завезли. Тишина — женщины там. Цистерна возле ларька развернулась — дом заходил, затопал, гулкий кашель, звон бидонов — теперь мужики пошли. Пиво!

А тут 137-й, и в нем 115 сдержанных на английский манер как промчатся вместе с детьми! Потом в обратную сторону — уже других 115 с детьми.

Наблюдай, наблюдай. Эта жизнь требует своего терпеливого наблюдения. А пейзаж на первый взгляд пустынный. Но придет умный человек, раскопает, разбередит, камень поднимет и глянь — там глаз блеснул, здесь хвост исчез. Есть жизнь, есть.



Очень большие трудности у киношников. Самые большие, жуткие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, мазузов мало. Фрак носить разучились. Хамство и грубость как раз получаются ничего, а образованность не идет пока. Аристократизм пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет — так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, издевались, зарплату лишали, по больничному не платили, чтоб сыграл чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает, и на цыпочки привстает, может, и выпивает, чтоб укрепиться, но еще не знает как.

Граф английский тоже неловко, боком, все боится войти к се-

бе в замок, если пиджак от шеи на четверть метра отстает и шейка — как пестик в колоколе. И как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать. Или руку королеве целовать, или панталоны держать! И руку еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит...

Трудно пока идет любовь, постепенная такая любовь со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку норовит сделать, а спохватывается и начинает смотреть.

Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза, где люди едят между словами, а не заглатывают слова с борщом. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды, тоже норовят целиком заглотнуть и еще в сумку. А это — реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтоб

Рисунки Г. Мурышкина

пиджак не двигался отдельно от хозяина. Президент поднимет руку, а у него живот видно. Ну, это все внешне, конечно, раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры. Даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога.

Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине, пока смешно выглядит. И вообще — обращение с женщиной, эти поклоны, вставания, уважения, преклонения. Их делают, если очень надо по сценарию, за три ставки. И пока это чувствуется.

Консультант один, лет восьмидесяти двух, уже заметался. Душанбе, Харьков, Целиноград, Вологда — извольте, позвольте, только, мол, после вас. Что вы, что вы?! Не дай бог! Я был бы последним подонком, мадам, если бы оставил вас в соответствующем положении... Не идет фраза «Позвольте, я возьму на себя». Или: «Вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «Я вами руководил, я и отвечаю за все!» прямо колом в горле стоит. Такая — «Мне не дорого мое место, дорого наше дело!» — получается только по частям.

Трудно дается внимание к судьбе другого. Даже сценаристам фразы на материале 1978 года «Вспомни, Дмитрий, что ты говорил двадцать лет назад. Ты изменил своим взглядам!» — не идут. Никто не помнит, что он говорил, и уж никого не интересуют его взгляды.

Пока сложно стало играть эрудированного, мыслящего мужчину. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается — такой перекос лица еще не убеждает.

Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову носильщика Киевского вокзала, что-то мешает нам поверить в его латынь.

Актер с лицом начитанного человека нарасхват, и уже через год алкоголь опускает все черты начитанности ниже, где они не производят прежнего впечатления.

Что-то мешает сыграть англичанина, даже мусорщика или газетчика, хотя можно съездить, вернуться и точно воспроизвести его внешность. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «Я разорен или я покупаю вашу газету! Мне в Париж по делу!» — хоть и русским языком, а ни исполнитель, ни аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков с экрана и из зала равновесие между исполнителями и зрителями постепенно восстанавливается.

Игорь ИРТЕНЬЕВ

Клеветнику

Твоих стихов охульных звуки
До слуха чуткого дошли.
Была охота пачкать руки,
А то б наелся ты земли.

Но не покину пьедестала,
Хоть мести жар в груди горит.
С зоилом спорить не пристало
Любимцу ветреных харит.

Тебе отпущено не много,
Так задирай, лови момент,
Свою завистливую ногу
На мой гранитный постамент.

Искусство

Искусство — достояние масс
И достижение природы.
Оно сияет, как алмаз,
Когда его почистишь содой.

Оно не терпит суеты
И в то же время волокиты,
Его прекрасные черты
Для всех желающих открыты.

Оно вести способно в бой
И может вывести из строя.
Оно растет само собой,
Как бюст на родине героя.

«Ars longa, vita brevis est» —
Сияет надпись горделиво.
Кто не работает — не ест.
И это очень справедливо.

Сергей САТИН

Некоммуникабельность

Ноябрь. Час пик. Автобус,
Принявший на борт груз,
Раздувшийся — как глобус
(Сравнения не боюсь).

Я нынче не в ударе.
Лелея грусть свою,
В пустыне Калахари
Один как перст стою.

А где-то на Таити,
Средь вечной синевы,
Одна как перст стоите
У дальней кассы вы.

Нам не соединиться —
Меж нами пролегли,
Должно быть, все границы,
Должно быть, всей Земли.

Сердца разъединяя,
Уперлась в полосу
Контрольно-следовая
Сплошная полоса.

Кряхтя ползет планета.
Все страны налило.
В густой туман одето
Садовое кольцо.

Земная ось наклонна.
Бог вест в какой дали
Другой конец салона,
Другой конец Земли.

О любви

«Люблю грозу в начале мая»...
Люблю капли внешней стук.
Люблю, когда пернатых стая,
Курлыча, тянется на юг.

Люблю я жаворонка пенье,
А также трели соловья.
Листвы опавшей шелестенье
Люблю любовью первой я.

Люблю я трав медвяный запах,
И аромат цветущих лип,
И иней на еловых лапах,
И новогодний снега скрип.

Люблю я осень, зиму, лето,
Не говоря уж о весне...
Не скрою, что про все про это
Из умных книг известно мне.

Закрыв окно, напившись чаю,
В каком-то сладостном хмелю
Который год уже читаю
Про то, что трепетно люблю.

Вадим ЗАБАБАШКИН

Старый ковер

Ковер, висевший на стене,
над бабушкиным спальным местом,
в конце концов достался мне,
как говорится, по наследству.

На нем в саях Наполеон,
и кони мчат что было мочи,
поскольку из России он
во Францию вернуться хочет.

Он едет с каменным лицом,
не справившись с великой ролью,
побитый праведным свинцом,
а в довершение и — молью!

г. Владимир

Проза

Сергей АНТОНОВ. Васька. Повесть 5

Поэзия

Леонид ФИЛАТОВ. Про Федота-стрельца, удалого молодца. 46
Сказка для театра 71
Евгений ХРАМОВ 72
Размик ДАВОЯН 73
Вероника ДОЛИНА 74
Бахтияр ВАГАБЗАДЕ 74

Публицистика

Письмо читателю 2
20-я КОМНАТА 2
Александр ЕРЕМЕНКО. Двенадцать лет в Литературе 54
Вадим СНЕЖИН. Пятый угол 57
Вероника МАРЧЕНКО. Одежда и Надежды 58
Ольга ЕРЕМИНА. Игры в прятки для детей и взрослых 58
Илья СМЕРНОВ. Размышления у парадного подъезда
фирмы «Мелодия» 59
Николай ЧЕРКАШИН. В последнюю ночь лета... 64

Наша публикация

«...Сильней надежд мои воспоминанья»,
Из наследия Варлама Шаламова 61

Культура и искусство

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Что было на Кузнецком мосту 64
Елена Брылева: «Не воспринимаю музыку фоном» 75
Леонид ВЫШЕГОРОДЦЕВ. Сцены видеожизни 76
Всеволод ВИЛЬЧЕК. Пока джини не выпущен из кассеты... . . . 78

Критика

Георгий ГАЧЕВ. Совесть! Стань смелостью! 82

Поэма „ЮНОСТИ“

«Надо же что-то делать!..» 81

Спорт

Лев ФИЛАТОВ. Футбол Константина Есенина 88

Зеленый портфель

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ. Два рассказа 94
Ироническая поэзия. И. Иртеньев, С. Сатин, В. Забабашкин . . . 95

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного
редактора)
Мария ОЗЕРОВА
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Оформление обложки
В. Фатехова.

Главный художник
О. Коккин.
Художник
Ю. Цишевский
Технический редактор
О. Трепенюк.

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Телефоны:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел критики — 251-96-76
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 12.01.87.
Подп. к печ. 17.02.87.
А 02428.
Формат 60×84/16.
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,63.
Уч.-изд. л. 17,75.
Усл. кр.-отт. 16,74.
Тираж 3 100 000 экз.
Изд. № 662.
Заказ № 51.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

К. ПОБЕДИН.
Мы лучше всех.
 Из серии «Дискуссия».
 Рисунок. Уголь.



**XVII МОСКОВСКАЯ
 МОЛОДЕЖНАЯ ВЫСТАВКА.**



А. БОБРУСОВ. Голый человек на голой земле.



Или. Диптих. Офорт.

Люба Дарина
Лия Ратина
Александра Вика Олеся Мария
Зинаида Валентина Римма Эльвира
Лукерья Евгения Флора Регина Дарина
Людмила Руфина Тереза Айно
Аромара Константинья
Эврудика Сунко Эмилия Ксения
Антонина Ольга Клава
Виталика Ника
Янина Изабелла
Марта Альвина Аграфена